

K1431415

50

лет  
вологодской  
писательской  
организации

# Кладовые сердца

*Очерки  
о  
писателях -  
вологжанах*



50  
ЛЕТ  
ВОЛОГДСКОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

# КЛАДОВЫЕ СЕРДЦА

*Очерки  
о писателях-вологжанях*



ВОЛОГДА  
2011

ББК 83.3(2Рос-4Вол)

К 47

Издание осуществлено при поддержке  
Губернатора Вологодской области В. Е. Позгалева  
и Департамента культуры и охраны объектов  
культурного наследия Вологодской области,  
БУК ВО «Вологодская областная юношеская  
библиотека им. В. Ф. Тендрякова»

**Елесин В. Д., Кудрявцев В. В.**

Кладовые сердца. Очерки о писателях-вологоджанах. – Вологда: ИНП  
«ФЕСТ», 2011. – 208 с.

Книга литературно-художественных очерков «Кладовые сердца» подготовлена к изданию в связи с 50-летием Вологодского регионального отделения «Союза писателей России». В нее вошли главы из книги В. Д. Елесина «Кладовые сердца», написанные автором в 1995 – 2005 годах, а также главы из книги В. В. Кудрявцева «Колокола литературной звонницы», в основном посвященные новому поколению вологодских писателей. В «Кладовых сердцах» зримо прослеживаются пути становления известной всему читающему миру «Вологодской школы».

ISBN 978-5-905099-09-0

© Елесин В. В., 2011

© Кудрявцев В. В., 2011

© ИНП «ФЕСТ», Вологда, 2011

*Василий Елесин*

---

КЛАДОВЫЕ СЕРДЦА



*Кладовые сердца*

---

*Александр ЯШИН*

*Сергей ВИКУЛОВ*

*Александр РОМАНОВ*

*Владимир ШИРИКОВ*

*Владимир СТЕПАНОВ*

*Николай ФОКИН*

*Александр ШВЕЦОВ*

*Николай ДРУЖИНИНСКИЙ*

*Сергей ЧУХИН*

*Николай РУБЦОВ*

*Василий БЕЛОВ*



## *Правдолюбец*

---

# Александр ЯШИН

Об Александре Яшине написано столько, что кощунственно, вроде бы, рассказывать об одной-единственной встрече. Но, как говорится, в хозяйстве все пригодится, в том числе и в литературном. Автограф Яшина, единственный в моем архиве, – на книжке «Сирота», изданной в 1963 году в издательстве «Молодая гвардия», – помогает точно восстановить дату этой встречи: 28 августа 1967 года.

В тот день в захолустный районный центр Вашкинского района – Липин Бор – прибыл теплоход с писателями, многие из которых уже были мне знакомы по тотемским и вологодским встречам. Именно тот теплоход, который Николай Рубцов чуть позднее назовет «Последним парходом» в одноименном стихотворении, посвященному Яшину.

Вашкинцы встречали теплоход на пристани, длинном бетонном пирсе, узкой полосой вдававшемся в гладь Белого озера. Тепло поздоровались с Василием Беловым, Николаем Рубцовым, Александром Романовым, Виктором Коротаяевым и, конечно, с самим Александром Яшиным. Сергей Викулов в этот раз не приехал, он уже перебрался в Москву заместителем редактора журнала «Молодая гвардия».

Яшина мне показали издали: он был высокий, тощий, костистый, с рыжеватыми усами и близорукими, но пронизательными глазами. Рак уже иссушал его, пожирал, словно огонь дерево, от которого остается только сердцевина.

Времени до вечера оставалось много, и гостей увезли на озеро, к рыбакам, чтобы накормить ухой из белозерского судака. Поехать с ними в тот день я не смог: надо было заканчивать выпуск газеты. Успел только до начала литературного вечера зайти к себе домой вместе с Василием Беловым: у него не оказалось номера журнала «Север» с недавно опубликованной повестью «Привычное дело», а хотелось прочесть зрителям отрывок из нее.

Зал районного Дома культуры был переполнен. Естественно, все ждало яшинского выступления. Он рассказал о своем детстве, о первых литературных опытах, о первом гонораре, за который его высекла мать...

К тому времени я уже знал, что Яшин добр и благожелателен, но может быть и жестким и язвительным с теми, кто ему не понравится. По Вологде ходили о нем настоящие легенды. Говорили, что он любит мистифицировать московскую публику, не знающую деревни: начнет рассказывать правдиво, с точными деталями о каком-нибудь деревенском обычае, а потом такую небылицу загнет, что слушатели только руками

разводят, пока не догадаются, что их попросту дурачат. Начнет он, к примеру, описывать деревенскую баню, все скажет: и какая там каменка, и как дымовая вытяжка устроена, и как полок сбит. Слушатели заворожены: язык у рассказчика сочный, детали живописные. А Яшин с тем же серьезным и увлеченным видом продолжает:

– Ставят баню обычно среди деревни, окна у нее широкие, светлые, по всему фасаду. Сперва ребята сбегают вымоются. Потом девки идут, а ребята уж тут как тут – прилипнут к окошкам – не оторвешь!

Только теперь слушатели догадываются, что их провели. Впрочем, за достоверность рассказа не ручаюсь: мало ли что можно услышать о большом поэте!

В конце своего выступления Яшин заговорил об отношении писателя к литературе и, совершенно неожиданно, обрушился... на меня!

– Сегодня Вася Белов мне рассказал, что есть у вас редактор газеты, который мог бы писать, но вот променял писательское дело на редакторскую должность. Дело его, конечно. Но думаю, что не раз ему еще вспомнится это отступничество. Нельзя менять литературу на карьеру!

Я был возмущен и обижен. Обозвать человека, которого не знаешь, ни разу не видел, карьеристом без всякого на то основания – это уж слишком! Хороша «карьера»: жить в продуваемой всеми ветрами квартире, не спать ночами, добывать с великими трудами все – от дров для редакции до наборных касс и шрифтов, пешком мотаться по всему району, ночевать чуть ли не в стогах, но все же делать газету – какой уж тут карьеризм!

Мог бы писать... Сам я далеко не был уверен в этом: первые мои литературные опыты оказались неудачными.

После вечера ко мне подошел Василий Белов и смущенно сказал:

– Вася, ты извини. Яшин меня просто не понял. Я вовсе не то имел в виду, рассказывая ему про тебя. И на него не обижайся, не со зла ведь он. Давай подойдем к нему, познакомимся.

Я краснел и бледнел, сжимая в руках яшинскую книжку «Сирота». Однако пошел. Белов представил меня Александру Яковлевичу.

– Не обиделся? – спросил Яшин, протягивая руку и ласково глядя на меня. – Может, резковато сорвалось у меня в запале. Извини...

Он взял из моих рук книгу, полистал:

– Ты хоть читал ее?

– А как же!

– Ни одной пометки нет. Я, когда книгу читаю, всю исчеркаю, вдоль и поперек...

И написал на титульном листе:

«Василию Елесину. Желаю творческих удач. Александр Яшин. 28 августа 67 г.»

После писательского вечера состоялся банкет. Он проходил тихо и грустно, без привычных в таких случаях тостов и здравиц, сосед с соседом переговаривались шепотом. Яшин сидел молчаливый, угрюмый, усталый. Его попросили почитать стихи, и он, неожиданно для всех, а уж тем более для «отцов» района, начал читать стихи о собаке, которая когда-то охраняла лагерь заключенных, а с ликвидацией лагеря скрылась в лес и одичала. На месте лагеря построили город, и на первомайской демонстрации обочь колонны вдруг появилась овчарка, следя, чтобы никто не нарушал строя...



Предрик и первый секретарь райкома поживались: слишком неосторожным по тем временам было стихотворение.

После банкета проводили Яшина на теплоход.

Его любили все, несмотря на вспылчивость, резкость и даже грубость. Как о крестном отце отзывался о нем Василий Белов: ведь именно Яшин посоветовал ему перейти от стихов к прозе. В одном из своих писем ко мне Рубцов писал: «В Москве был у А. Яшина. Осталось хорошее, хотя и грустное воспоминание: слишком уж часто он болеет...» Еще при жизни Яшина он посвятил ему одно из лучших своих стихотворений – «Осенние этюды».

Но, тем не менее, Яшин – человек очень сложный. Недавно я перечитал его знаменитую «Вологодскую свадьбу», в который раз пытаюсь понять, чем же она так напугала руководителей Никольского района, Вологодской области, да и многих высокопоставленных москвичей. Что же? Рассуждения, как писал позднее Александр Романов, «о неумелом руководстве, о пагубности очковтирательства, о личном скоте в деревне, о необходимости сенокосных площадей для него, о пьянстве, о сельском бездорожье»?

Безусловно, все это вызывало неприятие тогдашних хозяев жизни. Появись «Вологодская свадьба» до 1953 года, автору грозил бы если не расстрел, то умопомрачительно большой срок лагерей. Но времена изменились, и хотя скрипела зубами партийная элита, читая «Вологодскую свадьбу», хотя и устроила травлю поэта, но физически устранить его уже не могла.

Однако было в очерке еще нечто такое, что до сих пор вызывает раздражение, и, что удивительно, не только у власть имущих. Дело в том, что в очерке задето самолюбие самих крестьян. Хорошо знающему деревню известно, насколько щеколиво относятся ее обитатели к публичному обсуждению их характеров, нравов, привычек, внешности. Тут правдивость Яшина оказала многим героям очерка плохую услугу. Вот невеста Галя – «недородная, нерослая, несильная», она «не ходит, а носится». Мать собирает ей в кованный сундук приданое: «сколько ни старалась, сундук оставался наполовину пустым, пока не догадались сложить в него и домотканые половики, и пару валенок, и даже ватник».

Я на минуту представил, как соседи невесты, деревенские старухи «перемывают косточки» родителям невесты:

– Да что ты, Марья, в сундук-от и половики, и катаники скидали! Смех, да и только!

За такую сплетню соседки поссорились бы навек. А тут ведь не деревенские пересуды, тут – на весь Союз нерушимый! Как же не быть обиде на автора?

Жених в «Вологодской свадьбе» – «несообразно высокий и художочный», он «свалился на кухню пьяным и гордым собою не в меру». Или это: «сразу напился и пошел кренделя вертеть дядя жениха. Он еще до женитьбы судился дважды за хулиганство». А с каким смаком женщины обсуждают, как бьют их мужья!

Скажут: а разве это не правда? Спору нет, правда истинная и жестокая, она не вызвала бы отторжения в рассказе или повести. Но автор писал очерк, места по описанию узнали все жители Никольского района, узнали и герои, о которых написано столь много интимных, а иногда

и обидных подробностей. Как же должны были воспринимать их герои очерка, живые люди, между прочим? Конечно, с обидой на автора.

Кстати, в повестях «Выскачка» и «Сирота» не меньше обидных для героев деталей, но там автор отвлекся от конкретных деревень и людей, там обобщенные характеры, там именно детали создают впечатление художественной правды. Обидные же слова в очерке ранили живых, конкретных людей. Я отнюдь не стремлюсь преуменьшить значение «Вологодской свадьбы», а лишь пытаюсь понять, почему эта очень талантливая вещь не получила широкого признания в самой северной деревне.

В своем стремлении к предельной искренности Яшин не щадил и близких, и хорошо знакомых. Достаточно почитать его дневники. Не знаю, думал ли он о том, что дневники будут опубликованы после его смерти. Скорее всего нет, иначе он избежал бы многих неоправданных резкостей. Вот что, к примеру, пишет он о Белове, у которого гостил в Тимонихе (март 1966 года):

«Утром дочитал рукопись Белова (очерк) «В родных палестинах», которую у него не принял Твардовский. Понял, почему Ф. Абрамов, прочитав этот очерк, говорил мне, что Вася «не прост», «не так прост», «хитрый он мужик» и т.д. Прет тщеславие, которое в жизни он тщательно скрывает, рисуясь простачком».

Запись в дневнике от 29 марта: «Некогда В. Дементьев в КОРе на вечере, напившись, брякнул насчет того, что он не будет лизать... А именно такие-то и лижут всю жизнь – только власть имущим (Панферову, сейчас Кочетову)».

В одном из писем Федору Абрамову Яшин написал и такие слова: «Я всю жизнь прокладывал дорогу вологжанам, а они поодиночке и скопом продают меня».

Думается, что поэт и тут «переборщил»: ведь и дом на Бобришном угоре, и защита его произведений в печати, в публичных выступлениях, и памятники Яшину, и ежегодные литературные праздники в его честь в Никольске и Вологде – заслуга именно вологжан.

Правда, и Яшин во многом помог Сергею Викулову, Александру Романову, Виктору Кортаеву, другим вологодским писателям. Он не формально, а всамделишно вдохнул «душу живу» в Вологодскую писательскую организацию. Вдохнул отнюдь не заступничеством перед грозными редакторами столичных журналов и издательств, хотя было и такое. Правда, и только правда была девизом зрелого Яшина. За правду и били его. Немудрено, что он сам иногда отбивался не глядя, отчего доставались тычки и ни в чем не повинным людям. Но главное, он учил стоять прямо, не сгибаясь ни под какими ветрами, и семена его учения упали в добрую, благодатную почву, которая и породила вологодскую «литературную школу».

И хотя выпала мне на долю всего одна встреча с Александром Яковлевичем Яшиным, но своими стихами и поэмами, своей изумительной прозой, своей неповторимой фигурой он навсегда остался в памяти моего сердца.





«Я на земле живу...»

---

## Сергей ВИКУЛОВ

Первый раз мы встретились с Сергеем Васильевичем Викуловым в начале шестидесятых годов, когда он, уже сложившийся, но все еще «местный», «областного масштаба» поэт, стал первым ответственным секретарем Вологодской писательской организации. В середине мая 1963 года он приехал в Тотьму в командировку, зашел к нам в редакцию районной газеты. Встретили его приветливо, поговорили, сфотографировались на память. На той фотографии у Викулова серьезный вид, пристальный взгляд много думающего, много читающего человека. Я показал ему стихи, которые еще продолжал писать в то время. А вечером, чуть ли не всей редакцией, собрались порыбачить на реке Царева.

Хорошо помню, что на рыбалке были Сергей Багров, будущий писатель, а также газетчики Александр Королев и Игорь Попов.

Рыбы в реке Царева, как и во множестве других рек, отравленных многолетним сплавом, почти не водилось: сколько ни махали мы удочками, поклевки не было. И вдруг мой поплавок ушел под воду, тащущая, радуясь тяжести, и выбрасывая на берег растопыренного рака! Хотел выбросить его обратно в реку, но Викулов запротестовал:

– Да ты что, Вася! Ведь раковая шейка – самая лучшая наживка! Давай его сюда!

Но рыба не польстилась даже на раковую шейку. Пришлось пить захваченное из дома спиртное под домашнюю закуску. Зато у костра долго говорили о жизни тогдашней деревни, о кукурузе, с помощью которой как раз в те годы пытались в очередной раз «вытащить» сельское хозяйство. Кроме выговоров председателям, безденежья колхозникам, искоренения клеверов и лугопастбищных трав, заметил Викулов, «королева полей» оставила и один добрый след: небольшие площади хорошо удобренных земель, ведь под посев кукурузы вкладывали в один год столько навоза, сколько эти земли не получали и за десять предыдущих лет. Но тогда, в разгар хрущевских «реформ», мы дружно ненавидели кукурузу, считая ее чуть ли не источником всех наших бед в сельском хозяйстве.

Перед отъездом из Тотьмы Сергей Васильевич подарил мне книгу «Хорошая будет погода», вышедшую за два года перед тем в издательстве «Советский писатель». Иногда я открываю ее, читаю автограф почти сорокалетней давности: «Василию Елесину – дружески, на память о встречах в Тотьме и на реке Царева! Помню Ваши стихи. Смелей и уверенней – вперед! Сергей Викулов. 20 мая 1963 г. Тотьма».

Ровно через месяц он прислал нам с Багровым коротенькое письмо:

«Друзья! Пришлите-ка лучшие свои вещи мне. По-моему, кое-что можно будет опубликовать (для начала хотя бы в «Вологодском комсомольце»). Жду! С приветом С. Викулов. 20 июня 1963 г.»

Не помню, послали или нет что-нибудь в тот раз. Кажется, ничего не посылали. В то время я писал свою первую повесть. Именно с этой повестью связана одна из встреч с Викуловым. Я принес рукопись ему на квартиру, предварительно созволившись по телефону. Сергей Васильевич вышел навстречу мне из кухни, жуя пирожок, взял рукопись и пообещал срочно отдать ее на рецензию. Кстати сказать, рецензию, причем очень благожелательную, написал тридцатилетний тогда Василий Белов. Вместе с ней я и получил рукопись обратно с письмом Викулова на официальном бланке с грифом: «Союз писателей РСФСР. Вологодское отделение»:

«Уважаемый Василий Дмитриевич! Я дочитал Вашу рукопись и согласен с рецензией Василия Белова. Он дал Вам ряд очень дельных советов, и, если Вы сумеете ими воспользоваться, – получится хорошая вещь.

Видимо, в следующем году мы будем иметь межобластной журнал, – им станет журнал «На рубеже», выходящий в Петрозаводске. Вот и давайте рассчитывать на этот журнал.

Желаю Вам успеха в доработке рукописи. Я думаю, ее надо расширить и сделать небольшой повестью, страниц на 100. С приветом С. Викулов. 1.11.64».

Воспользоваться советами Белова я не сумел. Слишком поздно пришло осознание, что литература требует человека всего, без остатка, делить ее с чем-либо – бессмысленно и вредно, в первую очередь для себя. Тогда же казалось, что сил хватит на все: и на работу в газете, и на заочную учебу в университете, и на литературу...

Теперь понятно, что ошибался в своей рецензии и В. Белов, – повесть в лучшем случае могла стать острой однодневкой, посвящена она была быстро родившимся и столь же быстро канувшим в Лету «общественным началам». Короче говоря, повесть «Карьера Ивана Кузьмича» была отложена в долгий ящик.

Потом встретились мы с Викуловым совершенно неожиданно. Снежным ноябрьским днем шестьдесят пятого года он вдруг появился в тотемской редакции и спросил меня:

– Ты знаешь, – несколько смущаясь, заговорил он, – приехал в Тотьму перед людьми выступить, а так оказалось, что и представить меня слушателям некому – даже заведующего Домом культуры на месте нет, хотя выступление и объявлено. Может, сходишь со мной на вечер?

– Конечно!

В назначенное время пришли в Дом культуры. В зале, несмотря на расклеенные по Тотьме афиши, собралось не больше десятка старух да нескольких школьников из начальных классов.

– Будете выступать? – спросил я Сергея Васильевича.

– Буду, – серьезно ответил он. – Раз люди пришли, значит, я им чем-то интересен. Будет нехорошо, если обману ожидания этих старух.

Я сказал несколько слов о Викулове, представил его, а затем он стал читать стихи из только что вышедшей в «Советском писателе» миниатюрной книжечки «Хлеб да соль». Открывалась книжка стихотворением:

Оглядываюсь с гордостью назад:  
 Прекрасно родовое древо наше!  
 Кто прадед мой? – Солдат и землепашец.  
 Кто дед мой? – Землепашец и солдат.  
 Солдат и землепашец мой отец.  
 И сам я был солдатом, наконец.

И, пожалуй, редко бывала у поэта столь отзывчивая, добрая аудитория!

После вечера я поинтересовался, когда Сергей Васильевич уезжает и устроился ли он в гостинице. Узнав, что уезжает на другой день, а в гостинице еще не был, предложил переночевать у меня. И мы двинулись на окраину Тотьмы, в двухэтажный деревянный восьмиквартирный дом. Незадолго перед тем я ездил на рыбалку в Заозерье – чудное место, где пять миниатюрных озер, словно пять бусинок, иголкой пронизывает речка Кулой. Окунь, привезенные из Заозерья, еще хранились в сетке, подвешенной за наружной форточкой кухонного окна.

Сказав матери и жене, чтобы побыстрее варили уху, я стал развлекать гостя, показывая книги и фотографии. Были там и фотографии самого Сергея Васильевича – память о его предыдущем приезде (в то время я занимался еще и фотографией). На одной из них он сделал шутовскую надпись: «Итак, попробуем ушкишки из окуней, что в Заозерье добыты! Тотьма, 26.11.65 г. С. Викулов».

Разговорились о его работе над стихами, и Сергей Васильевич прочел наизусть главу «Кирюхино похмелье» из только законченной поэмы «Против неба, на земле». Поэма увидела свет в 1966 году и принесла автору заслуженный успех.

Меж тем «ушкишка» заставляла себя ждать. Зайдя на кухню, чтобы поторопить хозяек, я с ужасом увидел, что до «ушкишки» еще целая вечность: женщины мои, желая сварить уху по высшему классу, мучились, счищая чешую с окуней, а отделить чешую у этой рыбы практически невозможно. Пришлось нам взять хлопоты на себя, и уху доваривали уже вместе с Сергеем Васильевичем.

Только успели сесть за стол, как на огонек заглянули Сергей Багров и Александр Королев. Услышав мои похвалы новой поэме, потребовали заново прочесть «Кирюхино похмелье».

На память об этом вечере Сергей Васильевич подарил мне книжку «Хлеб да соль» с надписью: «Василию Дмитриевичу Елесину на дружбу с пожеланием успехов во всем! 27.11.65. Тотьма».

Шло время. В 1966 году, закончив заочно факультет журналистики Ленинградского университета и вернувшись в Тотьму с дипломом, я получил страшное известие: в дорожной катастрофе погиб мой близкий друг, редактор вашкинской районной газеты Саша Погожев. Район в Вашках только что был образован вновь после разукрупнения, вновь создавали и газету. Саша не проработал там и полугода...

Обком партии предложил мне поехать на его место. В тотемской газете тоже сменился редактор, у меня начались с ним нелады, и предложение обкома я принял. Так и попал я из благословенной Тотьмы в захолустный Липин Бор, воспетый позднее в стихах Николая Рубцова.

О том, как выпускалась газета в Липином Бору, можно было бы написать целую повесть: бывало, что я уходил домой в четыре утра, а к

девяти снова появлялся за редакторским столом, в комнате, где чуть не на головах друг у друга сидели все сотрудники, включая бухгалтера и корректоров. Эта же комната служила и жильем для бездомных сотрудников – долгое время в ней жил, например, поэт Сергей Чухин, заправлявший у нас районным радиовещанием.

Через два года, когда и типография, и редакция мало-мальски «встали на ноги», мне предложили поехать учиться в Москву. Приехав в столицу летом 1968 года, я решил навестить Сергея Васильевича в журнале «Молодая гвардия». В кабинет зам.редактора пропустили меня беспрекословно, но только позднее я узнал, что посетителям из Вологды здесь всегда была «зеленая улица». Викулов встретил меня приветливо, хотя и не мог скрыть нервозности – он куда-то торопился.

– Поседел, Сергей Васильевич, в Москве-то! – заметил я.

– Поседеешь, брат! Здесь хлопот хватает, не то что в Вологде!

Я сказал, что собираюсь послать в «Молодую гвардию» несколько рассказов.

– Лучше не надо. Я перебираюсь отсюда, назначен главным редактором журнала «Наш современник», вот и давай шли, что будет, туда.

На том и распрощались.

Впоследствии мне не раз приходилось слышать разговоры, будто Викулов в «Нашем современнике» печатает только вещи своих знакомцев, главным образом вологжан, и не очень требователен к качеству их произведений. Чепуха! Никогда журнал «Наш современник» не смог бы стать ведущим в стране, если бы основывался на узких клановых или областнических интересах. Наоборот, новый редактор сумел привлечь к сотрудничеству все лучшие литературные силы России. Созвездие авторов, печатавшихся в журнале, поразительно: Шукшин, Залыгин, Астафьев, Белов, Носов, Распутин, Лихоносов, весь цвет литературы шестидесятых годов группировался вокруг «Нашего современника».

Много лет спустя, в июне 1997 года, когда Викулов приезжал в Вологду отмечать свое 75-летие, я сказал ему:

– Мне кажется, в русской литературе можно отчетливо проследить параллель девятнадцатого и двадцатого веков. Тогда был поэт Некрасов и его журнал «Современник», задавший тон в общественной жизни. В двадцатом веке – поэт Викулов и его журнал «Наш современник», тоже выражавший интересы самых талантливых и совестливых людей своего времени. Достаточно вспомнить Юрия Селезнева, Игоря Шафаревича, Владимира Кожина...

– Не совсем так, – возразил Сергей Васильевич. – Журналы – да, их можно сравнивать по значению для своего времени. А поэтов – вряд ли. Я не считаю себя равным Некрасову...

Журналу Викулов отдавался целиком. Ничего стоящего, нового он не оставлял без внимания. Опубликоваться в «Нашем современнике» в 70 – 80-х годах стало престижным для любого литератора. Но и люди «без имени» могли рассчитывать на публикацию, если им удавалось сделать что-то значительное.

В начале 1978 года я предложил журналу очерк о проблемах культуры на селе. И почти сразу же получил рукописный ответ главного редактора:

«Дорогой Василий Дмитриевич! Статью Вашу прочитал. Очень дельная, очень важная для современной нечерноземной деревни статья. Мы ее будем печатать. Но просим Вас подумать над нашими

замечаниями, внести в нее дополнения, а там, где необходимо, цифры. И побольше раздумий, собственного отношения к проблеме... Ждем! Ваш С. Викулов. 12.04.78 г.».

Статья была доработана и увидела свет в десятом номере «Нашего современника» за 1978 год под заголовком «Деревня: клуб, самодеятельность, телевизор».

Викулова не избаловала Москва, не сделала чиновником от литературы, – он по-прежнему отзывчив и добр. Летом 1978 года общественность Вологды отмечала 60-летие Вологодского педагогического института. В то время я работал заведующим отделом культуры областной газеты «Красный Север». К юбилею хотелось опубликовать отзывы о своей «альма матер» знаменитых питомцев института. Решил позвонить Сергею Васильевичу. Секретарша редактора замялась, прежде чем соединить, спросила, откуда звонят и, услышав, что из Вологды, тут же соединила. Я объяснил Сергею Васильевичу, в чем дело.

– Немножко не вовремя вы позвонили, – я принимаю чехословацкую писательскую делегацию. Позвоните завтра с утра ко мне домой.

Не совсем уверенно набрал я на следующий день домашний телефон Викулова. Он, поздоровавшись, тут же продиктовал:

«Самые добрые воспоминания остались у меня о годах учебы в Вологодском педагогическом институте. Поступил я туда в первый послевоенный 1946 год. Учились в институте в основном девчата. Большинство ребят погибло на войне, немногим посчастливилось выжить и поступить в институт, и среди них – мне и Валерию Дементьеву. Потеряв за войну пять лет жизни, мы были жадными к учебе, стремились наверстать утерянное, без усталости, как говорится, грызли гранит науки. Находили время и для работы в комсомоле. Вместе с Дементьевым руководили драмкружком, создали литературный кружок, первый опыт литературной работы приобрели именно в этом кружке. Хочется от души поблагодарить всех преподавателей тех лет: они так много для нас сделали!

Вологодский пединститут отличался тем, что умел поддержать в студенческой среде творческую обстановку. Не случайно через этот институт прошли Александр Яшин, Валерий Дементьев, Александр Романов, и это только на филологическом факультете. В институте делалось все, чтобы студенты могли развивать свои творческие способности. Атмосферу творческих отношений между студентами и преподавателями нужно поддерживать и впредь.

Мне не пришлось работать в школе, но я всегда с великим уважением относился к одной из самых важных профессий на Земле – профессии учителя. Воспитание современников зависит, в первую очередь, от школы. И важно не упускать из виду главное – не только научить писать, считать, но и повседневно воспитывать в ученике лучшие нравственные качества. Сейчас вопросы нравственности и морали – главные проблемы нашего общества. Я благодарен всем моим институтским учителям за науку и хочу пожелать нынешним студентам быть достойными лучших традиций института».

Этот отклик был опубликован в «Красном Севере».

Я не столь уж часто встречался с Сергеем Васильевичем, но из этих редких встреч сложился в памяти образ серьезного, вдумчивого, всегда корректного и вежливого человека. Не могу представить его вспыльчивым, вышедшим из себя, хотя, возможно, кто-то помнит его

и таким – жизнь поэта была больше насыщена огорчениями, чем радостями. Могу судить об этом по одной из встреч.

В октябре 1980 года Викулов приехал в Вологду и, как всегда во время своих наездов, зашел в редакцию «Красног Севера». Посидел у меня в кабинете, расспросил о делах, о новостях. Я, в свою очередь поинтересовался его жизнью.

– Тяжело стало работать, Василий Дмитриевич! – пожаловался он. – Редкий номер «Нашего современника» выходит без придирок, без переделок. Часто уже готовую книжку журнала цензура возвращает, требуя снять то повесть, то очерк. Приходится срочно заменять, и не всегда равноценным. Вот и попадает на страницы серость, а обвиняют кого? Редактора, конечно. Настоящие бои выдерживать приходится. Хоть бы с той же распутинской повестью «Живи и помни». После публикации первой части посыпались в ЦК письма от отставных полковников да генералов: «Как? Сделать главным героем дезертира?! Безобразия! Прекратить!» Ну, вызвали меня наверх, предлагают вторую часть повести не печатать. Доказываю: мол, я бы каждому солдату в ранец эту книгу положил, чтобы знали, чем пахнет дезертирство. Да разве доказательствами проймешь! Пришлось упереться: или повесть публикуем, или я ухожу с поста главного редактора. Только так и удалось пробить!

Удавалось, по-видимому, не всегда. В. И. Белов не один раз обижался на кажущуюся мягкотелость Викулова. Публикуя «Воспитание по доктору Споку», он снял главу «Нарколог». В «Ладе» была снята глава «Еда». Викулов якобы сказал по этому поводу: «Нехорошо. В магазинах пусто, а мы публикуем, как питался нищий северный крестьянин деликатесами, о которых теперь и память потеряна!»

Снял он, будто бы, большой эпизод в романе Белова «Все впереди», в котором Бриш и Иванов спорят о будущем России. Этот эпизод, по словам Василия Ивановича на отчетном вечере писателей-вологжан в январе 1987 года, многое прояснял в романе. Случалось, что журнал отказывался от беловских рассказов и даже от документальной повести «Раздумья на родине».

Обиды Белова были понятны, но мне все не давал покоя тот разговор с Сергеем Васильевичем, все думалось: а сам ли он отказывался от публикации? Может, просто был поставлен в такие условия, когда не отказать просто нельзя? Конечно, выход-то был всегда – уйти. А кто заменит? Детище, выращенное из захудалого журнальчика в лучший журнал страны, бросить для Викулова, думаю, было выше его сил.

В тот приезд Сергей Васильевич подарил мне только что вышедшую в издательстве «Современник» книгу своих очерков «Встать пораньше, шагнуть подальше». На титульном листе написал: «Василию Дмитриевичу Елесину с пожеланием успехов в очерке и публицистике! Убежден, что тут Вы можете... Сергей Викулов. 19.10.80 г.»

Годы перестройки дались Викулову нелегко. Рушилась вся система ценностей, надвигалась пора массового предательства прежних идеалов, наступало время хапуг, взяточников, людей без совести и чести. Наверное, не только возраст, но и неумение, нежелание примириться с новым, крововыжимательным режимом заставили Сергея Васильевича уйти из журнала. Однако писать стихи и поэмы он продолжал с прежней страстью. 30 сентября 1993 года, за пару недель до расстрела Белого дома, он отправил нам письмо и новую поэму. Вот что говорилось в письме:



«Дорогие земляки Евгений Викторович (Некрасов – редактор «Красного Севера» – В. Е.) и Василий Дмитриевич!

Благодарю за предложение напечататься в «Красном Севере», газете, которая дала мне путевку в жизнь. Сами понимаете, что у меня самые теплые воспоминания о ней. Ведь я в «Красном Севере» не только печатался, как молодой поэт и журналист, но и работал в качестве литконсультанта в отделе культуры.

В этом году я закончил работу над новой поэмой. «Лунно и морозно» – такое необычное у нее название. Ощущение (видение) лунной и морозной ночи ассоциируется у меня с нынешним положением дел в нашей вологодской деревне. Все, что в ней есть, навеяно впечатлениями от встреч с земляками в последние три года. Я не смог даже изменить фамилию и имя главного героя – так он вошел в мою душу. Хотя, как понимаете, не все, что есть в поэме, взято от него. И, значит, мой Шурка Степин – образ собирательный...

Поэма печатается в № 10 «Нашего современника» за 1993 год. Осталось около месяца до выхода журнала в свет. Решайте, как лучше поступить: взять ли главу из поэмы, напечатать ли ее целиком... Естественно, мне бы хотелось предстать перед земляками в полном объеме. В любом случае на гонорар не претендую: его я мог бы передать в фонд поддержки «Красного Севера»...

В ноябре планирую приехать в Вологду: В. Коротаев приглашает на семинар молодых писателей. И поэтому – до встречи! Ваш С. Викулов».

В ноябре, как и обещал, Сергей Васильевич приехал в Вологду. Подарил мне небольшой буклет со своими стихами, как всегда очень злободневными. Взять хотя бы отрывок из стихотворения «Святая простота»:

Только изменились времена-то,  
Старое – оно ушло в песок.  
И варягов звать уже не надо:  
Их, охочих править, скажем так,  
Да и володеть, – кругом и рядом  
Ныне как нерезаных собак.  
Всяк про гуманизм и про культуру  
Говорит, а в мыслях держит, тать,  
Как бы половчей Россию-дуру  
Обвести вокруг пальца,  
И не шкуру –  
Целых две иль три с нее содрать!

Последняя встреча с поэтом состоялась, как я уже упоминал, летом 1997 года, на вечере, посвященном его 75-летию.

Родом из Белозерья, Сергей Викулов и в Москве не забывал о своей малой родине, – купил там дом и каждый год проводил в деревне часть отпуска.

Вполне может быть, что общение с родиной продлило его жизнь и позволило дописать все главное, что рождалось в душе.





*«Нет, не был гостем я...»*

---

## Александр РОМАНОВ

### I

Еще задолго до моего знакомства с Александром Романовым случилось так, что он, сам о том не подозревая, круто изменил мою судьбу. В конце 1958 года я вернулся на родину, в Явенгу, из далекого донецкого города Кадиевки, где работал на шахте. Приехал, огляделся и призадумался: куда податься? Шахтерская моя специальность горного мастера здесь не значила ровно ничего. Из предприятий в Явенге действовал только лесопункт, а у меня не было даже водительских прав, чтобы сесть на машину и возить лес. Рассеянно перебирал я стопку районной газеты «Борьба», которую выписывала мать, и вдруг увидел стихи. Очень хорошие, прямо-таки замечательные стихи о деревне. А так как и сам я уже не первый год «баловался стихами», хотя еще ни разу не публиковался, то перечитал много раз подряд стихотворные строчки и подпись под ними: Александр Романов. И, конечно, подумал, что автор стихов работает в вожегодской «Борьбе». А почему бы и мне не поискать места, ведь рядом с таким талантливым человеком и жить проще? Сказано – сделано. Сажусь на поезд, приезжаю в Вожегу, иду в редакцию. Редактор Василий Федорович Замятин (позднее он покончил жизнь самоубийством) сказал, что может взять меня только корректором, на очень маленькую ставку. Ставка действительно была раз в десять меньше того, что я получал на шахте. Тем не менее я тут же согласился. У ответственного секретаря Володи Фуряева спросил, где можно найти Романова. Он-то мне и объяснил, что Романов живет в Вологде, сотрудничает в молодежной газете, а стихи его появились в «Борьбе» потому, что Фуряев и Романов хорошо знакомы. Я несколько разочаровался, но дело было сделано, работу в газете я получил, а толчком послужили стихи молодого еще тогда Александра Романова. Да и как было не влюбиться в такие, например, строки, написанные как раз в 1958 году:

Красной копной на пригорке  
В сумерках вырос костер.  
Дымом то сладким, то горьким  
Тянет в заречный простор.

Или такие:

Уже теперь мы сами –  
Подумаи, друг, сочти –

С погибшими отцами  
Ровесники почти.  
И снимки фронтовые  
Их молодость хранят.  
Какие молодые  
Они на нас глядят!

Жила еще война в памяти всех и каждого!

А впереди были целые россыпи удивительных по силе и красоте стихов, были поэмы «Мать», «Северяновна», «Павла», «Черный хлеб», «Три зари», «Сыновья», каждая из которых вызывала живой отклик литературной критики. Около двадцати двух стихотворных сборников вышло у Александра Романова – труд поистине титанический и до сих пор по достоинству не оцененный.

Я не намерен анализировать творчество Александра Александровича, я просто хочу рассказать, каким он остался в моей памяти, ведь случилось так, что судьба свела нас довольно близко.

Впервые я увидел его в Тотьме, в начале шестидесятых годов: он сопровождал группу писателей в поездке по Сухоне на пароходе. Русоволосый красавец с льняными волосами, с чисто русским симпатичным лицом и веселыми глазами, Саша произвел очень доброе впечатление. Вместе с ним приехали Василий Белов, Сергей Викулов, Константин Коничев, Виктор Коротаев и другие известные писатели и поэты. Мы познакомились, почти подружились. После этой поездки он не раз присылал свои стихи в тотемское «Ленинское знамя», где я работал ответственным секретарем.

Держу в руках листочки, датированные 1965 годом, с заголовком «Из осенней тетради». Они получены и опубликованы в «Ленинском знамени» в октябре 1965 года. Три стихотворения без названий, вот начало одного: «По ночам проснусь и слышу: нету в мире тишины. Шлеп да шлеп дожди о крышу, до озноба холодны». Так всегда у Романова – он сразу погружает в свою стихию.

Александр Александрович много лет руководил Вологодской писательской организацией. Понятно, что он всегда был в курсе дел, волновавших писателей. Почти о каждом из них он оставил проникновенные, теплые строчки. Скажем, о своем друге Сергее Орлове:

«Читаю Сергея Орлова – и душа моя отзывается на каждую строку, горит, скорбит, омрачается, озаряется, возвышается, и нету для меня тишины, нет покоя...» («КС», 1979 г. № 35-36).

А сколько добрых слов написано им о Белове, Абрамове, Фокиной, Чухине и других!

Он не раз обращался в стихах и прозе к Николаю Рубцову. Это была не просто дружба, это было восхищение. Кстати, во время его секретарства, в 1970 году, Дербина пыталась вступить в Союз писателей. Об этом Романов подробно рассказал в своем очерке «Встречи с Рубцовым», опубликованном в «Красном Севере» в 1993 году, а затем в книге «Искры памяти». Романов вспоминает: «На собрании обсуждалась новая книга Дербиной. Коротаев выступил резче меня, что-то о «медвежьем рычании» в ее стихах. Белов и Фокина свое неприятие такой лирики выразили суровым молчанием. Всего интереснее было узнать мнение Рубцова. Он резко выступил против физиологизмов в поэзии Дербиной».

Помнится время, когда я работал завотделом культуры в «Красном Севере», начиная с 1976 года. В то время я готовил ежемесячные «Литературные страницы». Виделись мы с Сашей чуть ли не ежедневно. Романов охотно давал мне интервью, приносил стихи и очерки, многие из которых после публикации в газете вошли в его книги «Версты раздумий» и «Искры памяти». От того времени осталось у меня несколько книг Александра Александровича с его автографами.

Я очень любил слушать его устные рассказы о деревне, о поездках в Москву или на литературные праздники, на Пушкинские дни. По сути дела это были готовые статьи, причем очень яркие. Однажды посреди такого рассказа-импровизации я достал диктофон:

-Не возражаешь?

-Зачем это? А впрочем, как хочешь...

Импровизированное интервью вскоре было опубликовано в газете.

## II

Детство и юность Александра, как и у всех мальчишек военного поколения, были несусветно тяжелым. Вот так он сам вспоминал то время на вечере в Воробьеве, посвященном его 50-летию:

«Мне выпала судьба родиться на реке Двинице, и стала для меня малая родина лучшим местом на земле». (Кстати, все цитаты из романовских выступлений взяты мной из собственноручных записей, так как мне удалось присутствовать на многих мероприятиях, где он выступал).

«Как мы жили в детстве? И хулиганили, и яблоки воровали. В овиных печах картошку пекли. Помню, в голодные военные годы мать иногда посылала меня к соседке, вроде бы за солью, но с тайной надеждой, что там мне дадут кусок хлеба. В школу ходили пешком из Петряева в Воробьево – за семь километров. В 1945 году поступили с другом в педучилище. Хлебных карточек нам не полагалось, продукты взяли с собой, а они в чемоданах все сгнили. Около десяти дней сдавали экзамены, голодные, но поступили. Обрато доехали теплоходом до устья Двиницы, а дальше пробирались пешком через болото. Первые годы в училище – это годы борьбы за выживание: жили только на карточки. А в общежитии небо было видно сквозь крышу, мерзли страшно...».

Присутствуя на том памятном вечере, я с трудом успевал записывать взволнованную, эмоциональную речь Романова. Остановился он тогда и на своем поэтическом творчестве:

«Прожитая жизнь, окружающая и предстоящая, очень звонко вокруг меня ходит. За плечами у меня более двадцати книг, многое сделано в журналистике. Я обрел не только желание, но и способность любить родных, ближних, земляков, всех нас, это дает мне возможность спокойно смотреть в завтрашний день. В красоте моей родины удалось найти искренность моей поэзии. Ведь поэзия – как молитва. Сейчас в мире много эгоизма, излишнего расчета, когда не до милосердия, не до сострадания. Но, возможно, мне удалось выразить голос этой земли. Я счастлив тем, что застал стариков, которые с их поэтической речью наговорили мне много стихов. Если бы у меня не было Петряева, не сделал бы я многого из того, что удалось сделать».

Писать стихи Александр начал еще в школе, в старших классах. Участвовал в работе школьных литкружков. Педучилище, а затем

пединститут, знакомство с известными литераторами довершили становление поэта. Он вспоминал:

«На моем пути встретились талантливые и благородные люди. Первый из них – Александр Яшин. Он прямо волок за собой молодых. Он меня и заметил, помог стать участником третьего Всесоюзного совещания молодых писателей».

Долг, как говорится, платежом красен. Позднее, будучи уже ответственным секретарем молодой еще Вологодской писательской организации, Романов воспитал многих молодых литераторов. Вот что сказал В. И. Белов на том же памятном вечере в Воробьеве, посвященном юбилею Романова:

«Без него и у меня жизнь была бы труднее. Он познакомил меня с Александром Яшиным и Сергеем Викуловым. Роль Романова в литературе несравнима ни с какой другой. Это – народный поэт и надежный заступник».

И верно. Александр Александрович был предельно внимателен ко всем писателям-володжанам, не упускал случая сказать о ком-нибудь теплое доброе слово. Даже о поэте Игоре Тихонове, который скоро сошел с писательского пути, он сказал: «Это опытный поэт. Со своим голосом. И умудренный жизнью человек. Со своей позицией. Хлеб себе добывает не пером, а крестьянским трудом. И живет в любимой им Вологде». Эти строки были написаны в 1994 году, незадолго перед тем, как Игоря Тихонова убили в пьяной драке...

Помог Романов и мне в издании первой моей книжки «Пятачок на берегу», которую сам и редактировал. Книжка вышла в 1977 году в Северо-Западном книжном издательстве.

Заботиться о молодых писателях, тревожиться за них Александр Александрович продолжал до конца своей жизни. Благодаря его усилиям и участию в работе приемной комиссии в Москве в Союз писателей СССР было принято, пожалуй, не меньше десятка молодых вологодских писателей и поэтов. Некоторые уже ушли из жизни, другие стали известными и уважаемыми литераторами. Вот что он сказал на отчетно-выборном писательском собрании весной 1988 года:

«Меня заботит судьба молодых. Ощущение такое, что мы заслоняем собой дорогу вослед идущим. Но и они порой страдают иждивенчеством, мало участвуют в жизни города, области, не видно их и на творческих вечерах. С другой стороны – трудно складывается дело с изданием новых книг. Прямо гибельное дело. Даже в двадцатые годы при «Красном Севере» издавались маленькие книжечки стихов, теперь же об этом нечего и думать. Начинает рваться преемственность в литературе...»

Он был прав. Рвалась не просто преемственность, рвался весь привычный уклад жизни, ведь уже начиналась горбачевская «перестройка». И Романов пророчески заметил:

«Историзм времени сечет лицо, как обжигающий ветер. Наступает время возрождения родной истории, ее понимания, знания. И настаивает направленность некоторых СМИ: якобы любовь к России, все слишком русское надо сдерживать. Если начнем сдерживать – это конец. Ведь шовинизм и национализм – это жупелы, которыми пугают слабонервных. Русские никогда ни с кем не враждовали. А сейчас мы или возродим чувство родины, или всех одолеет безразличие».

В девяностые годы Романов много и напряженно думал о том, куда идет Россия, о сути и смысле поэзии, о ее роли в обществе, о чем свидетельствуют его многочисленные выступления на вечерах, на писательских собраниях и семинарах. Так, на семинаре молодых литераторов в 1993 году он говорил:

«Существуют книги о поэтическом мастерстве, о технической стороне поэзии. Но сама поэзия – дело мистическое, окутанное тайной. Мы все учились поэзии, слушали умные советы. Но научить поэзии невозможно. Взять точный выбор ритма – этому не научишь. Поэзия непознаваема умом. К счастью, существует поэзия Северной Руси. У нас есть Клюев, Ганин, Яшин, Рубцов, Викулов, Фокина. Это явление – поэзию Севера – будут изучать долго».

Особенно трепетно относился Романов к поэзии Николая Рубцова. Выступая на вечере, посвященном 50-летию Рубцова, он говорил:

«Трудно представить, каким бы Рубцов был сейчас, какие покорил бы новые высоты, какие открыл бы тайны поэзии. Его мучил не образ, а звук. Много в его стихах «незримых певчих пеней хоровой», это пенье его преследовало. Уйдя от шума эстрадных в тотемские леса, он открывал там новые звуки, которые ложились в его стихи. В 1962 году я прочел его стихотворение «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны» и понял, что это поэт гениального размаха. Рожденный для высокого, такой человек живет с ощущением спрессованного времени. Может быть поэтому такие люди долго и не живут. Он явил новый дух в современной поэзии: всероссийский, всеволодой. Историзм его стихов и сделал его всенародным. Его поэзия стала песней, она живет по всей земле нашей, перешагнула и ее рубежи».

Многие из этих слов можно отнести и к поэзии самого Александра Романова. Многие его стихи и поэмы столь же нетленны и неподвластны времени, как и творения Николая Рубцова. Надолго запомнится и проза Александра Александровича, особенно его книга очерков «Искры памяти». В сущности, это сборник размышлений поэта, умного и страстного человека о судьбе России. Тон сборнику задает открывающая его новелла «Дионисий в Ферапонтове». Щемлящим, горьким упреком нам, сегодняшним, звучат здесь романовские слова:

«И неведомо нам, что когда-то на Руси жизнь людскую утверждали «через умное и сердечное делание». И не расписывали ее по пятилеткам, а повседневно и всеучастливо вкладывали свои труды в неделимость времени и в будущее шли, как на подвиг. Вот Нил Сорский. Вот Дионисий. А мы-то, нынешние, до того испоганились, измельчали, продали свое великое прошлое, что ни о каком духовном совершенствовании и думать не желаем. Лишь по рабской привычке опять надеемся, что жизнь на Руси наладится кем-то и без нашего «умного и сердечного делания».

Целая галерея «делателей» представлена в этой романовской книжке: Алексей Ганин, Николай Клюев, Александр Яшин, Сергей Орлов, Николай Рубцов, Василий Белов, Федор Абрамов... Все это русские страдальцы, не умевшие кривить душой, подлаживаться да заискивать, а потому получавшие то плюю, то серию ударов критическими дубинками приспособленцев.

В «Искрах памяти» Романов вновь заявил себя как очень тонкий ценитель искусства. Его рассуждения о природе художественной прозы, поэзии, публицистики поражают верностью и неординарно-

стью взгляда. Только человек, одолевший почти недоступные вершины поэзии, мог дать ей столь нестандартную характеристику:

«Что такое «вещество поэзии»? Это свет откровений из глубины души или из разломов народной судьбы. Это словесное пламя самих времен».

И еще:

«Образ души, состояние души, ее вселенская отзывчивость – вот в чем светоносность Поэзии. Современность в ней не столько внешние реалии жизни, сколько драматизм человеческих взаимоотношений в потоке времени. В прошлом – очарование, в настоящем – страдание, в будущем – искупление».

Один из очерков Александра Романова называется «Где же русский путь?». «Главный русский путь, – говорит автор, – это путь к себе, в себя, в свое прошлое и будущее одновременно. Через заблуждения к собиранию не только исторических камней, но всех наших, разъятых безвременьем родственных связей. К собиранию самих себя, своей национальной сущности!».

Не завещание ли это большого русского таланта нам, оставшимся жить после него?

Вновь я перебираю письма, записки Александра Александровича, которые присылал он мне из своего родного Петряева, а то и из Вологды, когда не было минутки заглянуть в «Красный Север»: то он торопился в Москву, то в Петрозаводск, то в деревню. Письма всегда теплые, дружеские, какие-то родные. Особенно тронуло последнее, написанное после известия о моем уходе из газеты на пенсию:

«Дорогой Василий Дмитриевич!

Мне жаль расставаться с твоей дружеской опекой в «Красном Севере». С тобой легко, даже радостно вместе работать. Но я, уже давний пенсионер, понимаю твою газетную усталость. Дай Бог тебе душевной свежести, оказавшись на пенсионной «свободе». Вместе с письмом к тебе отсылаю в газету материал в «Родник». Он называется «Травинкой» – лирико-философские раздумья о встречах с Яшиным и Солоухиным. Надеюсь на читательскую заинтересованность.

В Вологду предполагаю вернуться в конце октября. Передай мой задушевный привет твоей семье и друзьям-писателям.

Остаюсь верным тебе другом А. Романов».

Размышляя о жизни и судьбе Александра Александровича Романова, невольно вспомнил слова Ф. М. Достоевского: «Широк человек!» Могучий и самобытный русский поэт, блестящий публицист, непревзойденный организатор, верный друг, наконец, просто веселый и добрый человек с чистой душой и неизбывной заботой о судьбах родного края – таким он был, а теперь уже навсегда останется не только в памяти знавших его, но и в многострадальной русской литературе.

«Нет, не был гостем я в родном краю!» – сказал Александр Романов в одном из последних своих стихотворений. Глубоко и верно сказал. Не гостем он был, а защитником и страдальцем земли нашей.





## Эхо России

---

### Владимир ШИРИКОВ

Гибель Володи Ширикова потрясла всех. Здоровяк, красавец, общительный, жизнерадостный. Он завораживал собеседника, недаром множество друзей было у него и в Вологде, и в Москве, и в Петербурге, и особенно в деревнях! А умер он в одиночестве и – страшно.

Не помню точно, когда мы увиделись впервые, вероятно, в середине семидесятых, когда он стал работать редактором «Вологодского комсомольца». Вокруг этой газеты всегда сбивалась талантливая молодежь, а Володя обладал особым обаянием молодости, простоты и ума. Все у него ладилось, все удавалось: брался ли он за редактирование газеты, за рассказ или «сочинял» дружеское застолье. Пили мы тогда много, много спорили и смеялись. В «Комсомолке» работала уйма веселых и остроумных людей: Алик Варюхичев, Алик Третьяков, Сергей Чухин, Нина Веселова... Повседневными гостями в редакции были Александр Романов, Виктор Коротаяев, Ольга Фокина, Василий Белов, другие известные уже в то время писатели. Может быть, из-за обилия хороших стихов и рассказов газета пользовалась громадной популярностью, тираж ее постоянно рос.

Казалось бы, жизнь всю улыбалась молодому Ширикову: в издательстве «Современник» уже вышла его первая книга, впереди светила блестящая журналистская карьера...

И вдруг он бросил все: редакторство, литературные занятия и на два года завербовался на Шпицберген, редактировать газету тамошних угольщиков. Наверное, была в этом поступке изрядная доля юношеского романтизма, светлый романтизм проскальзывает даже в публикации «В семи сантиметрах от полюса», которая появилась в «ВК» первого декабря 1978 года, то есть уже после возвращения Володи в Вологду:

«На борту (самолета – В. Е.) нас было 78 человек – будущих полярников, летевших к загадочному холодному архипелагу, где, если верить старому доброму сказочнику Андерсену, и находится царство Снежной Королевы... Под нами ледяной остров с огромными снежными полями, от белизны которых слепит глаза. Это в августе-то...».

Подробно описывая особенности архипелага, Володя упомянул и о нескольких «камешках», найденных в «пологой горе» на побережье. В одном из них, удачно расколотом ударом молотка, – кусок окаменевшего камыша, четкий отпечаток, где сохранились даже поры в стебле. На другом причудливо отпечатался даже лист дерева, чем-то похожий на веточку лиственницы. Им – миллионы лет, немым свиде-



телям некогда теплого климата. Времена менялись, суша становилась морским дном, снова перемещалась наверх, поддаваясь вечному движению земных недр, и немудрено, когда в сердцевине горы встречаешь вдруг окаменелые останки морских ракушек».

Вчитайтесь: здесь Владимир Шириков еще атеист, как и все мы, воспитанники сталинской эпохи. В зрелом возрасте он принял Бога, и это послужило причиной нескольких споров между нами. Я сказал, что смогу поверить в Бога только тогда, когда пойму его если не физическую, то духовную сущность.

– Скажи мне коротко: что такое Бог?

– У тебя совесть есть? – спросил Володя.

– Надеюсь...

– Ну вот: совесть и есть Бог.

– Допустим. Но зачем такому Богу нужны поклонны, молитвы, обряды?

– Они не Богу нужны, а людям.

В те годы стала появляться теория «первого толчка», «конечности Вселенной», «искривления пространства». Утверждалось, что из ничего или из какого-то особого состояния материи в виде вакуума путем колоссального взрыва образовались бесчисленные галактики и звезды, которые мы наблюдаем сегодня.

– Видишь, – сказал мне однажды Шириков, – значит, мир когда-то был сотворен. В одно мгновение. А кто это мог сделать? Только Бог. Стало быть, он есть начало и конец всему, в том числе и Вселенной.

Я снова возразил. К согласию мы так и не пришли: ни тогда, ни после.

Литературные занятия привлекли к себе довольно рано, и начал он удачно. Еще в 1974 году в столичном издательстве «Современник» вышел сборник его рассказов и повестей «Пятое время года», а в 1977 году в Северо-Западном книжном издательстве – книга «Хлеб детей твоих». Этот сборник Володя подарил мне, сопроводив трогательной надписью: «Милому Васе Елесину с глубокой надеждой и верой в его успех. Сердечно Вл. Шириков. 12.12.1977 г.».

Есть у меня и другой дорогой его подарок. 12 октября 1983 года шел я по улице Герцена в Вологде и неожиданно встретил Володю.

– Что такой грустный? – спросил он.

– Не грустный, а задумчивый, – отшутился я. – Чему радоваться? Ведь сегодня мне сорок семь стукнуло!

– Правда? Постой, подожди меня здесь пять минут, ладно?

Вскоре он появился снова с книгой в руках. Это был «Дневник писателя» Федора Достоевского издания 1878 года. Я попытался отказать от столь дорогого подарка, но он и слушать ничего не стал. Дома, раскрыв книгу, я прочел на титульном листе: «Вася, друг любознательный! Из нашего-то времени да в XIX век – до чего ж здорово! Там еще о «про и контра» спорили, – а теперь какие уж «про»? С днем ангела тебя! Вл. Шириков. 12.10.83 г.».

К тому времени Володя был не только членом Вологодской писательской организации, но и ее ответственным секретарем. Работать он умел и любил, недаром впервые организовал в Вологде Дни славянской письменности. Благодаря его инициативе и настойчивости изготовили и установили в Тотьме памятник Николаю Рубцову. А сколько было писательских поездок по области! Мешала ему только его не-

обыкновенная разбросанность. Пишет, к примеру, что-нибудь, тут отвлекут вопросом, начинает искать какую-то бумагу, которая, чаще всего, лежит прямо перед глазами, потом хватается за телефонную трубку, не договорив, вспоминает еще о каком-то деле и срывается из-за стола, совсем позабыв, что он там начинал писать и зачем...

Необыкновенная его «моторность», впрочем, не только мешала, но и помогала «выбивать» кое-что у партийного начальства. При Ширикове появилась в писательской организации своя машина, нужная позарез: тогда ведь писатели ездили устраивать творческие вечера по всей области.

Организовал Шириков и широкое празднование 25-летия Вологодской писательской организации в 1986 году. В юбилейной статье «По ступеням времени», опубликованной в «Красном Севере» 27 мая 1986 года, он рассказывал об истории организации:

«Основу ее составили восемь тогда уже профессиональных писателей: Сергей Викулов, Виталий Гарновский, Виктор Гроссман, Виктор Гура, Иван Полуянов, Александр Романов, Аркадий Сухарев и Николай Угловский... За непродолжительное время в нее влились Василий Белов, Ольга Фокина, Николай Рубцов, Виктор Кортаев. Переехал из Перми в Вологду Виктор Астафьев...».

В юбилейной статье Шириков в нескольких словах охарактеризовал почти каждого писателя-володжанина. Упомянул и начинающих, в том числе Виктора Шалатонова, из-за которого произошла у нас с Володей небольшая размолвка. Виктор, воспитанник детдома, работал где-то в Якутии, но женился на воложанке и переехал к нам. Устроился он в «Красном Севере», где мы и познакомились, а позднее довольно близко сошлись. В 1985 году в издательстве «Современник» вышла его первая книга «Мокрая сопка», а вскоре он принес заявление с просьбой о приеме в Союз писателей. Шириков в то время был одержим идеей создания сборника прозы, посвященной детдомовцам, и сказал Шалатонову:

– Мы примем тебя в Союз, если напишешь очерк о своих детских годах в детдоме.

Безусловно талантливый и легко ранимый Шалатонов обиделся. Может быть, отчасти из-за этой обиды, но главным образом из-за семейных неурядиц он уехал из Вологды, вернулся в Сибирь. При случае я сказал Володе:

– Разве можно так грубо наступать на большую мозоль? Как мог Виктор писать очерк о том, о чем ему даже вспоминать не хотелось?

– Пожалуй, я тут переборщил... – смущенно признался Володя.

Девяностые годы, их начало для всех россиян стали шоком, а для нас – в особенности. Развал Союза и последующее разграбление России ударили каждого под самое сердце. Возможно, беззастенчивый этот грабёж и подтолкнул Володю к политике. Он участвовал в выборных кампаниях, в частности, стал доверенным лицом писателя Анатолия Петухова, когда тот избирался в Верховный Совет РСФСР. В 1991 году Шириков взялся редактировать газету вологодских писателей «Эхо». Я убежден, что эта газета еще долго будет служить летописью того неспокойного и мрачного времени.

Кстати сказать, чуть ли не впервые в истории послереволюционной России в «Эхе» были опубликованы «Протоколы сионских му-

дрецов». Публикация эта у многих перевернула представление о происходящем в стране с головы на ноги...

Тема растленного влияния и могущества сионизма тревожила Ширикова давно. Помните «про и контра» в «Дневниках»? Так называлась статья Достоевского, посвященная еврейскому вопросу. Как-то, во время очередной кампании по переселению евреев из России на «историческую родину», Володя сказал мне:

– Не понимаю тех, кто пытается удержать у нас евреев. Я бы каждому жиду командировочные до границы платил...

В одной из статей, которую я готовил для публикации в «Красном Севере», Шириков убедительно доказал, что смерть Сергея Есенина не была самоубийством – его убили чекистские сионисты за поэму «Страна негодяев». Володя был уверен, что на совести сионистов (хотя сионизм и совесть, как он говорил, – понятия несовместимые) уже в наши дни – смерть Василия Шукшина за рассказ «Ванька, смотри!» («До третьих петухов») и Юрия Селезнева, выдающегося литературного критика, за резкие антиссионистские статьи.

Не без основания опасался Володя и за свою жизнь, особенно когда начал редактировать «Эхо».

– Меня тоже в любой момент могут шлепнуть, – признался он как-то. – Но дешево не возьмут, есть у меня «игрушка»... – и, расстегнув «дипломат», показал старый, местами заржавевший пистолет...

Опасаться было чего. В первых же номерах «Эха» опубликовано несколько материалов, разоблачающих звериную сущность сионизма: «Черный список «Еврейской газеты», «Спор о Сионе» (отзыв на одноименную книгу Дугласа Рида), «Сион – фашизм: ягоды одного поля» и другие.

Впрочем, злобу вызывали не только антиссионистские статьи, но и открытое неприятие постперестроечной политики властей. «Как разваливают державу», «Блуд на крови, или Путч, которого не было», «За державу обидно» и другие. Последняя его статья, опубликованная уже в «Эхе земли» после Володиной кончины, называлась «Карман – могила совести».

В конце концов искусственно были созданы условия, при которых газета писателей не смогла выходить. Оппозиционную прессу душили экономически: не найдешь денег на бумагу, на оплату типографии – погибай. А откуда было взять немалые деньги писателям, если все пути печатания и реализации книг были уже перекрыты. Тогда-то Шириков и взялся редактировать орган Крестьянского союза области, назвав его «Эхо земли». По сути, по направлению это было прежде «Эхо». Рупором аграрной партии Шириков стал не случайно: в душе он всегда оставался крестьянином.

Ранней весной уезжал он из Вологды в свои Прилуки Усть-Кубинского района, в родную деревню, где арендовал участок земли рядом с родительским домом. Вот как описывает его хозяйство Анатолий Ехалов («Слово о друге». «Эхо земли», февраль 1999 года):

«Старый шириковский дом стоял на краю цветущего луга у самого леса и был единственным обитаемым гнездовьем в этой глуши (...) Но обед (да еще какой!) явился на столе, словно из скатерти-самобранки.

Володя сбегал в сарай, где у него жили курицы, насобирав по гнездам решето яиц, накопал в огороде картошки, нащипал луку и укропа,

десяток два огурцов достал из парника, на опушке леса нарезал крепеньких боровиков. Пока готовился обед, на задворье топилась баня...».

А предчувствие смерти не покидало его. По свидетельству того же Ехалова, Володя сказал на могиле Виктора Коротаева, умершего года за полтора перед этим:

– А знаешь, братишка, мне по этой палубе осталось недолго шататься...

Смерть его была столь же загадочна, что и смерть Шукшина или Селезнева. Трудно поверить, будто Шукшин умер после чашки крепкого кофе в 48 лет, что здоровяк и спортсмен Селезнев скончался от сердечного приступа в саду своего немецкого знакомого в Германии...

Как рассказывали, Шириков в канун Нового, 1999 года якобы поссорился со своей второй женой, и она на несколько дней ушла из дома. Володя, вроде бы, залез в горячую ванну, где у него и случился сердечный приступ. Он, уже мертвый, пролежал в ванне с водой несколько дней, а когда его наконец обнаружили, тело разбухло настолько, что, по заключению медэксперта, «причину смерти установить не представляется возможным». Правда, участковый врач, у которого иногда бывал Володя, говорил потом, что он страдал тромбозом, и горячие ванны были ему противопоказаны: мог отслоиться тромб и закупорить сердечный клапан. Но и врагов у Володи было немало...

Он прожил всего 55 лет, а вместил в свои книги и статьи целую эпоху, причем одну из самых трагических в истории России. И сам стал эхом этой эпохи...





## Трагедия прозаика

---

### Владимир СТЕПАНОВ

Впервые с Володей Степановым встретились мы, должно быть, на приемных экзаменах в университет в 1960 году. Сталкивались, естественно, и позднее, на первых сессиях, но в памяти об этих первых встречах почти ничего не осталось, лишь впечатление чего-то тяжелого, рыхлого и лысоватого. Близко познакомились мы, вероятно, года через полтора после поступления, «отбарабанив» очередную сессию.

Сдав последний экзамен, мы вышли из дверей филологического факультета или, как его еще называли с незапамятных петровских времен, «здания двенадцати коллегий» – и остановились в раздумье. Ласково плескалась за парашетом весенняя Нева, четко рисовался Зимний на другом берегу, а чуть правее – мощный купол Исакия.

- Не мешало бы отметить сдачу-то! – сказал Володя. – Зайдем куда-нибудь?

- Пошли на Невский, – согласился я.

Не спеша перешли Дворцовый мост, мимо Александровской колонны через арку Главного штаба вышли на Невский и вскоре оказались в уютном полуподвальчике, где разливали спиртное. Заказали по сто граммов, и Володя рассказал немного о себе. Родом он был из Калининской (теперь Тверской) области, работал учителем, но уже печатался в газетах, а потому и поступил на факультет журналистики. Были мы почти ровесники, он всего лишь на пять месяцев моложе меня, а потому и разговор наладился почти сразу, причем доверительный, душевный. Через некоторое время Степанов сказал:

- А знаешь, не хочется расставаться. Зайдем еще куда-нибудь? В ресторан, а?

- Можно и не в один, – пошутил я. – Надо же начинать знакомиться с питерскими значными местами!

- Идея! Давай попробуем, сколько ресторанов сможем обойти, если в каждом принимать не больше ста граммов?

Идея, конечно, была довольно глупой, да ведь и мы были не больно умны в те годы, когда на двоих не стукнуло еще и пятидесяти. Как и следовало ожидать, споткнулись мы на пятом ресторане, где я пригласил танцевать какую-то девицу, а Володя, обидевшись на мое «предательство», насупись, сидел на плетеном из полиэтиленового провода стуле и сосредоточенно расплетал его. Расстались мы в метро на площади Восстания, возле которого молодой подполковник попросил у нас огоньку. Зажигая спичку, Степанов ворчал:

-Ты чего, такой пожилой, а только до лейтенанта дослужился? У меня и то три звездочки на погонах...

«Лейтенант», как на грех, оказался заведующим кафедрой военной подготовки в университете. К счастью, все обошлось без последствий.

С каждой новой сессией я узнавал о переменах в судьбе Степанова. Он переехал в нашу область и стал работать заместителем редактора в вытегорской районной газете «Красное знамя», а потом был переведен редактором чагодощенской районной газеты «Искра». После окончания университета Володю взяли сперва собкором областной газеты «Красный Север» по западным районам области, а вскоре приняли в штат газеты на должность заведующего промышленным отделом. Было это в 1968 году, я учился в то время в Москве и присылал Степанову оттуда корреспонденции.

Вологда в конце шестидесятых годов постепенно становилась литературной столицей России. Еще мало известные читателю, во всю мощь разворачивались таланты Рубцова, Белова, Романова, Коротяева, Фокиной, часто наезжал сюда и встречался с молодыми писателями Александр Яшин. Все это создавало своеобразную творческую атмосферу, которая не могла не влиять и на Степанова, весьма одаренного человека, давно пробовавшего писать рассказы. Один из них, «Американский пиджак», вскоре появился в журнале «Север». И почти сразу же автора пригласили на работу в этот журнал, в Петрозаводск, заведующим отделом публицистики. В 1973 году увидела свет первая книга Володи – «У родного крыльца», которую он подарил мне с надписью: «Васе Елесину, вдрызг своему парню. Уверен, что напишешь лучше. Автор В. Степанов. 1 сент. 1973 г.».

Автограф ныне наводит на раздумья, особенно эта фраза: «Уверен, что напишешь лучше». Думаю, что понимать ее нужно было как раз наоборот: он был уверен, что «лучше» мне не написать, да и не только мне, но и многим другим литераторам, тут как бы звучит скрытый вызов: «А попробуй-ка, сделай так!» И теперь, оглядывая всю трагическую судьбу этого писателя, думаю, что именно тогда началась болезнь самомнения, которая в конце концов привела к творческим неудачам, а потом и к гибели.

Самым удачным в книжке «У родного крыльца» сейчас кажется мне рассказ «Федька-писатель», в котором еще не растеряна юношеская зоркость и впечатлительность, в котором видна личность молодого Степанова, который мог иногда ошарашить неожиданным, вроде:

Шла машина мимо фермы,  
Потеряла бочку спермы...

Дальнейший взлет в карьере Степанова был поистине стремительным. На некоторое время он становится заведующим Вологодским отделением Северо-Западного книжного издательства, потом уходит собственным корреспондентом газеты «Лесная промышленность» и, наконец, собственным корреспондентом «Правды» по Вологодской, Архангельской областям и Коми АССР. Одна за другой выходят его новые книги: сборник «Под одной крышей» (1975 г.), «Клятва» (1977 г.), «У самой железной дороги» (1976 г.). Этот сборник вышел в Москве, в издательстве «Современник», надпись на нем также не лишена са-

моллюбования: «Дай Бог нам издаваться еще не раз вот так и лучше. В. Степанов. 24 июля 1977 г.». Книга в самом деле была издана прекрасно, в серии «Новинки «Современника», в твердой обложке.

Менялся Володя на глазах: потучнел, лысина стала еще больше и наливалась красной, прочерченной крупными синими жилами. Сильнее стала сказываться боль в колене, которое он повредил еще служа в армии. Очень любил он в эту пору рассказывать о знаменитостях, с которыми сталкивался в «Правде», в том числе о редакторе газеты Зимяinine, о писателе Чингизе Айтматове, который тоже работал в «Правде» в ту пору. И материально он стал жить лучше: получил четырехкомнатную квартиру в престижном доме, одна из комнат служила ему кабинетом, там был установлен телетайп. Отправляя по телетайпу корреспонденции в газету, Степанов иногда шутил, причем довольно опасно для тех времен. Однажды он, например, передал в газету такую информацию: «Череповецкие металлурги наращивают производство высококачественной стали, что позволяет увеличить толщину пушечных дул...».

Примерно в эту пору мне однажды пожаловался Виктор Астафьев:

– Тут недавно Степанов кое-кому говорил, что пишет новую книгу, что, мол, Белов и Астафьев ему еще в ножки поклонятся! Ну зачем так-то? Да пиши ты хоть как Лев Толстой, я все равно в ножки тебе кланяться не буду!

Сомнение разрасталось, но нет-нет да еще и проглядывал в Степанове прежний Володя: то позовет с собой на берег реки Вологды и, спохватившись, что не взял стакана, вырежет стаканчик из огурца, то перелезет через забор на тщательно охраняемую обкомовскую дачу, которая была ему выделена как собкору «Правды», то вызовет обкомовскую машину, чтобы прокатиться с веселой компанией по лесу...

Как-то он сказал мне, что собирается уходить из «Правды»:

– Кстати, я это не первый сделаю. Чингиз Айтматов тоже ушел отсюда, чтобы вплотную заняться литературной работой. Вот и я того же хочу.

Я попробовал остеречь его от опрометчивого шага:

– Ты пойми, что величины-то несоизмеримые. Айтматов был большим писателем и до «Правды». А тебя в последние годы так охотно издают не потому ли, что ты работаешь в «Правде»?

Степанов обиделся, и надолго. Из газеты он все-таки ушел. К несчастью, оказалось, что я был прав: ему удалось издать еще одну, причем лучшую свою книгу «Приключения Букварева, обыкновенного человека и инженера», а потом пришел застой. Деньги скоро закончились, он вообразил, будто ему мешает писать семья, и вскоре развелся с женой, разменял квартиру, а в конце концов вернулся к тому, с чего начал, – устроился на работу в «Красный Север».

Была ли у Владимира Степанова возможность встать на более высокую ступеньку, начать новый виток своего творчества? Думаю, что была. Через шесть лет после выхода в свет «Букварева...» в Северо-Западном книжном издательстве выпустил книгу рассказов «Не белы снеги...», которую мне довелось рецензировать в «Красном Севере». Вот что писал я тогда о рассказе «Забуксовали»:

«Поливин – характерный тип современного стяжателя, ненасытного, завидущего, который даже в голодные послевоенные годы,

пользуясь тем, что «состоял при запчастях», бессовестно наживался на нехватках обнищавших колхозов. Характерно, что в этом типе стяжателя есть нечто новое, его не отождествишь с послереволюционным «кулаком», с «мелкобуржуазной стихией», он плоть от плоти и кровь от крови рожденного в наши дни бюрократа-потребителя, представитель той многочисленной безликой прослойки, которая столь беззастенчиво пользуется властью и врученными ей материальными благами.

Исторические процессы, формировавшие современных Чичиковых, оставили глубокий след не только в психологии людей, подобных Поливину, они искалечили души и многих честных тружеников старшего поколения, если не до конца, то, по крайней мере, придали им довольно уродливую форму».

Видимо, в развитии этого направления, в исследовании душ современных хапуг, океан которых появился в девяностые годы, могла бы состояться большая творческая судьба Степанова. Но стремительный взлет, а затем не менее стремительное падение его популярности подкосило его как человека. В девяностые годы ничего более-менее значительного он не создал.

Несколько раз по старой памяти я навещал его в маленькой однокомнатной квартирке на первом этаже. Однажды он пригласил несколько человек, в том числе и меня, а выпив, начал жаловаться, что ему не дают работать, что надо и на жизнь зарабатывать, и гостей принимать, «да еще и шедевры писать в это же самое время!»

Умер он неожиданно, осенью 1996 года. Как сидел за столом, уставленным выпивкой, так и остался в одиночестве – отказало сердце.

Помню, как в морге мы перекладывали его, уже одетого, со стола в гроб. Могучая Володина голова болталась, как у тряпичной куклы, и так резануло вдруг по душе, что я вышел из здания и торопливо закурил...

Из писателей хоронили Степанова всего несколько человек.







## *Звезда его жизни*

---

### Николай ФОКИН

Девяностые годы прошлого века стали роковыми еще для одного вологодского поэта – Николая Фокина. Его судьба вообще была трагичной: хмурое детство с пьяницей-отчимом, школа-интернат в Вологде, а после школы, до армии, да и после службы – скитания по городам и весям, временные работы, общежития, углы... Лишь в тридцать лет он, уроженец села Можайское, что под Вологдой, нашел себе более-менее постоянное пристанище в Нюксенице. Там и провел остаток жизни. А умер Николай сравнительно молодым, не дожив до сорока двух лет. Скончался он 3 января 1995 года.

Одним из якорей спасения от скитальчества, от запоев стала для него поэзия. И хотя при жизни издал он только одну книжку – «Пошонок», да и то на «самодеятельном» уровне, в Нюксенице, книжка оказалась настолько яркой, что Николая на одном из семинаров в Москве безоговорочно приняли в Союз писателей России.

Фокин часто присылал стихи в редакцию «Красного Севера». Часть из них печаталась, много было и слабых, недоработанных. В ответных письмах я пытался объяснить ему, почему то или иное стихотворение нельзя напечатать, над какими строчками следует еще поработать. Коля никогда не обижался на замечания, наоборот, упорно старался избавиться от «орехов».

Надо сказать, что в начале девяностых годов и «Красный Север» переживал не лучшие времена. Денег на издание газеты постоянно не хватало, зарплата задерживалась, гонорары авторам платить иногда было просто не из чего. И все же Фокин не бросил любимое дело, да и как мог он его бросить, если поэзия и в самом деле оставалась его призванием, его опорой, его путеводной звездой.

При первой личной встрече в редакции он произвел не очень приятное впечатление: рослый, крупный парень с усами, хмельной, необычайно резкий в движениях, с громогласным голосом, в споре срывавшимся до крика и визга, словом, эдакий бесшабашный разудалый добрый молодец, он чем-то напомнил мне гоголевского Ноздрева. Но это было лишь первое впечатление. В переписке нашей, а Фокин написал мне около сорока писем (все они сохранились), Николай предстает мятущимся, но очень ранимым и душевно чутким человеком. Эти его качества не могли не отразиться и в стихах: получались они искренними, берущими за душу.

«Дорогой Вася, если б ты знал, как я одинок! – писал он мне в сен-

тябре 1989 года. – Не хочется ни пить, ни скулить, ни гладить себя по шее. Смотрю в чистое поле и тем только тешусь, что природа тоже терпит нас. И я терплю всю эту суету, которая окружила опять меня со всех сторон. Может быть, я болен?».

Такое настроение охватывало Николая часто и надолго. Прошло больше года, а в ноябре 1990 года он прислал такие стихи:

Живу в оскверненном районном покое,  
Хожу по земле с пестерем и клюкой.  
Но, Господи! Что это с телом такое:  
Хожу и не чую земли под собой.  
На пустошах сельских, на вырубках леса,  
На пашнях заросших – и в дождь, и в жару  
Не чую в себе человеческого веса,  
Как будто не завтра-сегодня умру.  
И сердце заходится в горестном дыме,  
Как будто по вещему знаку извне  
Я должен ответить за все, что другими  
С лихвою наломано в этой стране!  
И солнце – не солнце! И ветер – не ветер!  
Все чаще смотрю вечерами туда,  
Где всходит в закатном космическом свете  
Моя напряженная жизни звезда.

Не год и не два одолевали Фокина тяжелые предчувствия, не ослабевала тоска. В такие мгновения и рождались у него полные безнадёжности строки:

Я трогаю сердце рукою –  
Да есть ли оно у меня?..  
Осенний туман над рекою,  
Дождливые сумерки дня...

Где же находил он спасение от нищеты и хандры? Только в поэзии. В одном из писем он сам признается: «Перебирал свои черновики и наткнулся на дьявольски музыкальную строчку: «Теплое поле июльского вечера» – душа так и зазвенела, сразу окунулся в лето – и одиночества, тоски как не бывало. Написал стихотворение...».

А между тем в это время он уже тяжело болел, признался, что «двадцать дней лежал со спиной».

Иной раз думается: поживи Николай Фокин подольше – широкое признание не обошло бы его. Ведь уже брали стихи толстые журналы и альманахи, большая подборка была переведена даже на японский язык. Николай сообщал:

«У меня выходят стихи в Японии, которые ты давал в последней подборке «Красного Севера». Я очень, видать, заинтересовал Николемуру Ёсика! Журнал «Народ», но что это будет за версия, посмотрим...».

И, тем не менее, безбедного существования поэт так и не дождался. Да и он ли один? Сколько талантов русских погибло от нищенского существования в девяностые и последовавшие за ними годы! Сколько безвременно оборванных жизней! Да и то сказать: кому из тепе-

решного поколения хапуг нужна честная литература? Она ведь всегда царапает нечистую совесть, а это неприятно обитателям дворцов: лучше уж задушить ее на корню! Не об этом ли фокинский экспромт:

Я живу, не накопив рубля  
 На свои бедняцкие поминки,  
 Как умру, богатые друзья,  
 Скиньтесь на дешевые ботинки!  
 Все душой скитальческой любя,  
 Исходив земное бездорожье,  
 Ставил я не дешево себя –  
 Только жизнь была меня дороже.

Последнее по времени стихотворение, которое прислал мне Николай, датировано 10 июля 1994 года, за полгода до его смерти:

Я прохожу – мне ничего не надо –  
 На Сухоне подергать окуней,  
 Но почему душа за всех так рада,  
 Так сердцу люб просвет погожих дней?  
 Давно я понял истину простую:  
 Всем пожелай удачи и добра –  
 И ты найдешь свою стезю живую,  
 Хоть без кола живи и без двора.  
 И я нашел – мне ничего не надо!  
 Удачи вам и блага, косари!  
 Я ухожу в проточную прохладу,  
 Таская окунишек до зари.

Стихотворение, из которого взяты эти строки, называлось «Я прохожу...». Звучит оно как завещание...

Я берегу единственную прижизненную книжку Коли Фокина с надписью: «Дорогому Василию Елесину от ученика. Н. Фокин». Значит, думаю, чем-то помог и я становлению талантливого поэта, певца обездоленных и угнетенных. Не зря же написал он однажды полные оптимизма строчки:

Я выйду к ним, потерянным, навстречу  
 И расскажу, как была жизнь меня.  
 Что надо жить, пока еще не вечер,  
 И, может быть, в согласии живом  
 Мы возведем на старом пепелище  
 Себе на счастье новое жилище,  
 В котором тихо, мирно заживем.

Видно, верным путем вела Николая Фокина звезда его жизни, имя которой – «поэзия».





## У золотого крыльца

---

### Александр ШВЕЦОВ

О том, что в Соколе появился еще один талантливый поэт, мне рассказал в конце семидесятых годов прошлого века мой старый друг Александр Николаевич Рачков. Он и привез для газеты несколько стихотворений молодого сокольчанина Александра Швецова. Стихи понравились и скоро появились в «Красном Севере». А вслед за тем завязалась оживленная переписка с автором, которая продолжалась на протяжении всей его, к сожалению, недолгой и не очень счастливой жизни.

Даже первые стихи Швецова говорили об уме незаурядном и о таланте недюжинном. Вот небольшое стихотворение «Весеннее»:

Сошли сугробы, обнажая  
Канавы, рывины, поля...  
До безобразия живая,  
Прекрасно выглядит Земля...  
Иной, глядишь, и телом гибок,  
И ростом – вешай фонари,  
Но без сомнений и ошибок,  
Застывший будто изнутри...  
Не слышит: птицы прилетели,  
Касаясь песнями земли...  
Какие вьюги и метели  
Живую душу замели?

Какова глубинность взгляда: несколько строк, а человек как на ладони!

Одна из первых поэм Саши Швецова, которую он прислал мне для газеты еще служа в армии, в 1978 году, называлась «Лирическая поэма». Большой отрывок из нее газета опубликовала 13 февраля 1979 года. Это была дерзкая попытка выразить все оттенки впервые нахлынувшей на юношу любви: тут и растерянность, и восхищение, и счастье, и боль. Стих поэмы – как музыка: многоплановая и чарующая, чувство льется из нее светлым и мощным ключом...

И все же это были лишь подступы к настоящей поэзии, которая сильной птицей билась в груди юноши-сокольчанина. Вот что писал он мне в одном из писем той поры:

«Наконец-то, кажется, пишется... Что получится – сам не знаю.

Пока что-то вроде поэмы, во всяком случае – длинная (а как хотелось бы «большого!»). И сам себя уговариваю: «Пиши, мол, Саша, пиши!» Ведь как верно: «опустил руки на неделю, потерял написанное за год». И вот опять сижу, как на гвоздях. И все Ваши письма. И радуют, и обязывают. И надо, значит, что-то сделать!».

И он сделал! «Большое» вылилось в поэму «Северные заруби», главы из которой вышли уже в первой книжке Швецова «Крылатый снег», она вышла в издательстве «Молодая гвардия» с предисловием Виктора Коротаева. Там, в частности, говорилось: «Ему только-только исполнилось 26 лет, а за плечами три интересных поэмы, несколько десятков стихотворений, большая исследовательская работа о творчестве Николая Рубцова, повесть «Прекрасны вы, берега Тавриды», «Сентиментальный роман», объемный очерк о работе и жизни сельского учителя и еще кое-что сверх того. И все это отмечено несомненным знаком таланта».

Книжка «Крылатый снег» вышла в свет в начале 1979 года, она стала у Швецова первой, но отнюдь не слабой вещью. А уже в следующем году в Архангельске выходят «Северные заруби», удивительная по силе и красоте поэма о поморах:

Что на Севере? Жидкая зелень,  
Изначальный на «о» говорок...  
Удивительный, словно музейный,  
На Мезени стоит городок.  
Далеко от московских пределов,  
Неизвестен, кого ни спроси,  
А сверкнут топоры корабелов –  
И светлеет от них на Руси.

Чем-то мощным, старорусским, былинным веет от «Северных зарубей», от могучей души и силы морехода Васьки Кочина, который и огромного медведя осилит, и на ледовый Грумант сходит со своей артелью, и с грозным царем Петром Великим, как равный, поговорит. Гибнет богатырь Васька в океане студеном, но потомки его живут на Мезени и поныне.

«Северные заруби» – одна из самых значительных и заметных поэм Александра Швецова, которую, уверен, будут еще читать многие поколения русских людей.

В 1982 году в Северо-Западном книжном издательстве вышла третья книжка Швецова – «Деревенский дневник», в которую, вместе со стихами, вошла и поэма «Деревенский дневник». Деревня для Александра, жителя в общем-то городского, всегда была родной, светлой и радующей с одной стороны, оглушающей болью запустения с другой:

Деревня большая,  
Дворов пятьдесят.  
На многих замки  
Вековые висят.  
И только рябины  
Под окнами днем  
Пылают все тем же

Веселым огнем.  
И птицы все так же  
Кружатся, спеша,  
Как будто над умершим телом  
Душа...

Странное дело: вроде бы стихи, родившиеся из сердца, талантливые, свежие и чистые, должны были сразу же привлечь внимание столичных издательств. Но увы... Швецова Москва не замечала, как и Рубцова в свое время. Через несколько лет после выхода третьей своей книжки Саша напишет мне:

«Жду откликов из издательств и журналов. Слава Богу, научился ждать и пересиливать хандру» (1985 г.).

«Живу, как обычно, надеюсь, хандрю, но работаю с мыслью теперь уж, что многого мне не успеть...» (1986 г.).

«Душа болит о многом. И хочется сказать о многом для читателя. Возможности же выйти все-таки к читателю пока что минимальные...» (1988 г.).

Не та ли безнадежность пробиться к широкому читателю порожидала у Швецова хандру, которая нередко доводила его до запоя? Не раз и не два приезжавшие из Сокола ребята с унынием сообщали: «Швецов снова пьет...» Пытались его и лечить от алкоголизма, порой казалось, что и успешно, но проходило время, и он снова «срывался».

Лишь в 1993 году усилиями областной писательской организации удалось издать новую книжку Саши – «Золотое крыльцо». Эту книжку автор подарил мне 1 октября 1993 года с трогательной надписью: «Василию Дмитриевичу Елесину с любовью и всегдашней благодарностью за все. «Вот скажешь лишь только «Василий Елесин» – и как опохнет тебя светом и лесом! Так пусть же хоть эхом его бубенцов вам тоже ответило б имя Швецов».

В книгу «Золотое крыльцо» вошли лучшие стихи поэта, написанные в трудные годы социального перелома. Усиливалась тоска, все чаще просвечивают сквозь изумительные по силе строчки душевная боль и надрыв.

Опять невесело живется –  
С предощущением беды,  
Хотя хватает мне и солнца,  
И недостаточно воды.  
Друзей, казалось бы, немало...  
Но сколько зим уже и лет  
Чего-то в жизни не хватало,  
Чего-то в ней однако нет.  
И я завидую природе –  
Реке и лесу, пенью птиц.  
Хоть и ее частица, вроде, –  
Из «анти», видимо, частиц.

Все чаще в эти годы Швецов уходил в историю России, написал стихотворения «Княгиня Евдокия», «Предтеча», поэмы «Новгородцы» и «Мам пу».

Поэма «Мам пу» (ель, материнское дерево) стала отголоском серьезного увлечения Александра историей коми народа, его языком, фактами из жизни и деятельности создателя письменности коми народа Стефана Пермского. Видимо, и сам поэт серьезно изучал коми язык, не случайно он перевел на русский большую книгу поэта из Коми Александра Некрасова «Кисть рябины в моей строке». Александр Романов писал в предисловии к этой книжке:

«Меня радует, что молодой русский поэт Александр Швецов по-братски заинтересовался работой коми поэта Александра Некрасова и жарко взялся за переводы его стихов... Труд предстоял нелегкий: чтобы переводимые стихи звучали чисто, засветились тепло на русском языке, необходима не только талантливость, но и соприкасаемость души переводчика с душой иноязычного поэта. На этот раз именно так и случилось».

Русская история не оставляла в покое Александра Швецова всю жизнь. Если бы он не стал поэтом, то, возможно, стал бы известным ученым-историком. Ведь чуть ли не половина его творческого наследия посвящена русской старине. Не случайно и то, что он в соавторстве с В. С. Маркеловым и Г. А. Черепенниковой создал книгу «У истоков русской тайнописи», в которой попытался открыть имя автора «Слова о полку Игореве», тайну, над которой уже несколько веков бьются видные ученые.

Последней книжкой Швецова стал маленький буклетик, изданный «Рекламной библиотекой поэзии» в Москве в 1994 году под названием «Ворожба». Пророчески звучит в ней стихотворение «Русь моя – извечная кручина», где сказано:

Мне бы жизнь свою дожить достойно –  
Не продаться бы и не сробеть.  
И Москвой своей первопрестольной  
По-сыновьи мучиться и впредь.

Болью за народ пропитано и другое стихотворение – «Круговорот»:

Россия, Русь... Голодная страна.  
А из вина не вырастишь зерна...  
Все реже в рейс уходят самолеты,  
Все реже в рейс уходят поезда.  
И зарастает в поле борозда –  
Без нашей с вами ласки и заботы.

Александр Сергеевич Швецов погиб 7 октября 1999 года. Оставшись на ночь в пустой квартире знакомых, он почему-то решил спуститься с третьего этажа по веревке – видимо, знакомые, уходя, закрыли входную дверь. Вербка оборвалась. Говорят, что прохожие увидели его еще живым, предложили вызвать «скорую», но он отказался. Утром его нашли мертвым на том же самом месте... Незадолго до смерти Саша писал: «Теперь иду туда, где и земля, и небо сливаются в одну спокойную черту...». И ушел...

Перебираю немногочисленные сборнички Александра. На каж-

дом дарственная надпись: теплая, дружеская. На каждой, кроме посмертной, под названием «Холмы». Она издана усилиями Вологодской писательской организации, но рукопись ее еще при жизни подготовил Швецов. «Холмы» примечательны тем, что почти каждое стихотворение сборника кому-нибудь посвящено: друзьям или просто хорошим знакомым. Там посвящения поэту Николаю Старшинову и художнику Михаилу Брагину, поэту Юрию Ледневу и журналисту Александру Сушинову, Сергею Чухину и Василию Оботурову... Одно из стихотворений («Закроешься в комнате – отдых!») посвящено и автору этих строк.

Готовя свою последнюю книгу, которую ему уже не суждено было увидеть. Саша как бы попрощался с друзьями, со всем дорогим ему миром.

Он мог бы совершить еще многое, «большое», если бы судьба чуть ласковее обходилась с ним. А теперь остается лишь надеяться, что не зарастет читательская тропа к золотому крыльцу его поэзии.







## *Каемка времени*

---

# Николай ДРУЖИНИНСКИЙ

Невысокий крепкий парень с задумчивыми глазами. Моряк. Журналист. Юрист. Но прежде всего – поэт. Поэт удивительно музыкальный и большой доброты человек – таким остался в кладовой моего сердца Коля Дружининский.

Он родился в грязовецкой деревне Неклюдово в 1948 году и пришел в литературу в годы ее наивысшего подъема на Вологодчине – в конце семидесятых годов прошлого века. Сначала были публикации в газетах, журналах, альманахах. Лишь в 1980 году вышли тоненькие сборники его стихов «Вокзальные березы» в издательстве «Молодая гвардия» и «Пастушьи напевки» – в Архангельске.

Стихотворный сборник «Каемка времени» – наиболее полное собрание его стихотворений – появился лишь в 1989 году. Была еще и четвертая книжка, название которой до меня не дошло, но сам Николай Васильевич писал об этом в сборнике «Сполохи», где опубликовал повесть «Шабашники». Предваряла повесть маленькая авторская вводка, в которой Дружининский писал:

«Мне иногда говорят, что я больше поэт, чем прозаик. Свидетельство тому, видимо, вышедшие четыре сборника стихов (в Москве и Архангельске). И мое равнодушие к народной музыке: с детства играю на гармошке и баяне. И, наконец, известные песни на мои слова: «Слушай, теща!», «Кто-то вспомнит потом» (музыка А. Пахмутовой), «Это только дождь» (музыка Г. Заволокина). Все это, конечно, так... Но – странное дело! – начинал-то я писать не стихи, а маленькие рассказы для детей, которые храню как свои первые трогательные украшения».

И, тем не менее, он вошел в литературу как поэт, причем поэт, как говорится, «от Бога». Стихи его берут за душу и долго не отпускают. Почти все они удивительно мелодичны:

Над застывшим болотом в ту осеннюю пору  
Все кричал одичало белогрудый кулик...  
Умерла моя милая бабушка скоро.  
Не успела последний доткать половинок.

Или вот это:

Белым-бело от берез.  
Синим-синие от осин.

Прозрачный озерный плес  
Да тихая неба синь...  
Искрила в ночи звезда,  
Сгорала в ночи звезда,  
И кажется мне – всегда! –  
Была на Руси беда...

Просто странно, что известные композиторы мучаются в поисках текстов для своих песен и не замечают поэзию Дружининского, все стихи которого – песни...

Иногда мы виделись с Николаем в Вологодской писательской организации, куда он нередко забегал, то приезжая из Грязовца, то уже после переезда в Вологду. В старинном и родном его Грязовце я бывал много раз, заходил и в редакцию, где в то время работал Николай. В 1986 году мы приехали туда вместе с поэтом Борисом Чулковым и после нескольких выступлений перед читателями, организованных местным отделом культуры, Николай пригласил нас к себе на квартиру. Немного выпили, поговорили, а потом Николай взял в руки баян, и полились щемящие звуки вальса «На сопках Манчжурии». Играл он поразительно чисто и проникновенно, и я внезапно понял, откуда берется напевность его стихов – он был необычайно музыкально одаренным человеком, с непогрешимо тонким слухом.

Однажды Николай отдал в писательскую организацию большой сборник прозы под названием «Чтоб целый мир согреть» (очерки и рассказы). Мне поручили написать рецензию на эту рукопись. Вот что я писал тогда:

«Дружининский-поэт, безусловно, сказался и в новой своей работе: его этюды, рассказы, очерки читаются легко, написаны непринужденно, в них чувствуется свой стиль, часто окрашенный особой ритмической музыкальностью. Хорош, как правило, и язык: поэт просто не может не владеть добротным русским языком...».

В рецензии я высоко оценил рассказы Дружининского «Жалость», «Корьевщики», «Испытать самому», но в то же время отметил композиционную рыхлость рукописи, предложил убрать некоторые зарисовки и этюды. В целом одобрительно отозвался и о повести «Шабашники», в 1992 году она была опубликована в альманахе «Сполохи», о котором я уже упоминал.

В начале девяностых, в пору развала и разрухи, я работал заведующим отделом публицистики «Красного Севера». Вскоре помощник мой, Вениамин Меркурьев, ушел на пенсию, и я предложил редактору взять в отдел Николая Дружининского. Его в редакции уже хорошо знали: свои стихи он стал публиковать в «Красном Севере» с середины 70-х годов, да и стаж газетной работы в «районке» сыграл свою роль. Так мы стали работать вместе.

Жалею теперь, что в свое время не откладывал и не хранил «Литературные страницы», которые регулярно готовили мы с Николаем. Помню, что в страницах этих было немало стихов и самого Дружининского, во всяком случае врезались в память отрывки из его поэмы о художнике Верещагине, о его странствиях по Востоку. Воспетая им в стихах восточная танцовщица, кажется, до сих пор стоит перед моими глазами. Кстати, поэма эта, по-моему, до сих пор полностью нигде не опубликована, а жаль. Хорошая, чистая вещь.

Черновую газетную работу Николай недолюбивал. Помню, как редактор предложил нашему отделу взять на себя освещение военной тематики, в частности, побольше писать о жизни и деятельности кипеловских летчиков, которые обслуживали дальнюю морскую авиацию и базировались неподалеку от Кипелова, в поселке Федотово. Военные в начале девяностых годов тоже жили не сладко: финансирование урезали, керосину для полетов не хватало, квалификация пилотов терялась. Несколько раз я предлагал Николаю: «Махни в Кипелово! Познакомишься с летчиками, может, даже полетаешь с ними, они ведь до Африки и Кубы добираются! И напишешь о своих впечатлениях!» Николай неохотно отвечал: «Да... Неплохо бы...», но обратиться к летчикам так и не пожелал.

В выходные Коля уезжал на дачу, которая была у него где-то на юге Грязовецкого района, на реке Обноре. Частенько звал и меня: «Поедем, порыбачим!» Мне тоже хотелось съездить туда, да вот не собрался... Зато Николай подробно рассказывал, как ловил там хариусов, а у меня, что называется, «слюнки текли».

Река Обнора навеяла Дружининскому и такие строки:

Путь не долгий – и не скорый,  
По теченью плыть.  
Плыть лесной рекой Обнорой,  
С земляками быть.  
Свежий воздух, воздух волглый,  
Молодой!  
Кострома – она за Волгой,  
Да за Вологдой.

Однажды он притащил в редакционный кабинет гирию-двухпудовку.  
-Зачем она тебе? – удивился я.

-Ну как же! Иной раз и потренируемся, подкачаем мускулы!

Однако за гирию он брался редко, а когда ушел из редакции, так и оставил ее в кабинете, где она пролежала еще несколько лет.

Смерть Николая Дружининского поразила всех, кто его знал. Ему бы еще жить да жить, ведь и всего-то «стукнуло» поэту сорок пять лет. Умер он в страшном девяносто третьем году, когда ломалось и рушилось огромное государство, когда прибирались к жадным рукам немислимые богатства России. Может быть, и эти события безжалостно ударили по впечатлительному и ранимому сердцу поэта.

Не знаю, найдется ли бескорыстный любитель поэзии, который соберет воедино довольно большое творческое наследие Николая Дружининского, рассыпанное по страницам газет и журналов, альманахов и сборников. А как бы хотелось, чтобы в полную силу высветилась каемка его времени, его недолгой, но светлой жизни...





## *Гонимый ветром и судьбою...*

---

Сергей  
ЧУХИН

Осенью «юбилейного» 1967 года в редакции вашкинской районной газеты «Волна» раздался звонок из Вологды. Звонили ребята из «Вологодского комсомольца»:

– Вася, тебе люди в редакцию не нужны? У нас тут молодой поэт Сережа Чухин ищет работу, а в Вологде ничего подыскать не можем.

– Сильно пьет? – спросил я. – А то ведь и Григорьева вы мне посоветовали взять.

– Что ты! Ему и всего-то двадцать с хвостиком, а уже два года учится в Литературном институте. Теперь вот на заочное отделение перешел, нужна работа...

– Ладно, пусть приезжает.

Восторга предложение у меня не вызвало. Во-первых, это был, что называется, «кот в мешке»: я не читал его стихов, не видывал и его самого. Да и настораживал печальный опыт с Сашей Григорьевым, которого тоже порекомендовали ребята из молодежной газеты. За работу он взялся ретиво, но вскоре запил так, что пришлось уйти даже с частной квартиры. Ночевал он в редакции, вернее сказать, бражничал ночами, а днем отсыпался на редакционном диване. Долго так продолжаться, естественно, не могло, пришлось его рассчитать.

Вопреки ожиданиям Сережа сразу понравился всем в редакции – совсем еще «зеленый», но внимательный к людям, отзывчивый и на чужую радость, и на человеческую боль, невысокий, улыбчивый, в очках, он быстро вписался в наш небольшой и тоже «зеленый» коллектив. Достаточно сказать, что я был в нем самым старшим, а мне стукнуло лишь тридцать лет. Может быть, оттого в стенах редакции постоянно звучали шутки, смех. Все были легки на ногу, пешком забирались в самые дальние углы района. Сергей стал вести местные радиопередачи.

С квартирами было трудно, первое время Чухин жил, можно сказать, на редакционном диване, пока не нашлась комнатка в частном доме. Но и эти неудобства переносились без особых волнений. Сережа, казалось, просто излучал из себя жизнерадостность и веселье. Но это только казалось. Уже тогда он серьезно задумывался о жизни, о себе, о стране, о порядках, царивших в ней. В этом меня еще раз убедило найденное недавно стихотворение Чухина, отпечатанное на редакционном бланке «Волны» и подписанное к печати ответственным секретарем Виктором Фофановым – значит, оно было написано не позднее 1967 года:

От пересудов и простуды  
 Сбегая в тихие дома,  
 Среди покоя и посуды  
 Совсем легко сойти с ума.  
 Снега ли улицу затопят,  
 Пройдет ли сонный листопад,  
 В домах все так же печи топят  
 И на погоду не глядят.  
 Не по-хорошему оседлы,  
 Неразговорчивы подряд,  
 К соседям не пойдут соседи,  
 Своих ворот не отворят.  
 Не проскрипят дверные петли,  
 Лицо в окне не промелькнет.  
 Однообразны даже сплетни  
 И одинаков анекдот.  
 И утопая среди грязи,  
 Дома уходят внутрь земли.  
 По подоконники увязли –  
 Скорей бы с крышами ушли!

Впрочем, стихотворение это не характерно для Сергея Чухина, оно, скорее, дань мимолетному мрачному настроению. Чаще он был шутлив, над его экспромтами и остротами, всегда точными и неожиданными, смеялись до упаду. Один из таких экспромтов я помню до сих пор:

Отчего так в редакции весело:  
 И поет, и ликует народ?  
 Разогнулась спина у Елесина –  
 Подписал он второй разворот.

Да и мы не оставались в долгу. Помню, как я сказал по поводу одной из его радиопередач:

За окном подошли мухи,  
 Кверху лапками одна...  
 Из нее Сережа Чухин  
 Бодро делает слона.

Однажды он пришел на районную партийную конференцию, чтобы сделать материал для передачи по радио. Кто-то из особо «бдительных» доложил представителю обкома партии, что Чухин – беспартийный. Представитель сделал мне строгое внушение и распорядился:

– Запись прекратить, корреспондента удалить из зала!

Пытаясь как-то смягчить это хамство, я начал издалека, но Сергей все понял в ту же минуту:

– А и ладно, Вася! Баба с возу – кобыле легче!

И с явной радостью начал сворачивать шнур магнитофона. К партии Сергей всю жизнь относился отчужденно, даже боязливо. Однажды на собрании Вологодской писательской организации, когда были обсуждены уже все вопросы, кто-то предложил заодно провести и закрытое

партийное собрание. Беспартийные собрались и ушли, остался только Чухин. Он был слегка «под мухой» и, видимо, не понял, что от него требовалось. Василий Оботуров, бывший в то время ответственным секретарем писательской организации, грубовато пошутил:

– Уходи, Сережа, а то в партию примем!

Чухин так быстро схватился за шапку, что это вызвало взрыв смеха.

Вологодские писатели часто приезжали в Липин Бор. Той зимой, например, приехал к нам на несколько дней Николай Рубцов. Узнав, что Чухин временно живет в редакции, он тоже не стал устраиваться в гостиницу, а остался с ним. Вечер мы провели вместе, но потом я ушел, а они проговорили всю ночь. Вот как вспоминал об этом визите Рубцова сам Чухин:

«С помощью редактора газеты В. Д. Елесина, давно знакомого с Рубцовым, удалось устроить Николая Михайловича в гостиницу. Ночевал он там только первую ночь – холодно, да и шумно, а на следующую пришлось приставить к дивану редакционные стулья. Вечерами в редакции В. Елесин и секретарь В. Фофанов подолгу задерживались, подписывая номер в печать. Подкидывали в печь поленья, играли в шахматы. Игроком Рубцов был серьезным, но азартным в проигрыше и выигрыше.

В Липин Бор Николай Михайлович привез рукопись будущей книги «Душа хранит». Когда подготовка ее была закончена и рукопись перепечатана, Рубцов стал собираться в Вологду. Мы проводили его на аэродром...» («Воспоминания о Рубцове», Архангельск, 1983 г.).

Результатом этой поездки Рубцова стало и его стихотворение «Сосен шум».

Многие из нас в те годы пробовали заниматься литературой. Помню, как в течение двух вечеров Сергей терпеливо слушал мою первую повесть, как и сам много раз читал только что родившиеся стихи. Кстати, уже по прошествии многих лет, когда мы оба работали в Вологде, он нередко заходил в редакцию «Красного Севера», поднимался ко мне и предлагал послушать новое. Рукописи двух таких стихотворений до сих пор хранятся у меня. Вот одно из них:

Такое дождливое лето,  
Какого не помнят давно,  
Ни солнышком не обогрето,  
Ни ягодой не красно.  
Одно остается – работа,  
Всегда остается одно.  
Забудешься – и неохота  
Глядеть понапрасну в окно.  
С вестями не ждешь почтальона.  
Какой по дождю почтальон!  
И песня дождя монотонна,  
Наводит нам дрему и сон.  
Притихли деревня и поле,  
Мир холоден, черен и гол.  
Какой-нибудь пьяница, что ли,  
Под окнами с песней прошел!  
И странное чувство такое

Преследует душу, как бред:  
Среди тишины и покоя  
Как раз вот покоя и нет.

Приезжал в те годы в Липин Бор и Виктор Коротаяев: вместе с ним и Сергеем мы долго сидели у меня на квартире и, наконец, узнали о причине его неожиданного приезда: оказывается, в Липином Бору жила его невеста, и дело уже вплотную подходило к свадьбе.

Потом мы с Чухиным чуть ли не одновременно уехали на учебу в Москву – он на дневное отделение Литературного института, а я – в двухгодичную высшую партийную школу. Но и в Москве виделись довольно часто: то Сергей приезжал ко мне в общежитие, то я к нему.

– А вон там у нас русалки живут! – озадачил он меня однажды, показывая на внушительный дом напротив общежития Литинститута.

– Как это?

– Там студентки ВГИКа живут. Любимое у них развлечение по утру голышом на балконы выходить. Вот мы их русалками и зовем.

Потом, когда мы оба стали жить в Вологде, встречи были довольно частыми, хотя по большей части случайными: то писательское собрание, то литературный вечер, то совместная поездка на теплоходе. У Сергея начали выходить книжки, правда, довольно редко и небольшими тиражами. Третью свою книжку «Дым разлуки» он подарил мне с надписью: «Дорогому Василию Елесину, давнему другу и милому товарищу по работе, твой С. Чухин. 12.6.75 г.».

В августе 1976 года состоялась писательская поездка на теплоходе по рубцовским местам. Сплавливались мы вниз по Сухоне на теплоходе «Буревестник». На борту были Василий Белов, Ольга Фокина, Виктор Коротаяев, в то время он был ответственным секретарем Вологодской писательской организации, а также Глеб Горбовский, Евгений Евтушенко, Валентин Устинов, Сергей Чухин и многие другие. Мы с Чухиным и Сергеем Багровым поместились в каком-то закутке на нижней палубе. Сергей был весел, балагурил, шутил, охотно выступал на вечерах в Шуйском, в Николе, в Тотье. После одного из вечеров я подошел к Владимиру Громову, который исполнял песни на стихи Рубцова, и сказал ему, что редко чье пение производило на меня такое впечатление, разве что шалыпинское.

– Ну, Вася, и комплименты у тебя! – расхохотался стоявший рядом Чухин. – Прямо изо всего лесу!

В конце 1979 года у Сергея вышла книжечка «Осенний перелет», на которой поэт оставил мне такой автограф:

«Милому Васе, и еще раз, милому Васе – сердечно. Твой С. Чухин. 22.I.80 г.».

А со следующим сборником его стихов, изданным Северо-Западным книжным издательством в 1982 году, вышла комичная история. Я увидел сборник в темно-коричневой твердой обложке в книжном магазине и тут же купил его. Вернувшись в редакцию, развернул – и... Каково же было мое удивление, когда увидел, что под обложкой, на которой серебряной вязью по черному было написано: «Сергей Чухин», на титульном листе стояло: «Юрий Леднев. Яблоко мира».

Напутала типография: обложки у того и у другого автора были одинаковые, только имена на них разные. Вот и вклеили в чухинскую

обложку книжку Леднева. Решив подшутить над Сережей, я спустился с пятого этажа на третий, где был «Вологодский комсомолец», – там работал Чухин.

– Вот, Сережа, автограф хочу получить.

– Это мы сейчас! – он взял ручку и открыл обложку, собираясь писать.

– Да ты полистай сначала книжку-то!

– А чего? Гм... Леднев. Стихи и поэмы. Ну, Юра, неплохо устроился!

Несмотря на трудную в материальном отношении жизнь, на ограниченность семей, Сергей не любил связывать себя постоянной работой. Его стихия, его работа и страсть была одна – поэзия. Но иногда обстоятельства оказывались сильнее: литературных заработков явно не хватало, и он то ненадолго устраивался в газету литконсультантом, то вдруг ушел рабочим на подшипниковый завод.

Но год от года креп его голос в поэзии, приходилось уже слышать и читать мнения авторитетных критиков, что из молодых поэтов «выбиться» из-под влияния Рубцова смог только Сергей Чухин. Его многочисленные книги и при жизни поэта не залеживались на полках, а ныне вообще стали библиографической редкостью.

Умер Сергей неожиданно и трагично. У нас с ним совпадали дни рождения, оба родились 12 октября, и обычно в этот день мы поздравляли друг друга. Так было и в 1985 году. Сергей позвонил мне, поздравил. А через несколько дней, как сказали, уехал в командировку. Позднее выяснилось, что командировка и в самом деле была ему выписана, даже жена думала, что он в отъезде, забеспокоилась, когда уже пошла вторая неделя его отсутствия. Услышав по местному радио, что в морге лежит неопознанное тело, пошла туда и, к ужасу своему, убедилась, что в морге лежит Сергей...

Оказалось, что вечером 16 октября, когда Сергей направлялся домой из редакции, при переходе улицы Ленинградской его сбила машина. Как это ни странно, при нем не оказалось абсолютно никаких документов, отчего и был он зарегистрирован в морге как «неизвестный». Таких, неопознанных, хоронят через две недели за казенный счет. Табличка «Здесь похоронен неизвестный» была уже заготовлена и для Чухина. Не опознай его накануне похорон жена, так и остался бы он «пропавшим без вести».

К великому сожалению, за двадцатый век многократно подтвердилось слова Некрасова: «Русский гений издавна венчает тех, которые мало живут». Вот и на Вологодчине совсем молодым погиб Ганин, в тридцать пять лет убили Рубцова, в сорок лет – Чухина. Конечно, след в поэзии они оставили блистательный и яркий, но сколько горечи приносит мысль, что лишились мы непревзойденных шедевров из-за ранних трагических смертей самых одаренных сынов земли нашей...







## Тропы поэта

---

### Николай РУБЦОВ

Перечитываю – в который раз! – тонкие рубцовские сборники, и снова тисковая боль пронизывает сердце: до чего же он был одинок! Тоска заброшенности, бесприютности, неприкаянности бьется в строфах стихов спутанной птицей. Пытается спрятаться за усмешкой, за иронией, да где там! Слишком велика она, неохватна, только и утишается перед покоем да величавостью русских раздолий, деревенской глуши...

Вспоминаю его самого: невысокого, сухощавого, лысоватого, то молчаливого, с налитыми угрюмостью глазами, то ироничного, с характерным рубцовским прищуром карих глаз, то – редко! – веселого, смеющегося от души, безоглядно.

Однажды довелось услышать, что русский поэт, как правило, «выкладывается» к тридцати-тридцати пяти годам, а дальше, мол, остается в нем только горечь, как уксус от перебродившего вина. И примеры приводили, нимало не задумываясь, что тут-то, на рубеже нового, зрелого взлета, их и убивали...

Рубцов, как и многие люди послевоенного поколения, к тридцати годам только-только огляделся в искусстве, только-только почувствовал уверенность в своих силах. Сколько же досталось-то ему при его скитальческой жизни для полноценного творчества? Пять лет всего-навсего! Но и за эти годы сделал он столько, что хватило бы иному на целую жизнь! Ведь он за четыре-пять лет, с середины до конца шестидесятых годов, создал целое направление в русской поэзии.

Есть в стихотворении Николая Рубцова «Осенние этюды» прекрасный образ. Строки эти я ни разу не мог читать без волнения, настолько рельефно рисуют они щедрую душу самого поэта:

А возле ветхой сказочной часовни  
Стоит береза, старая, как Русь, –  
И вся она, как огненная буря,  
Когда по ветру вытянутся ветки  
И зашумят, охваченные дрожью,  
И листья долго валяются с ветвей,  
Вокруг ствола лужайку устилая...

Да и сам поэт был подобен стоящей на юру одинокой березе, которая вся напряглась в потоке сильного ветра, имя же ему – поэзия.

Настолько велика была поэтическая сила, заключенная в таланте Рубцова, что даже в молодости поигрывал он ею, словно былинный богатырь многопудовой палицей. Возьмем хотя бы вот то раннее, шуточное:

Скалы встали  
Перпендикулярно  
К плоскости залива.  
Круг луны.  
Стороны зари равны попарно,  
Волны меж собою  
Не равны!  
Вдоль залива,  
Словно знак вопроса,  
Дергаясь спиной  
И головой,  
Пьяное подобие  
Матроса  
Двигалось  
По ломаной кривой.

Молодой поэт как бы любитесь легкостью, с которой выплескиваются из него эти забавные строчки, небрежно играет рифмами, балуется, как ребенок, своей поэтической силой: девать ее некуда, переполняет она, а применения настоящего ей пока нет. Но уже рядом настоящее, уже стремительно идет Рубцов к середине шестидесятых годов двадцатого века, когда сила его поэтического гения развернется во всей своей мощи и красоте.

Отделенное теперь десятилетиями начало шестидесятых годов не назовешь временем простым, было оно достаточно противоречивым и сложным. С одной стороны – это годы Гагарина, с другой – кубинского ракетного кризиса. Время развенчания культа личности, время смужания литературы, эпоха экономических экспериментов, бурных перестроек, организационной свистопляски.

В перестроечном вихре шестидесятых родились, правда, ненадолго, странные по своей сути межрайонные газеты. Призванные обслуживать районную публику, они первое время числились органами обкома партии и как бы стояли над сельскими и промышленными райкомами, а оттого пользовались несколько большей самостоятельностью, чем прежние «районки».

Волею судьбы я стал ответственным секретарем такой вот межрайонной газеты в Тотьме с первых дней ее основания, то есть с мая 1962 года. Выходила газета «Ленинское знамя» на два бывших (вскоре восстановленных) района – Тотемский и Бабушкинский. Газета, повторяю, районным властям не подчинялась, по крайней мере, формально, что позволяло в какой-то мере расширить ее проблематику. Получила некоторый доступ на ее страницы и литература, естественно, те произведения, которые так или иначе связаны были с местным краем: либо автор с именем – земляк, либо стихи, рассказы построены на местном материале.

Если перелистать сейчас страницы «Ленинского знамени» за

1962 – 1966 годы, можно увидеть там стихи А. Яшина, С. Викулова, Н. Рубцова, А. Романова, рассказы К. Коничева, В. Белова, С. Багрова, многих других известных ныне литераторов. Николай Рубцов писал для газеты не только стихи, но и корреспонденции, а однажды даже написал стихи к празднику по специальному заказу редакции.

Летом 1962 года на работу в редакцию пришел будущий известный писатель Сергей Багров. Двадцатилетний крепкий парень с густыми бровями и внимательным цепким взглядом был симпатичен и надежен. Нас сблизила и одинаковость возраста, и то, что оба пробовали свои силы в стихах и прозе. Вместе с Багровым создали мы при газете литобъединение, которое просуществовало четыре года. Далеко не сразу я узнал, что Сергей учился вместе с Николаем Рубцовым в Тотемском лесотехническом техникуме. Впрочем, тогда, в 1962 – 1963 годах, ни я, ни Багров еще не читали стихов Рубцова. Так и случилось, что познакомился я сначала с автором, а потом уже с его произведениями.

Знакомство состоялось при весьма обыденных для газетчика обстоятельствах. В декабре 1963 года редактор «Ленинского знамени» Л. А. Каленистов позвонил мне из своего кабинета:

– Зайди на минутку.

Захожу. На одном из стульев, расставленных вдоль стены, сидел посетитель, одетый явно не по сезону: в осеннем длинном пальто, местами вытертом, шея обмотана шарфом. Темные, настороженные и в то же время оценивающие глаза. Глубокие, несмотря на молодость, залысины у краев лба.

– Познакомьтесь, – сказал редактор. – Товарищ Рубцов, поэт. Живет он в колхозе «Никольский», хочет с нами сотрудничать. Посмотрите стихи, которые он привез, может, что-то подойдет для газеты.

Ушли в нашу секретарскую комнату, разговорились. С Багровым они встретились как старые друзья, и Николай охотно рассказал о себе. Оказалось, что учится он в Литературном институте в Москве, в Никольске, или в Николе, как он предпочитал называть место своего детдомовского детства, бывает наездами, поскольку родных там у него нет, только знакомые. Позднее, когда я узнал Рубцова ближе, подружился с ним, я понял, как страстно хотелось ему иметь родной уголок в мире, иметь свою маленькую родину, куда можно приезжать и в пору творческой силы, и в дни тревоги, уныния, тоски.

Никола не была его формальной родиной, но здесь он впервые осознал себя как человек, здесь еще стояли стены родного детдома, преподавали старые учителя. Куда же и ехать еще, не в архангельский же Емецк, откуда он был увезен младенцем. К тому же и любимая женщина здесь жила, мать его единственной дочери. И официально, и душой считал он Николу своей настоящей родиной, потому и тянула она к себе неудержимо.

Именно Николе, светлomu для глаза, просторному для сердца месту на Северо-Западе России, обязаны мы почти половиной творческого наследия Николая Рубцова. По правде сказать, немного найдется мест в России, воспетых столь многократно и с такой поэтической силой.

Перечислю лишь некоторые стихотворения, посвященные Рубцовым тотемско-никольским краям: «На реке Сухоне», «Родная

деревня», «Я буду скакать...», «Я уеду из этой деревни», «Ночь на перевозе», «Русский огонек», «Я вырос в хорошей деревне», «Жар-птица», «Осенние этюды» и многие, многие другие. Лишь о Николе, как бы отождествляя ее с большой своей родиной, Россией, поэт мог сказать:

И опять родимую деревню  
Вижу я: избушки и деревья,  
Словно в омут, канувшие в ночь.  
За старинный плеск ее паромный,  
За ее пустынные стога  
Я готов безропотно и скромно  
Умереть от выстрела врага.

Мне довелось несколько раз побывать в Николе. Командировка газеты приводила на тотемскую пристань, от которой неторопливый двухпалубный пароход с плицами увозил вверх по Сухоне до пристани Толшма. Там, на левом берегу, терпеливо ждали парома, переезжали на правый берег Сухоны и там ловили попутную машину. По разъезженным, расхлябанным колеям, мимо болота, «на сотни верст усеянного клюквой», мимо нарядных деревень колхоза «Сигнал», трудолюбиво урча, пробивалась машина к колхозу «Никольский». Обширное это хозяйство раскинулось в живописных местах: далеко видно и слышно кругом! Небольшая светлая речушка Толшма неспешно бежит в озелененные таежные дали через поля, луга, перелески, через тропы, по которым ходил Рубцов. Вода в небольших омутах Толшмы

... недвижимее стекла,  
И в глубине ее светло,  
И только щука, как стрела,  
Пронзает водное стекло.

Несколько раз приходилось бывать на тихих берегах Толшмы и после смерти поэта, во время поездок, организованных Вологодской писательской организацией. Странно было осознавать, что тот, кто больше всего любил задумчивые эти берега, уже никогда больше не пройдет по ним своей легкой упругой походкой.

Но вернемся к шестидесятым. Подборка стихов Николая Рубцова, которую он оставил в редакции после первой нашей встречи, появилась в «Ленинском знамени» 14 января 1964 года с предисловием Сергея Багрова. В предисловии говорилось:

«Дерзким спорщиком и отчаянным парнем с горящими глазами на смуглом лице – таким запомнился Николай Рубцов у себя на родине, в утонувшем среди черемух и берез селе Николе. Нелегким путем шагал он к своим творческим удачам. Неоконченный техникум в Тотьме, студеные штормы Ледовитого океана, бегущие к горизонтам железные дороги, гигантские слаломы в Хибинских горах, горячие вахты у доменных печей и, наконец, Москва, Литературный институт имени Горького. Сейчас Николай учится на втором курсе. Стихи его печатаются в центральных газетах и журналах. Поэт уверенно дер-

жит путь в большую поэзию. На днях Николаю Рубцову исполнилось двадцать восемь лет. Публикуемые здесь его стихотворения были напечатаны в газете «Комсомольская правда» и еженедельнике «Литературная Россия».

Небольшая эта подборка состояла всего из двух стихотворений: «Я весь в мазуте» и «В океане».

Так и началось сотрудничество Рубцова в «Ленинском знамени», которое продолжалось два с лишним года, правда, с перерывами. На летние каникулы Николай Михайлович приехал в июле, а 15 августа в газете печатается страница «У нас в гостях поэт Николай Рубцов». Здесь были помещены стихи «Родная деревня», «Всезнающей вещи старухе», «Сапоги мои скрип да скрип» (оно было посвящено Сергею Багрову) и другие. 29 августа опубликованы еще два стихотворения: «Звенит, смеется, как младенец» и «По утрам, умываясь росой», 31 октября – «В горнице», «Прощальный костер», «На реке», «Гроза», «Рассказ о коммунисте». В праздничном номере за седьмое ноября напечатано стихотворение Рубцова «Октябрьские ветры». Кстати сказать, стихи «Рассказ о коммунисте» и «Октябрьские ветры» почти не встречаются ни в прижизненных, ни в посмертных сборниках. Думаю, что стоит привести их здесь в той редакции, в какой они были предложены автором «Ленинскому знамени».

## РАССКАЗ О КОММУНИСТЕ

Он поднял флаг  
 Над сельсоветом,  
 Над тихой родиной своей,  
 Над всем старинным белым светом  
 Он поднял флаг!  
 В краю полей  
 Он дорожил большим доверьем  
 И даже,  
 Брошенный женой,  
 Не изменил  
 Родной деревне,  
 Когда ей было тяжело.  
 Он не стремился к личной славе,  
 Не верил скучным голосам.  
 Он знал: кто едет,  
 Тот и правит!  
 И в трудном деле  
 Правил сам!  
 За изобилье  
 В каждом доме,  
 За добрый говор –  
 Напрямик!  
 Он твердо шел,  
 Собою скромн  
 И одновременно велик...

И другое стихотворение:

## ОКТАБРЬСКИЕ ВЕТРЫ

О ветры, октябрьские ветры!  
Не зря вы тревожно свистели!  
Вы праздник наш, гордый и светлый,  
В своей сберегли колыбели.  
Вы мчались от края до края –  
И день разгорался цветущий!  
Но прожитый день прославляя,  
Мы смотрим, волнуясь, в грядущий!  
Мы смотрим вперед, как матросы  
Сквозь бури идущего флота:  
Еще ожидают нас грозы,  
Работа, работа, работа!  
Еще беспокойны и долги  
Дороги под флагом бессмертным,  
Еще на земле не умолкли  
Октябрьские сильные ветры!

Конечно, ко всяким стихам, написанным по заказу, Рубцов относился не как к «настоящим», выстраданным душой. Этим, видимо, и объясняется, что два вышеприведенных стихотворения не включались им в прижизненные поэтические сборники. Но ведь и здесь прорываются чисто рубцовские интонации: «Он знал: кто едет, тот и правит!». Не отсюда ли известное:

Я повода оставил,  
Гляжу другим вослед.  
Я ехал бы и правил,  
Да мне дороги нет...

В том же праздничном номере за седьмое ноября 1964 года напечатана и корреспонденция Николая Рубцова «Огонек в окне», в которой поэт в первый и, пожалуй, в последний раз публично касается своего военного, детдомовского детства. Цитирую:

«И предо мной мгновенно встали картины иного времени, когда Нина Ильинична была еще молодой учительницей, а мы, можно сказать, малышами. Это было тревожное время. По вечерам деревенские парни распевали под гармошку прощальные частушки:

Скоро, скоро мы уедем,  
И уедем далеко,  
Где советские снаряды  
Землю роют глубоко.

А мы по утрам, замерзая в своих плохоньких одеждах, пробирались сквозь мороз и сугробы к родной школе. Там встречала нас Нина Ильинична и заботилась о нас, как могла. Кому ноги укутает потеплее, кому пуговицу пришьет к пальтишку. Всяких забот хватало у нее: и больших, и малых.

Все мы тогда испытывали острый недостаток школьных принад-

лежностей. Даже чернил не было. Бумаги не было тоже. Нина Ильинична учила нас изготавливать чернила из сажи. А тетради для нас делала из своих книг. И мы с великим прилежанием выводили буквы по этим пожелтевшим страницам на уроках чистописания.

По вечерам зимой рано темнело, завывали в темноте сильные ветры. И Нина Ильинична часто провожала учеников из школы. Долго по вечерам горел в ее окне свет, горел озабоченно и трепетно, как сама ее гордая душа. И никто из нас знать не знал, что в жизни у нее случилось большое горе – погиб на фронте муж...».

Часто печатался Рубцов в тотемской газете и в 1965 году. В новогоднем номере помещено стихотворение «Мороз», 9 января – «Окошко, стол, половики...». Четвертого марта газета публикует его вторую корреспонденцию из села Никольское – о фельдшере В. А. Чудинове, 10 июля помещает подборку стихов для детей, в том числе «Медведь», «Коза», «Лесник». Кстати сказать, «Лесник» тоже не попал в рубцовские сборники. Вот это стихотворение:

### ЛЕСНИК

Стоит изба в лесу сто лет,  
Живет в избе столетний дед.  
Сто лет прошло, а смерти нет,  
как будто вечен этот дед,  
Как вечен лес, где столько лет  
Он все хранит от разных бед.

17 июля 1965 года в «Ленинском знамени» опубликовано стихотворение «Цветок и нива», 23 сентября – «Дмитрий Кедрин»...

Всего за два года, с 1964 по 1966, Николай Рубцов опубликовал в нашей «районке» больше 20 стихотворений. И многие из них впервые увидели свет именно здесь.

Всегда ли все было гладко с этими публикациями? К сожалению, не всегда. Надо оговориться, что отношение к стихам местных авторов в районных газетах во все времена было легким, а в межрайонных, куда поток самодеятельных, а то и откровенно графоманских стихов удвоился, значение им, прямо скажем, придавалось небольшое. Поэты «с именами» печатались редко, а «самодеятельные» авторы, в том числе и члены литобъединения при редакции, как правило, бывали довольны, если сотрудники, готовя их стихи к печати, доводили их, как говорится, «до кондиции».

Само собой, нам и в голову не приходило править Рубцова, ведь он учился в Литинституте. К тому же, пусть и не совсем отчетливо, мы все-таки чувствовали размах и силу его таланта. Но то «менторское», что вырабатывалось в нас во время возни с «самотеком», все же въедалось глубоко. Часто правил стихи и сам редактор газеты Каленистов, настолько часто, что однажды мы с Сергеем Багровым решили подшутить над ним: перепечатали два не очень известных стихотворения Блока и дали редактору на подпись. Конечно же, он тут же исправил несколько строчек. Лишь увидев стихи в книге Блока, которые мы тут же показали, смутился и пообещал больше в поэтические вещи не вмешиваться.

Ошибались и мы. Помню, какое неблагоприятное впечатление произвело на нас рубцовское стихотворение «Сенокос» («С утра носились, сенокосили...»). Зная сельский труд не понаслышке, зная, как «ухлестываются» мужики и бабы на сенокосе, мы не могли принять облегченности, присущей, как нам тогда казалось, этому стихотворению. И написали Рубцову совместное письмо, в котором попытались объяснить свою позицию. Николай Михайлович согласился с нами, более того, он не включил это стихотворение в два последующих своих сборника: «Звезда полей» и «Душа хранит».

Были ли мы правы? Легко сказать «нет» сейчас, но ведь тогда-то мы считали себя правыми безусловно, да и Рубцова, в общем-то, сумели убедить в своей правоте.

Второй случай, с публикацией рубцовского стихотворения «Окошко, стол, половики...», чуть ли не привел к серьезной размолвке. Во время верстки четвертой полосы, на которой стояло это стихотворение, верстальщики потеряли целое четверостишие – заключительную строфу. Вставлять его значило ломать всю полосу, а это – большая задержка. Посоветовавшись, решили оставить стихотворение урезанным, но извиниться перед автором за оплошность. Однако извинений Рубцов не принял, произошел довольно крупный разговор. «Ведь это же – сти-ихи!» – почти кричал он, особенно напирая на слово «стихи». В конце концов отношения восстановились, но «потерянного» четверостишия Рубцов не мог простить долго. Стихи были опубликованы девятого января, но лишь в конце февраля получили мы от него корреспонденцию о фельдшере Чудинове. В сопроводительном письме на мое имя говорилось:

«Посылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй и сокращай как хочешь (это не стихи), но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать.

Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!».

Чувствовал ли он уже тогда свое одиночество? Думаю, что чувствовал, и очень остро. Надо учесть, что деревня всегда настороженно и недоверчиво относится к «странным» людям, к чужакам, а именно таким и представлялся тогда в Николе Рубцов: живет с деревенской бабой не зарегистрированный, нигде не работает, что-то там пишет, выпивает, а деньги, да и то небольшие, получает от случая к случаю. Все это вызывало недоверие, отчужденность сельских обывателей.

Материальное положение его было отчаянное. Первая книжка стихов еще только готовилась в Северо-Западном книжном издательстве, подвергаясь нещадной вивисекции, публикации в журналах были редки, как дожди в засуху. Потому и брался он даже за газетные заметки, хотя гонорар в «районке» был, конечно, мизерный: на гонорар всем авторам номера выделялось лишь двадцать рублей. Попробуй-ка раздели эту «сумму» на тридцать человек!

В середине октября 1965 года я получил от Николая письмо. В конверт была вложена маленькая книжечка «Лирика» с надписью: «Другу Васе на добрую память. Н. Рубцов. 13 октября 1965 г.». В письме, сопровождавшем этот дорогой подарок, Николай писал:

«Дорогой Вася!

Я опять в Николе. На сей раз я командирован сюда на длительный срок Союзом писателей.



Возможно, что скоро уеду.

У меня вышла книжечка. Конечно, тут далеко не все, на что я способен. Ну пусть. Посылаю одну книжечку тебе. Найдешь нужным – отрецензируй, я не буду против.

А еще в десятом номере «Октября» вышла большая подборка моих стихов. Можешь посмотреть.

Вот вкратце такие мои дела.

Сейчас я возьмусь писать два очерка по заданию журнала «Сельская молодежь». Вполне возможно, что ничего не напишу.

Вася, милый, как ты там живешь в своей скучной, но хорошей Тотье? По-прежнему? Есть ли новости?

В Москве я побывал у Александра Яшина. Осталось очень хорошее, но печальное воспоминание: слишком уж часто он болеет.

Ну, жму руку. Напиши мне. Буду рад. С приветом Н. Рубцов».

Получив письмо, я сразу же прочел книжечку и немедленно ответил Рубцову. Считая себя обязанным честно высказать свои замечания, написал, что в некоторых стихах не мешало бы поубавить восклицательных знаков. Высказал мысль, что слово «трезвонь» в стихотворении «Старый конь» употреблено неудачно. Один колокольчик под дугой трезвонить не может, для трезвона нужно, как правило, три колокольчика, тогда и получится «три звона». Этим замечанием вызваны строки ответного письма Рубцова, которые и поныне могут ввести читателя в заблуждение. Николай Михайлович писал (письмо датировано 24 октября 1965 года):

«Я рад, что книжечка моя тебе в общем-то понравилась. С твоими дружескими (очень уж скромными) замечаниями я согласен. Да, есть у меня пристрастие к восклицательным знакам. Ставить их где надо и не надо. Ну а насчет того, что колокол под дугой звенеть не может, даже «легонечко», когда лошадь идет шагом, – это, Вася, плод твоей великолепной фантазии. Сейчас вот бабки говорят: «Колокольчик на любой животине всегда звенит». Да и как ему не звенеть, если дороженьки-то наши настолько ухабисты, Вася, что тут и дуга, и оглобли, и груз, не только колокольчик, – все запоет. Ну да Бог с ним...».

Переписка эта имела неожиданное для меня продолжение, правда, устное. Дней за десять до гибели Рубцова мы с Сергеем Багровым навестили поэта в его однокомнатной квартирке на улице Яшина в Вологде. Среди разговора он вдруг взял меня за руку:

– Знаешь, я недавно перечитывал старые письма и нашел твое, ну то, о колокольчике. Ты ведь прав был, я тогда просто письмо невнимательно прочитал...

О первой книжке Рубцова «Лирика» я опубликовал небольшую рецензию в «Ленинском знамени». Лишь через много лет, когда были собраны воедино письма Николая Михайловича к друзьям, сумел я прочесть его мнение об этой рецензии. Вот что писал он тогда в одном из писем Александру Романову:

«В. Елесин поместил в здешней газете хорошую (даже очень хорошую) рецензию на мою книжку и тот же хороший отзыв о ней написал мне в личном письме. Вообще он молодец. Наверное, ведь сделал он это вопреки воле мрачного редактора». («Воспоминания о Рубцове». СЗКИ, 1983 г., стр. 312).

Каким Рубцов был в жизни? Разным, неоднородным, как и все люди. Забывчивым в житейских мелочах, не умеющим позаботиться о себе. Будь он, что называется, более «пробивным», и книги, вероятно, появились бы раньше, и с квартирой в Вологде не испытал бы столько мытарств...

Со стороны иной раз казалось, что Николай абсолютно равнодушен к материальному достатку, к деньгам, к вещам, как будто и впрямь был он на этой земле просто гостем. Он мог сесть в поезд, забыв купить билет, почти не обращая внимания на свою внешность, на одежду. Впрочем, люди нашего военно-послевоенного поколения, все детство и юность проходившие в заплатах, всегда оставались равнодушными к «тряпкам». Осенью и зимой носил он, казалось, вечное, как тогда говорили, «семисезонное» пальто, длинный шарф, заурядный костюмчик или вязаный свитер. Из-за небрежного внешнего вида случалось ему попадать в неприятные положения. Рассказывал он, например, о таком случае. Собравшись из Москвы в Ниццу, купил Николай дочке Лене подарок – роскошную куклу, которая заняла весь небольшой чемоданчик. С ним он и разгуливал по Ярославскому вокзалу столицы в ожидании поезда. Почему-то, из-за одежды, что ли, обратила на него внимание милиция. Увели в отделение, проверили документы, спросили, что в чемодане.

– Кукла, – ответил Рубцов.

– Как, только кукла?

– Только кукла.

– Откройте.

Убедились, что поэт говорит правду, отпустили.

А вот другая история с чемоданом, случившаяся гораздо позже, когда поэт жил уже в Вологде. Ее рассказал мне журналист Михаил Котов, который работал в то время редактором харовской районной газеты. После очередного семинара редакторов в Вологде собрались они в гостинице «Северная». В компанию журналистов попал и Рубцов. Наутро Михаил Иванович обнаружил у себя под кроватью маленький чемоданчик-«балетку». Поспрашивал приятелей – никто не знает, чей. Решили открыть. В чемодане лежали с десяток купленных на рынке картофелин, а под ними – листки со стихами. Стихи были рубцовские – так и отыскался хозяин «балетки», которая ныне тоже увековечена вместе с хозяином в бронзе на набережной реки Вологды близ Петровского домика. И думается: а сколько еще рубцовских стихов пропало вот так, из-за халатности?

В тотемский период, с 1964 по 1965 год, мы часто встречались с Николаем, но, к сожалению, в памяти остались лишь отрывочные эпизоды. Помню, как подарил я ему томик стихов Тютчева. И по словам Багрова, и по замечаниям самого Рубцова я знал, что Тютчева он очень любит. Николай принял подарок со смущенной улыбкой, как-то грустно посмотрел на меня и сказал:

– А может, лучше не дарить? Все равно потеряю в моих бесконечных переездах. И будет жаль...

Как-то зашли они с Багровым ко мне на квартиру «под мухой», стали звать прогуляться, что само собой значило «добавить». Меня ждало какое-то неотложное дело, уйти, тем более на весь вечер, я не мог и сказал с сожалением:

– Идите уж вы одни. Что поделаешь, трезвый конному не товарищ! Именно так и оговорился. Как расхохотался Рубцов! Никогда больше не слышал я у него такого непосредственного, заливистого, чисто мальчишеского смеха.

Глубокой осенью 1964 года мы с Сергеем Багровым пошли в отпуск одновременно и решили съездить в Москву, а заодно и проведать Рубцова. До Вологды добрались парходом и в тот же день сели в московский поезд. Поутру в Москве долго разыскивали общежитие Литинститута, а когда, наконец, нашли и попали в вестибюль, дежурная нас огорошила:

- Рубцов у нас больше не живет.
- А где же он?
- Ушел из института, а куда уехал – не знаю.

Огорченные, вышли мы на крыльцо и тут же увидели Николая, который стоял в кружке громко хохочущей молодежи. Забавлялись они тем, что гадали о своей судьбе по книге какого-то восточного классика: очередник тыкал пальцем в наугад раскрытую книгу и читал подвернувшееся четверостишие, вызывавшее порой безудержный смех. Заметив нас, Рубцов быстро подошел. Обрадованно улыбаясь, крепко пожал руки. В одну минуту нас, заслонив плечами от глаз вахтерши, втолкнули в лифт, подняли куда-то на шестой этаж.

И «расходился праздник невзначай», как писал поэт в одном из своих стихотворений. За столом оказались Анатолий Передреев, поэт с Кавказа Хасби, переводами которого занимался Рубцов; кто-то еще... Я попытался сфотографировать это застолье, но света в комнате было мало, за окнами хмурился осенний денек. На фотографии можно лишь разобрать, как Рубцов протягивает через стол руку Передрееву. Фотографию эту через много лет я подарил Анатолию во время писательской поездки на теплоходе в Тотьму.

А в тот московский день мы еще раз занялись гаданием: пускали из окна шестого этажа бумажных птичек. По их полету каждый пытался определить свою судьбу: кому-то длинный и счастливый взлет, кому-то скорое падение. «Птичка» Рубцова круто взмыла вверх, потом так же резко начала пикировать, и он заметно помрачнел.

Как и водится в молодом студенческом застолье, да еще среди поэтов, вскоре вспыхнул оживленный разговор, перешедший в спор. Я неосторожно сказал, что стихи современных поэтов кажутся мне недостаточно социальными.

– Разве можно так судить о поэзии! – вскипел Рубцов. – Поэту нельзя сказать: будь социальным! Это все равно что ветру сказать: ну-ка, подуй! Поэзия стихийна, как ветер!

Я часто потом задумывался над этим рубцовским убеждением. Что оно было убеждением, можно не сомневаться: в его стихах не раз и не два проскальзывает та же мысль.

Как же рождались его стихи? Внезапно, как налетевший шквал? Или все же после долгих раздумий? Тайна творчества не столь проста, чтобы кто-то в двух словах мог ее объяснить. Не брался объяснять и Рубцов, более того, он, как мне кажется, не любил разговаривать на подобные темы, хотя в стихах его порой и прорываются попытки осмыслить процесс творчества, как, например, в стихотворении «Брал человек холодный мертвый камень...».

Кое-какие косвенные свидетельства о поводах рождения некоторых рубцовских стихов можно отыскать в воспоминаниях современников поэта. Например, В. И. Белов не раз публично рассказывал, как Рубцов в Литинституте просил его разрешения использовать для стихотворения строку из этого этюда. Строка эта – «Тихая моя родина» – стала началом одноименного рубцовского стихотворения, посвященного Белову.

Толчком к написанию одного из широко известных стихотворений «Сапоги мои скрип да скрип...» послужила фраза, сказанная поэту Сергеем Багровым во время его поездки в Нинолу:

– Ведьмы тоже по-детски плачут...

Не тот ли «детский плач» подкупил поэта во время его первого знакомства со своей убийцей Людмилой Дербиной?

Взгляд подлинного творца на окружающий мир всегда неординарен. Только настоящий творец может увидеть в примелькавшемся особенное, в обычном – удивительное. Этот дар в высшей степени был присущ и Н. М. Рубцову. Примеров тому немало в его лирике. Это и «зеленые цветы», и «муха – это тоже самолет», и то, что «собака – друг человеку. Одному. А другому – враг». И еще, и еще...

В одном из своих стихотворений Рубцов сказал: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто». Возможно, и звуки эти, не слышная другим музыка тоже служила к рождению стихов: восприимчив к музыке он был необычайно. В уже цитированном здесь письме, датированном концом 1965 года, Николай Михайлович говорил:

«О себе писать нечего. Могу только сказать, что очень люблю топтать печку по вечерам в темной комнате. Ну, а слушать завывание деревенского ветра осенью и зимой – то же, что слушать классическую музыку, например, Чайковского, к которому я ни разу не мог остаться равнодушным».

Рубцов сам играл на гитаре и на гармошке, сам подбирал музыку ко многим своим стихам, она и сейчас еще звучит в рубцовских песнях, бытующих на Вологодчине, и, кажется, их судьба – превратиться в народные...

В начале 1966 года литобъединение при тотемской районной газете распалось. Уехали в Вологду Николай Рубцов и Сергей Багров. В июле этого же года меня назначили редактором вашкинской районной газеты «Волна», которая начала выходить во вновь организованном районе на северном берегу Белого озера, почти за пятьсот километров от Тотьмы. Центром нового Вашкинского района стал открытый под шапками сосен поселок с поэтическим названием Липин Бор. И почти год, до лета 1967 года, мне не довелось больше встречаться с Рубцовым.

Тем большей стала радость нечаянной встречи, когда в августе 1967 года он неожиданно появился в Липином Бору, причем столкнулись мы при обстоятельствах весьма экзотических, можно сказать, на лесной тропе. В тот день мы с женой, набродившись по роскошным липиноборским лесам, возвращались домой с полными корзинами белых грибов. Когда до поселка оставалось километра полтора, вдалеке, меж редких вековых сосен, показалась фигура человека.

– До чего же похож на Колю Рубцова! – удивился я.

– Не может быть, – возразила жена. – Откуда Коле здесь взяться, за сотни верст от Вологды, в незнакомом лесу!

И тем не менее это был он. Объяснил все просто:

– Зашел к тебе на квартиру, мать сказала, что ты в лесу. Попросил ведро под грибы и пошел, куда глаза глядят. Красота здесь у вас! А вон – белый гриб! А вон – еще!

Коля радовался, как ребенок. Думал ли я тогда, что и эти грибы попадут в рубцовские стихи? Помните «Гуляевскую горку»?

Да! Но и я вполне счастливый тип,  
Когда о ней тоскую втихомолку  
Или смотрю бессмысленно на елку  
И вдруг в тени увижу белый гриб!

Я стал звать Николая домой.

– Вы идите! – ответил он, возбужденный грибной охотой. – Я еще поброжу немного.

– Не заблудишься?

– Нет, что ты! В лесу я хорошо ориентируюсь!

Мы успели прийти домой, переоделись, вычистили грибы, они уже исходили паром на сковородке, а Рубцова все не было. Я уже начал беспокоиться: неужели заблудился?! Наконец он появился, слегка под хмельком и с пустым ведром.

– А где же грибы? – пошутила моя мать, встречая гостя.

– Понимаете, Анна Александровна, зашел я в здешнюю чайную стакан плохого вина выпить, а ведро поставил у крыльца в крапиву – почти полное, и все белые! Вышел из чайной – ведро на боку и совсем пустое...

Переодевшись в сухую рубашку, он сел за стол, с аппетитом принялся за грибы. После ужина мы пошли побродить по поселку, напоминавшему большой осенний парк. Я хотел было повернуть в сторону озера, которое в августовскую тихую пору было воистину белым, оправдывая свое название, но Рубцов потянул меня вдоль по улице, к лесу. Разговаривая (если бы помнить, о чем!), мы встретили знакомого мне милиционера, который жил на квартире нашего редакционно-го завхоза. Тот стал приглашать в гости.

– Не могу! – отбивался я. – Видишь, у меня у самого гость!

– Пойдем, Вася! – вдруг решительно сказал Рубцов.

– Да зачем?

– Пойдем. Ты ведь знаешь, что я поэт, что мне все интересно. Интересно вот посмотреть, как милиционеры живут...

В тот приезд Рубцов пробыл в Липином Бору несколько дней, а недели через две приехал снова, на этот раз в составе группы вологодских писателей, на теплоходе, вместе с Александром Яшиным, Беловым, Романовым, Коротаяевым и другими. На вечер в районном Доме культуры он прочитал шуточное стихотворение «Я забыл, как лошадь запрягают» из только что вышедшей книги «Звезда полей». Читал он четко, выделяя ударные и конечные слоги, слегка прищурившись, жестикулируя и улыбаясь.

В тот же вечер он подарил мне «Звезду полей» с автографом: «Дорогому Васе Елесину, давнему другу и земляку. Н. Рубцов».

Третий раз Николай Михайлович приехал в Липин Бор в декабре 1967 года. Был весел, балагурил, шутил. В те дни «Правда» опубликовала два его стихотворения: «Детство» и «Шумит Катунь». Рубцов радовался:

– Как здорово: мои стихи прочтут семь миллионов человек!

Потом обратился ко мне:

– Не можешь ли дать задание машинистке перепечатать мои стихи? Видишь ли, потерял рукопись новой книги, а ее надо отсылать в издательство.

– Да как машинистка будет печатать, если не с чего? – удивился я.

– Я ей продиктую.

– А сколько стихотворений было в рукописи?

– Сто двадцать.

– И ты все помнишь наизусть?! – изумился я.

– Конечно! – удивился в свою очередь Рубцов. – Ведь это мои стихи! Распорядись! Я, может, тоже редактором буду, отплачу добром!

Он начал диктовать. Да, он помнил все свои стихи. Дело здесь, видимо, не только в феноменальной памяти Рубцова, но и в том, что поэт любовно отделявал каждое стихотворение в уме, мысленно много раз шлифовал его даже после того, как оно попадало в сборник. Становится понятным и многообразие вариантов в рубцовских публикациях. Попробую проследить эволюцию хотя бы нескольких стихотворений. Вот одно из самых известных: «Родная деревня». В «Ленинском знамени» 15 августа 1964 года оно вошло в такой редакции:

Люблю я деревню Николу,  
Где кончил начальную школу,  
Где избы просты и прекрасны  
Под небом свободным и ясным.  
Бывает, иной соколенок  
Храбрится, едва из пеленок:  
Мол, что по провинции шляться!  
В столицу пора отправляться!  
Когда ж повзрослеет в столице,  
Посмотрит на жизнь за границей,  
Тогда-то он вспомнит Николу,  
Где кончил начальную школу.

То же стихотворение в первом рубцовском сборнике «Лирика»:

Хотя проклиная проезжий  
Дороги моих побережий  
Люблю я деревню Николу,  
Где кончил начальную школу.  
Бывает, что пылкий мальчишка  
За гостем приезжим по следу  
Все ходит и думает: «Крышка!»  
Я тоже отсюда уеду!»  
Среди удивленных девчонок  
Храбрится, едва из пеленок:  
– Ну что по провинции шляться?  
В столицу пора отправляться!  
Когда ж повзрослеет в столице,  
Посмотрит на жизнь за границей,  
Тогда он оценит Николу,  
Где кончил начальную школу.

Но и это не окончательный вариант. В сборнике «Звезда полей» вторая строфа звучит так:

Бывает, что пылкий мальчишка  
За гостем приедем по следу  
В дорогу торопится слишком:  
– Я тоже отсюда уеду!

В этой, окончательной редакции стихотворение и публикуется во всех посмертных сборниках поэта. Много вариантов также в «Осенних этюдах» и других стихотворениях Рубцова. Конечно, разные редакции в «Лирике» и «Звезде полей» не всегда объясняются только стремлением Рубцова улучшить стихотворение. Порой явно видно, как в издательстве «нажимали» на поэта, заставляя уродовать стихи, менять звучные, выстраданные строки на скороспелки. Для меня более чем очевидно, что такой вивисекции подверглось в «Лирике» стихотворение «Звезда полей». Во-первых, в стихотворении нет первой строфы, оно начинается прямо со строки «Звезда полей, в минуты потрясений...». Можно лишь гадать, почему исчезла первая строфа. Возможно, редакцию испугали слова «Во мгле заледенелой», которые в ней были, потому что и в заключительной строфе эти слова заменены и заменены явно не поэтом: «Но только там, над родственным пределом».

Вряд ли правомерно приписывать все разночтения только капризам редакций: автор и сам постоянно отделял свои стихи. Разночтения встречаются в «Русском огоньке», в стихах «Тихая моя родина», «Видения на холме». Скажем, в «Видениях...» вместо ставших классическими строк «Россия, Русь, храни себя, храни...» первоначально было: «Но кто там снова звезды заслони? Кто умертвил цветы твои и тропы? Где толпами протопают они, там топят жизнь кровавые потоки!».

Первый вариант «Осенних этюдов», который Рубцов прислал мне в Тотьму в конце октября 1965 года, также значительно отличался от окончательного. У стихотворения был совершенно другой конец:

Прошел октябрь. Творят ему поминки  
Стариннейшими яствами из клюквы,  
А возле темной сказочной часовни  
Стоит береза, старая, как Русь,  
И крепко спит, себя не сознавая.  
Но иногда среди оцепененья  
Она вздохнет так горестно и нежно –  
Наверно – видит девочку во сне...

Да, все рубцовские стихи хранились в его памяти, в его голове. Об этом и сам поэт писал в одном из писем С. В. Викулову в конце 1964 года:

«Все последние дни занимаюсь тем, что пишу повесть (впервые взялся за прозу), а также стихи, вернее не пишу, а складываю в голове. Вообще я никогда не использую ручку и чернила и не имею их. Даже не все чистовики отпечатываю на машинке – так и умру, на-

верное, с целым сборником, да и большим, стихов, «напечатанных» или «записанных» только в моей беспорядочной голове» («Наш современник», № 12 за 1981 год).

Так оно, скорее всего, и вышло: унес от нас Рубцов сборник готовых, но никем не читанных стихов, да и только ли стихов? Ведь рукописи его повести так и не нашли...

Помнится один разговор с ним, уже в Вологде, когда я спросил, не тянет ли его к поэме? Спросил с шутовой осторожностью, зная, как не любит говорить он о себе и о своих планах. Николай Михайлович воспринял вопрос всерьез, ответил не сразу, а немного помолчал:

– Возможно, что приду и к поэме... – И, воодушевляясь: – Великолепная тема есть – нашествие Чингиз-хана. Какие времена! А ведь и тогда выстояла Русь, гибелью своей выстояла!

Доброй памятью о последней встрече с Рубцовым в Липином Бору стало его стихотворение «Сосен шум», давшее позднее название целому сборнику. Как все мы радовались в редакции, услышав это стихотворение из уст самого Рубцова! Радовали чеканные, удивительно точные строки о давно примелькавшемся, но увиденном будто заново:

В который раз меня приветил  
Уютный, древний Липин Бор,  
Где только ветер, снежный ветер  
Заводит с хвоей вечный спор.

Стихи эти были написаны ночью в редакции нашей газеты, где, за неимением жилья, обитал тогда молодой Сергей Чухин, и Рубцов, полюбивший его, как младшего брата, решил переночевать тут же, на редакционном диване. Услышав стихотворение, я шуточно спросил:

-Что же ты написал «Сижу в гостинице районной»? Ведь сидел-то в редакции?

-Так типичнее, – засмеялся он. – А то подумают, будто у тебя не редакция, а ночлежка...

«Соседний барак» – не что иное, как липиноборская пекарня, она стояла неподалеку от редакции, в ней работали ночью, свет в ее окнах не гас до самого утра.

Любители рубцовской лирики, вероятно, обратили внимание, что сосны – одна из любимых пейзажных деталей у Рубцова. Сосны и ветер. Ветер и бор. Шум сосен, как лейтмотив, проходит по многим стихам поэта...

С лета 1968 по осень 1970 года я учился в Москве, с Рубцовым практически не встречался. Запомнился лишь один мимолетный разговор при случайной встрече на улице. Запомнился потому, что я, желая сделать приятное Николаю, неожиданно попал впросак. В кругу знакомых в Москве я не раз слышал шуточную песенку: «Пшеница мелется, корова телится, и все на правильном таком пути. Ах, замети меня, метель-метелица, ах, замети меня, ах, замети!» Были в подслушанной песне и такие строки: «Ах, что я делаю, зачем я мучаю большой и маленький мой организм? Ах, по какому же такому случаю все люди борются за коммунизм?!»

Мне говорили, будто песенку эту написал Николай Рубцов, и при встрече я сказал ему:



– Знаешь, твою песенку вся Москва поет!  
 – Какую? – недоверчиво посмотрел он.  
 – Ту самую, где «ах, по какому же такому случаю все люди борются за коммунизм?»

– Но я же не так написал! – возмутился Рубцов.

– А как? – опешил я в свою очередь.

– Я написал «ведь люди борются за коммунизм!» Сволочи, все исковеркали! Я опровержение писать буду!

– Да куда опровержение-то? Песня не напечатана, а на каждый роток не накинешь платок...

– Не знаю, куда! В Организацию Объединенных Наций! Черт побери! – и, помрачнев, торопливо распрощался.

Доходили слухи, что Рубцов последнее время стал больше пить, что на этой почве происходят у него стычки с друзьями, с начальством. Однажды, рассказывали очевидцы, в ту пору журналисты молодежной газеты «Вологодский комсомолец», Николай, слегка под хмельком, пришел в редакцию, принес две бутылки пива и отправился в другой конец коридора, с середины которого возвышалась парадная лестница на второй этаж, в Вологодский горком партии. По лестнице как раз спускался второй секретарь горкома Жабчиков.

– Кто такой? – строго спросил он поэта. – Зачем здесь пьяный болтаешься?

– Да пошел ты! – ответил Рубцов, не останавливаясь.

– Ты с кем разговариваешь! Я – Жабчиков!

– А я – Рубцов!

Секретарь стремительно развернулся, поднялся наверх и, позвонив в милицию, приказал немедленно взять в вытрезвитель «какого-то забулдыгу Рубцова». Вскоре подъехала милицейская машина. Ребята из газеты упростили милиционеров не везти Рубцова сразу в вытрезвитель, дожидаться, по крайней мере, решения секретаря обкома партии. Поэтому, видимо, Рубцов и был доставлен сначала в отделение милиции, где, недолго думая, достал из кармана бутылку пива и ловко открыл ее об угол стола.

– Ты что делаешь! Забыл, где находишься?!

– А что, русскому человеку уж и пива нельзя выпить, где он захочет?

Скандал, после вмешательства секретаря обкома, удалось замять.

Как-то, проходя по вологодскому кладбищу мимо могилы Рубцова, я вдруг увидел надгробную плиту, на которой значилось имя Жабчикова. Да, смерть уравнивает всех. Однако не зарастет тропа к рубцовой могиле, оставляя в стороне могилу некогда грозного секретаря...

Летом 1970 года, возвращаясь после учебы из Москвы в Вашки, я остановился в Вологде и встретил Сашу Рачкова, который тоже был хорошо знаком с Николаем.

– Рубцова в больницу положили, – сообщил он.

– Что с ним? – испугался я.

– Не знаю точно, с рукой что-то...

– Надо проведать.

Был ясный летний вечер, то самое время, когда люди расходятся с работы. Возле хирургического корпуса горбольницы, у рослых старых

берез встретили Николая Михайловича. В больничной пижаме, небритый, сильно облысевший, он казался усталым и старым. Поздоровавшись, попросил нас сходить к нему на квартиру, взять и принести почту из ящика. Почту мы принесли, но, видимо, того, чего ждал Рубцов, в ней не оказалось, и он снова ушел в себя, сделался неразговорчивым, мурым. Спросили, что у него с рукой – она была забинтована.

– Да так... – отмахнулся он. – Порезался случайно...

Случайно ли? Но спрашивать дальше не решились – не до откровенностей ему было. Пытаясь как-то расшевелить Рубцова, Саша Рачков, не расставившийся с фотоаппаратом, сфотографировал Николая под березами, потом нас вдвоем. Фотография, сохранившаяся у меня, постарела от времени, но и на ней можно прочесть глубокую, заматерелую тоску в рубцовских глазах. Кто знает, не в этот ли вечер родились пронзительные стихи:

В светлый вечер под музыку Грига  
В тихой роще больничных берез  
Я бы умер, наверно, без крика,  
Но не смог бы, наверно, без слез...

Начиналась последняя в его жизни осень. И вместе с дождями вошла в его жизнь убийца. Мог ли Рубцов избежать трагического конца? Теоретически – да. В последние годы он очень тосковал по налаженному, устроенному быту, несколько раз звал в Вологду свою жену Генриетту Михайловну Шамахову – она подробно рассказала об этом в статье «Русь моя, люблю твои березы» («Красный Север» за 15 августа 1995 года), которую я готовил к печати. Но сначала мешала их соединению жилищная неустроенность поэта, потом и другие обстоятельства. Вот как описывает Генриетта Михайловна их последнюю встречу:

«Конец сентября 1970 года. У культурработников Тотемского района был семинар, а последний день занимались в Доме культуры. Под вечер меня вдруг вызывают. Я вышла на улицу – передо мной стоял Рубцов. Как он узнал, что я в Тотье?»

– Зачем ты здесь?

– Приехал узнать, когда вы с Леной переедете ко мне.

– Мы не собираемся. Лена ходит в первый класс. Разве что весной...

А он говорит:

– Я ведь могу жениться.

– Женись, – говорю. – Давно бы надо. Хватит одному-то болтаться.

И вдруг он сказал:

– А до весны я, может, и не доживу.

Звал он Генриетту к себе и в гостях у Василия Ивановича Баранова, и в каюте теплохода, в которой вместе ехали: он – в Вологду, она – в Николу. Все могло бы измениться, если бы и он остановился в тот раз в Николе. Не остановился...

В один из октябрьских вечеров я пришел к Николаю Михайловичу вместе со своим племянником, Николаем Михайловичем Елесиным, работавшим в ту пору на 23 ГПЗ, писавшим стихи и страстно мечтавшим познакомиться с Рубцовым. Я представил племянника, Рубцов крепко пожал ему руку, приветливо взглянул в глаза:

– Тетка, значит? Ну, садись.

И попросил почитать стихи.

Стихи были слабыми, читал их Николай тоже слабым, глуховатым голосом. Рубцов задумчиво слушал, потом потребовал:

– Еще читай!

О чем он думал в те минуты? Не о том ли, что тысячи молодых ребят пытаются излить свое недоумение перед миром и свою любовь к нему в неумелых стихах, а порой просто мечтают о славе, не подозревая, сколь тернисты и круты тропинки к ней?

Выслушав несколько стихотворений, Рубцов взял свой сборник «Душа хранит» и размашисто написал на нем: «Коле Елесину, родному поэту. Н. Рубцов».

Поэтом Коля Елесин не стал, но рубцовский подарок бережно хранил до самой смерти – он тоже не зажился на этом свете, умер в сорок девять лет.

Девятого января 1971 года мы зашли к Николаю Михайловичу вместе с Сергеем Багровым. Поэт был простужен, сидел в своей крохотной комнатухе в валенках и зеленом свитере. Мы долго вспоминали Тотьму, говорили об общих знакомых. Был у нас с собой магнитофон, надеялись записать рубцовские стихи в исполнении автора, но читать стихи у Николая не было настроения, магнитофон так и не раскрыли: успеется, думали, не последний раз видимся!

Оказалось – последний...

Как часто потом мучило сознание, что какое-то незначительное отклонение в чередовании мелких житейских событий могло бы повернуть, изменить ход роковых обстоятельств! Если бы зайти к Рубцову накануне убийства... Если бы соблазнить его съездить вместе в командировку... Если бы, если бы...

Только ли Дербина убила его? Думаю, что и обстоятельства тоже. Нищенское существование: что такое четыре тоненьких книжечки общим тиражом менее сорока тысяч экземпляров для тридцатипятилетнего поэта! Многие его гораздо менее талантливые сверстники имели к этому возрасту по полтора-два десятка сборников. На один юбилей какой-нибудь бездари тратилось в те дни денег столько, что хватило бы Рубцову на полгода безбедного существования. Бездомность и семейная неустроенность, а в результате – частые и обильные попойки...

Убежденность в своей талантливости, избранности и непонимание окружающих, особенно чиновников от литературы и искусства, смотревших на Рубцова как на конченую, спившуюся личность... Своими ушами доводилось слышать после его гибели:

– Одним пьяницей меньше!

И вспоминалось опять же рубцовское: «Но была ли кабацкая грусть? Грусть, конечно, была, да не эта!».

Да, именно тогда, в мрачном семидесятом, почувствовал он как никогда остро свое одиночество в мире, учуял конец своей поэтической тропы. Не тогда ли рождались и полные трагизма строки:

Кто-то стонет на темном кладбище,  
Кто-то глухо стучится ко мне,  
Кто-то пристально смотрит в жилище,  
Показавшись в полночном окне.

Или это:

Куда от бури, от непогоды  
Себя я спрячу?  
Я вспоминаю былые годы,  
И я плачу...

Нашел бы Рубцов выход из кризиса? Убежден – нашел бы. Но слишком узко, слишком фатально переплелись дороги поэта и его убийцы...

Потребовалось время, чтобы по-настоящему осознать, что мы потеряли. Сейчас, когда суммарный тираж книг поэта приближается к пяти миллионам, а книг все равно не хватает, когда в Тотеме, на высоком берегу Сухоны, сидит неживой, из бронзы, поэт, когда в Вологде тысячи людей ходят по улице Рубцова и мимо памятника ему, когда планируется воздвигнуть памятник поэту аж на Тверской улице в Москве, когда песен на его стихи написано больше, чем самих стихов, кажется невероятным барски-пренебрежительное отношение к поэту при его жизни.

«Что имеем – не храним, потерявши – плачем...» – вечная, горькая истина, которая уже десятки и сотни раз больно бьет по струнам памяти русских сердец...





## «О Родине душа моя болит»

### Василий БЕЛОВ

Майский ветреный полдень. С крыльца редакции тотемской «районки» – приземистого купеческого здания с непробойными кирпичными стенами – спускаемся на узкую улочку. За ней овраг от самой центральной площади города до берега Сухоны, а за оврагом, в длинном ряду таких же приземистых и толстых купеческих особняков, полуподвальная столовая, куда мы бегаем обедать. Впрочем, не все: литсотрудник Сергей Багров, коренной тотмич, ходит обедать домой, но до столовой ему с нами по пути. Кроме Багрова идут Саша Королев и Игорь Попов, заведующие отделами «Ленинского знамени». У самого входа в столовую Сергей останавливается, здоровается с низеньким круглолицым человеком в просторном пальто. Волосы зачесаны набок, жесткие, русоватые, они чуть прикрывают лоб. Ворот рубашки по-летнему расстегнут, костюм помят, в руках палочка.

Здоровуюсь и прохожу в столовую: у Багрова знакомых пол-Тотмы, мало ли кто попался ему навстречу. После обеда все-таки спрашиваю:

– Что это за парень тебе встретился у столовой?

Он удивился:

– А разве ты с ним незнаком? Это Белов.

– Неужели? А где он?

– Дома оставил, отдохнуть с дороги. Да не огорчайся, вечером встретимся!

Незадолго перед тем появилась в тотемском магазине книжка прозы Василия Белова «Знойное лето», изданная в 1963 году Северо-Западным издательством. Все, что я знал к тому времени об авторе, укладывалось в короткие строчки аннотации:

«Василий Белов родился в 1933 году (именно так!) в деревне Тимониха Харовского района Вологодской области. После окончания школы ФЗО был столяром, мотористом, сотрудником грязовецкой районной газеты, секретарем Грязовецкого райкома ВЛКСМ.

Творческий путь Василий Белов начал со стихов. В 1961 году вышла первая книжка его стихотворений «Деревенька моя лесная». Будучи студентом Литературного института имени Горького, Белов впервые обратился к прозе. Первая его повесть «Деревня Бердяйка» была напечатана в журнале «Наш современник» и тепло встречена читателями. Стихи и рассказы молодого писателя публикуются в журналах «Нева», «Москва», «Звезда» и в других центральных и областных изданиях.

«Знойное лето» – первая книга прозы Василия Белова. Это кни-

га о людях северного края, их радостях и горестях. Рассказы и повесть «Знойное лето» проникнуты жизнеутверждением, верой в прекрасное завтра тружеников колхозной деревни, любовью к ним, к их созидательному труду».

В общем, аннотация как аннотация, их и в те времена писали по шаблону. Но сама книга, помню, оставила впечатление светлое, чуточку грустное, и я написал небольшой отзыв на нее в «Ленинском знамени». Читал я и «Деревеньку...», купленную все в том же тотемском книжном магазине. И вот вечером, прихватив с собой газету с отзывом, направился вместе с Сергеем Багровым к нему домой. Деталей того, первого разговора, не помню. Осталось в памяти, что Василий попросил у меня газету с отзывом на «Знойное лето» и сказал улыбаясь:

– Это ведь первая рецензия на мои рассказы...

Вечер выдался солнечным, теплым, у меня с собой был фотоаппарат. Втроем отправились посмотреть Тотьму. Я снял Белова на мостике все через тот же овраг. Потом прихватили в магазине бутылку и на грузовом пароме переправились через Сухону в бор, когда-то большой и красивый, но к тому времени уже наполовину вырубленный. Там устроились на пеньках, а Белов сел на землю, прислонившись спиной к одному из них. Держа в руке нанизанную на прутик яичную скорлупу, запел незнакомую песню:

Миленький ты мой,  
Возьми меня с собой!  
Там, в краю далеком,  
Буду тебе женой...

Позднее, через много лет, я напомнил Василию Ивановичу об этом вечере и о песне. Он тепло, чуть смущенно улыбнулся и сказал:

– Эту песню очень любил Вася Шукшин. Вот и мне она полюбилась...

Поговорили, естественно, и о литературе. Белов, только что окончивший Литературный институт, сказал, что и в литературе, и в критике много подводных течений, от которых порой зависит, опубликуют автора или нет, несмотря на весь его талант.

Вернулись из бора и зашли к зятю Багрова, беловскому тезке, Василию Ивановичу Баранову, который работал в то время собственным корреспондентом «Красного Севера». Плотненький, лысоватый, он был, бесспорно, человеком умным, но, что называется, «себе на уме». Чуть речь заходила о политике, он тотчас пытался увести разговор в сторону.

– Он вроде улитки, – сказал Белов, когда вышли от Баранова. – Чуть высунет рожки – и тут же торопится спрятать.

Дорогой, а направлялись мы ко мне на квартиру, Василий рассказал, что едет он в командировку, надо добраться до Великого Устюга, но в дороге поиздержался, да еще в драку попал.

– Как так?

– Пацаны пьяные на палубе собрались с гитарой, орут какую-то дребедень. А я, тоже выпивши, подошел и давай уговаривать: ребята, мол, что, вам русских песен мало? Поглядите, какая красота кругом, раздолье какое, тут в самый раз русское петь... Ну они мне и накостьляли, ногу повредили, черти, ступать больно. Ребята рослые все, здоровые...

В Тотьме я жил в то время с женой в двухкомнатной квартире на

первом этаже двухэтажного деревянного дома близ бывшего Спасо-Суморина монастыря. Пришли уже затемно, попили чайку. Я показал свою маленькую библиотечку, в том числе и книгу «Житие протопопа Аввакума», изданную незадолго перед тем в Ленинграде небольшим тиражом. Было заметно, что Белову приглянулась эта книжка, и я попросил принять ее в подарок. Он отказался было, но я настаивал.

– Не жалко? – спросил Белов – Мне бы жаль было такую книгу дарить...

В тот же вечер он оставил свой автограф на «Знойном лете»:

«Тезке и земляку – Васе Елесину в память о встрече в Тотье. С глубоким уважением В. Белов. 8 мая 1964 года».

Почему – «земляку»? Ведь он из Харовского, а я из Вожегодского района, и Белов знал об этом. Дело в том, что я рассказал о родине своих родителей – Падчеварах, что неподалеку от озера Воже. Оказалось, что и его Азла была вблизи от тех мест.

– У нас, бывало, как кони потеряются, мужики поговаривали: «Ну, опять, видно, в Падчевары ушли!» Так что, пожалуй, и впрямь земляки.

Я достал и его первую книжку «Деревеньку...»:

– Подпиши заодно и эту.

Белов подумал и махнул рукой:

– Ничего не приходит в голову, напишу просто «Я!»

Так и хранится у меня до сих пор первая книжка стихов Белова с его размашистым «Я!»

Хранилось у меня в ту пору и неотправленное письмо одному учителю, в котором я с молодой горячностью высказывал все, что думал о современном обществе, о хрущевских порядках и нововведениях. Случилось так, что я прочел письмо Белову и Багрову. Много в нем было спорного, о многом стоило и задуматься. Между прочим, приводилась там некрасовская строка: «Умрешь не даром, дело прочно, когда под ним струится кровь!». Василий остро взглянул на меня, предупредил:

– Ты всем подряд это письмо не читай!

– Да ведь вы-то – не «все подряд»!

– Мы – ладно, а другие не так понять могут. Неприятностей не обещаться...

Уехал он утром следующего дня, переночевав у Багрова, который жил рядом с пристанью. Осталось у меня на память о том майском дне несколько пожелтевших любительских фотографий безбородого, молодого еще Белова. К несчастью, пленка, полностью отснятая в тот вечер, затерялась.

Шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый годы были для Василия Белова трудными. Печатался он еще редко, приходилось публиковаться в областных и районных газетах, чтобы получить хоть копеечный гонорар. Вот только некоторые из публикаций Белова 1964 года: 29 июля в «Маяке» (газета Вологодского района) стихотворение «Крушина у берега, ива ли...», 27 и 29 августа в «Призыве» (харовская «районка») – рассказ «Речные излучки», 5 ноября там же – сказка «Мышонок, бабушка и кот», в «Вологодском комсомольце» за 16 августа – детские рассказы «Катюшин дождик» и «Как ворона воробья обидела», 23 сентября – рассказ «Страничка из Флобера». В «Красном Севере» за 5 сентября – рецензия на книгу Д. Хренкова о Сергее Орлове...

В сентябре 1964 года я получил от Василия письмо:

«Здравствуй, Вася! Сердечный привет тебе и Сереге, конечно. Прости, ради Христа, что молчал долго. Как вы там, в Тотьме? Я сегодня случайно получил снимки от Саши Сушинова, спасибо великое. Не вытерпел, решил написать. Не обижайтесь, что раньше молчал, все дело в расейской нашей слоновости. Я, наконец, кончил наше заведение (Литинститут – В. Е.), теперь свободен. Свобода морить наших мышей. Не знаю, что дальше будет, однако пока держусь. Пишу сейчас очерк о русском многострадальном крестьянине для «Нового мира». Что выйдет, еще не знаю. (Речь идет о «Привычном деле» – В. Е.).

Как вы-то там? Неужели заглохнете? Держитесь, ребята! Выбирайтесь в люди. Я знаю, что вам хуже, чем мне, но одновременно вы богаче меня, богаче в том смысле, что живете в народной гуще. Для тебя, Васюха, я бы желал одного: топай дальше в своих размышлениях, записывай все, что думаешь – все понадобится, и верь в свою звезду. Надо бы тебе быть поближе к Вологде, ты бы запросто утер нос Гуре (литературный критик – В. Е.). Но как это сделать?

А Сереге я бы тоже одного пожелал: культуры, культуры, больших раздумий и больших взлетов.

Запомните, что Русь наша засасывает нас, душит и делает все, чтобы мы помалкивали. Надо преодолеть это. Преодолейте, первым делом, свою газету, потом преодолите областные рогатки, а потом можно выходить и на российский простор.

В Вологде тишина.

Сашка Романов, единственный потенциально даровитый человек, где-то в своей деревне, Тихонова не слышно, все остальные дремлют, и ждать от них ничего не приходится.

Пишите оба. Я дня через четыре поеду в деревню, буду там с неделю, потом поеду в Москву и буду в Вологде.

За сим обнимаю вас и жду вестей от вас.

В. Белов, 28 июля 1964 г.»

Это письмо было отправлено лишь через месяц после того, как написано.

В 1964 году появились первые отклики на прозу Белова в центральной печати. Далеко не всегда были они доброжелательными. В апреле 1963 года журнал «Крестьянка» опубликовал рассказ Белова «Гудят провода». А в 1964 году в журнале «Советская печать» появился обзор «О рассказах в журнале «Крестьянка». Рассказ Белова буквально уничтожался. Автора обзора особенно покорило, что деревенские старухи в рассказе называют друг друга «девка». Заключал он решительно: «По всему видно, что у В. Белова самое дремучее представление о современной деревне». Не знаю, как отразилась эта статья в директивном журнале на дальнейшей публикации беловских вещей, явно, что не лучшим образом, да и ему доставила немало горьких минут.

Осенью того же 1964 года, возвращаясь из отпуска в Тотьму, я на несколько дней задержался в Вологде, чтобы узнать о судьбе моей первой повести, рецензию на которую писал Василий Белов. Зашел я к нему на квартиру уже под вечер, он сидел один, писал. На столе – свежая книжка «Нового мира», раскрытая на очерке А. Побожия «Мертвая дорога», в котором шла речь о бессмысленном строительстве заполярной железной дороги Салехард – Игарка. Очерк я читал и помню, что произвел он на меня гнетущее впечатление.



- Читал? – кивнул Белов на журнал
- Читал. Жуткая вещь.
- Вот так и вся наша дорога. Новая, да мертвая...

Я извинился, что отрываю его от работы, собрался уходить. Он смущенно сказал:

– Да вот, очерк свой заканчиваю. На него все надежды. Знаю, что нигде не возьмут. А с другой стороны, если напечатаю, так меня просто закроют и здесь, в Вологде, и в деревне моей... А печатать надо, жить не на что. Книжка в «Молодой гвардии» выйдет только в конце года...

«Очерком» Василий Иванович называл «Привычное дело», а книжка «Речные излуки» действительно вышла в «Молодой гвардии» в конце 1964 года.

Вскоре я получил рецензию Белова на свою повесть. Не буду приводить ее здесь – рецензия очень доброжелательная, даже с неоправданными авансами. Вот ее концовка:

«В заключение хочется пожелать автору большей творческой смелости, а также того, чтобы он скорее освободился от скованности, так естественной для людей, которые лишены повседневного общения с более квалифицированной литературной средой».

Моя поездка в Вологду совпала с днем рождения Василия Белова, вернее, с его кануном. Василий Иванович (тогда, естественно, просто Вася – ведь разница в возрасте была у нас небольшая) пригласил меня на следующий день в «Поплавок», пристанский плавучий ресторанчик, воспетый впоследствии Николаем Рубцовым. Характерно, что даже свой день рождения отмечать было не на что: пришлось занимать восемь рублей, чтобы посидеть в этом самом «Поплавке». Но была уже поставлена точка в «Привычном деле», в гениальной повести, которую он скромно именовал «очерком».

В начале 1965 года мы с Багровым снова получили «общее» письмо Белова, вернее, просто записку:

«Братцы! Вася и Сережа! С Новым годом вас обоих, и да будет он вам трамплином к новому прыжку в делах. Что-то вы замолчали. Не обиделся ли Елесин на меня за рецензию? Или просто лень вам черкнуть открытку?»

Помнишь, Вась, я посылая штучку «И все про любовь»? Очень тебя прошу – вышли ее мне. Рукописи нужны, понимаешь... Не вешайте своих носов. Желаю вам «удачей»! В. Белов. 6.I.65 г.

А что слышно про Колю Рубцова?»

Рукопись рассказа «И все про любовь», которую Белов по моей просьбе присылал для «Ленинского знамени», была ему возвращена, а рассказ опубликован в нашей газете.

Почти в то же время я уехал сдавать зимнюю сессию в Ленинградский университет (учились мы там вместе с Сашей Рачковым заочно, были уже на четвертом курсе факультета журналистики). После сессии перед отъездом из Ленинграда зашли в Дом книги и, к великой своей радости, увидели там сборник рассказов Белова «Речные излуки». Вечером сели на поезд, а рано утром, где-то около пяти часов, прибыли в Вологду.

До автобуса на Сокол, где жил в то время Рачков, времени оставалось много, а до тотемского автобуса и того больше. На вокзале торчать – удовольствие маленькое.

– А поедем к Белову! – предложил я. – Рано, конечно, неудобно, да что делать?

Поехали. Разыскали дом за рекой Вологдой, поднялись по лестнице. Я позвонил, но никто не отозвался.

– Наверное, в деревне, – решили мы и собрались уходить, когда за дверью послышались шлепки босых ног. Белов, заспанный, в одних трусах, взгляделся, узнал, пригласил:

– А, Вася! Заходи!

– Я не один.

– Заходи и не один.

Так познакомились Василий Белов и Александр Рачков, ставшие потом большими друзьями. Сели чаевничать на кухне, мы поставили на стол привезенную из Ленинграда бутылку водки.

– Закусить-то у меня, ребята, нечем, – сокрушался хозяин. – Хлеба горбушка да луковица – все харчи!

– Самая хорошая закуска! – одобрил Рачков.

Разговорились о новом, нашумевшем в ту пору фильме «Председатель». Нам удалось посмотреть этот фильм в Ленинграде. Потрясло правдивое, как нам тогда казалось, изображение послевоенной деревни. Тут и развалившиеся дома, и женщины, оборванные, изможденные, запряженные в плуги вместо лошадей, и жестковатый хозяин-председатель, его играл Ульянов. После фильмов, подобных «Кубанским казакам», все было внове. Но Белов неожиданно резко обрушился на «Председателя»:

– Вредная картина. Все старается доказать, что русскому мужику кнут нужен. Без кнута так он вроде уж дурак дураком!

Мы попросили оставить автографы на «Речных излуках», привезенных из Ленинграда. Сейчас этот автограф у меня перед глазами:

«Василию Елесину – на память, на дружбу. Белов. 5.2.65. Вологда».

«Речные излуки», пожалуй, первая книга Белова, получившая добрый отзыв критики. В рецензии Василия Рослякова, напечатанной 2 марта 1965 года в «Литературной газете» под заголовком «От излучины к излучине», говорится:

«Для литературы имя Василия Белова еще не привычно. Но, прочитав небольшую книжку его, я подумал – к имени этому привыкать придется. Талант молодого вологодского прозаика надежен, его голос чист, а сердце полно любви к людям и к родной земле».

Заканчивалась рецензия шуткой:

«Много в том, что пишет молодой прозаик, поэзии, подлинной и неповторимой, чистых мелодий, веселых, грустных и даже горьких. Не так много мелодий, серьезно задевающих социальные стороны деревенской жизни. Их мало! Как бы не сказали про своего земляка что-нибудь в таком роде:

– А Белов наш хорошо поет, когда работать-то будет?

Но это тоже в шутку, хотя поделиться этой шуткой с Василием Беловым сейчас самое время».

Наверное, отпала бы у Рослякова охота шутить, знай он к тому времени о новой повести писателя, о «Привычном деле», которая уже странствовала по редакциям. Помню, как поразил меня в самое сердце отрывок из повести, опубликованный весной 1965 года в областной газете «Красный Север» и озаглавленный «Утро Ивана Африкановича». Опануло свежестью такой силы, такого таланта, что я тут же сел за взволно-

ванное, сумбурное письмо автору. Зная, что живет он в деревне, я отправил письмо другу своему Саше Погожеву, работавшему ответственным секретарем харовской районной газеты, с просьбой как-нибудь передать Василию Ивановичу. Да и само письмо начал я с необычного обращения по имени и отчеству, на что Белов даже немного обиделся в своем ответном письме:

«Вася, чего ж ты так меня официально величаешь? Спасибо за письмо. Его мне переслал великолепный Саша Погожев. Я в деревне живу, в Вологде бываю редко. Закончил вот Ивана Африкановича, буду в «Север» (это в Петрозаводске) посылать. Только мало надежды, что напечатают, а если и напечатают, то похерят самые дорогие для меня абзацы.

А ты зря откладываешь работу до окончания университета. Все это ерунда – учеба, работа в газете. Ты пиши сейчас, ничего не откладывай, время идет в одну сторону...

И еще. Не освободившись от внутренних, от собственных пут, нельзя освободиться и от внешних.

Я в Тотьму собираюсь, но это, видимо, не скоро будет. Видел ли Сашу Романова? Он, кажется, приезжал туда недавно. Супруге твоей поклон. Пиши, не стесняйся. Белов».

«Привычное дело» вышло в первом номере журнала «Север» за 1966 год. О том, какой резонанс вызвала эта небольшая повесть в литературных и общественных кругах, вряд ли стоит говорить – всем людям старшего поколения памятны те дни. Скажу только как очевидец, что повесть далеко не все поняли и приняли сразу. Долго не было откликов на нее и в официальной критике. Больше того, даже в ближайшем литературном окружении писателя мнения высказывались самые разноречивые.

Летом 1966 года была организована поездка писателей на теплоходе по реке Сухоне. В Тотьме тогда побывали Сергей Викулов, Константин Коничев, Виктор Коротаев, Василий Белов, Дмитрий Голубков и другие. Не было Яшина и Орлова, впрочем, насколько мне известно, Орлов и Тендряков вообще не участвовали в таких поездках.

В вестибюле тотемского Дома культуры, где проходил писательский вечер, я выбрал момент, чтобы поговорить с Беловым. Он спросил мое мнение о «Привычном деле». Возможно, и путано, но я попытался выразить мысль, что подобной книги о деревне еще не было, что даже классики-дворяне, с каким бы сочувствием ни относились они к мужику, показывали его со стороны, описывали как бы снаружи, не углубляясь в душу его. Белов впервые выразил думы и чаяния крестьянина изнутри, с точки зрения самого мужика. В «Привычном деле» мужик впервые обрел свой, свойственный только ему, голос. А удалось это Белову, на мой взгляд, потому, что он сам был и остался настоящим русским мужиком.

После литературного вечера состоялся банкет в одной из городских столовых. Много было различных тостов, получил слово и я. Сказав, что Вологодская писательская организация все увереннее заявляет о себе, привел в пример «Привычное дело», назвав его явлением в современной русской литературе. И сразу же вспыхнул спор.

- Ну уж загнул – явление!
- А что – неправда?
- Не явление, но скажем так – событие.
- Это еще разобратся надо...

В чиновничьих кругах автора упрекали за то, что он будто бы смешал хронографию событий: послевоенные и «кукурузные» времена слились в повести воедино. Однако народ, читатель принял повесть всем сердцем, полюбил ее. А немного времени спустя пришло и официальное признание. В «Правде» за 3 марта 1967 года Феликс Кузнецов назвал «Привычное дело» «наиболее значительным событием в деревенской литературе последних лет».

«Я давно не читал, – писал критик, – такой прозрачной и точной по языку, такой народной по духу, такой неторопливо могучей прозы».

С этих дней и началось триумфальное восхождение Белова в литературе, его небывалый успех, когда каждую новую книгу писателя буквально рвали из рук. Сегодня имя Белова известно каждому, даже далекому от литературы человеку, знают его и за ближними рубежами, и за океанами.

После окончания университета летом 1966 года я был на распутье. В тогемской газете сменился редактор, а с новым общим языком не нашлось. Я мечтал перебраться в Вологду, но жизнь, как говорится, внесла свои коррективы. В далеком Липином Бору, в Вашкинском районе, разбился на мотоцикле редактор районной газеты, мой близкий друг Александр Феодосьевич Погожев, «великолепный Саша Погожев», по выражению Белова. Приехав на похороны в Вологду (покойник был коренной вологжанин), я получил распоряжение явиться в обком партии, где В. Т. Невзоров, тогдашний завсектором печати, без долгих предисловий предложил мне поехать редактором в Липин Бор, заменить Сашу. Так в августе 1966 года расстался я с Тотьмой, где прожил четыре незабвенных года, и переселился на берег Белого озера.

Вашкинский район был вновь восстановлен после разукрупнения за полгода до моего переезда. Все там создавалось заново. Газета тоже только-только становилась на ноги: вся редакция ютилась в одной комнате, в типографии за ручными наборными кассами сидели четыре пенсионерки да стояла одна старенькая печатная машина. Набор и правка номера затягивались за полночь, а газету допечатывали, когда уже вставало солнце. Случалось уходить домой всего на пару часов, а то и самому становиться к наборным кассам. Немного свободнее вздохнули лишь через год, когда установили линотип и обучили типографские кадры.

В это-то время, 28 августа 1967 года, пришел в Липин Бор писательский теплоход, названный Рубцовым в одноименном стихотворении «Последним пароходом». На нем вместе с Александром Яшиным приехал и Василий Белов. Он попросил меня одолжить на вечер журнал «Север» с «Привычным делом». За журналом пришли ко мне на квартиру, я показал гостю новые фотографии. Среди них оказался снимок, где группа писателей находилась, как говорят, «под мухой».

– Отдай ее мне! – попросил Белов. – Я сегодня им покажу.

– Бери, ради Бога!

Лишь позднее догадался я, что фотографию он никому не показывал, а просто разорвал – не терпит он вещей, которые дают повод усмехнуться над писателями.

После вечера, на котором выступили Яшин, Рубцов, а Белов прочел отрывок из повести, я познакомился с Александром Яшиным.

Белова и Яшина связывала очень тесная дружба, хотя и между ними

иной раз пробежала тень. Выступая на вечере, посвященном 75-летию Александра Яшина в июле 1987 года, Белов сказал о нем:

«Между совестью и мужеством была его доброты. Помню, как он обиделся, когда вышла первая моя книжка в «Молодой гвардии». Я тогда обратился к Ошанину, чтобы он написал предисловие. Яшин смертельно обиделся, что не его попросил написать».

В середине девяностых годов мне довелось прочесть дневник Яшина, в котором он делал записи о своей поездке в Тимонику к Белову весной 1966 года. Здесь опять вспоминается история с предисловием Ошанина и проскальзывает яшинская обида.

Надо сказать, что в дневниках Яшина это лишь одно из немногих мест, в которых сквозит обида. Чаще встречаются восхищение и восторг. Например, запись от 22 марта: «Перечитал «Привычное дело» (вторично). Ростом Вася с ноготок, а талант дай Боже!..». «Трогательно, как он приготовил мне комнату здесь, в этом доме, постелил овечьи шкуры на кровать и овчину под ноги у стола». И шутивное: «Тимониха, Тимониха. Восемь баб, один мужик, да и тот начальник. Но зато здесь Вася родился».

Тесная личная дружба связывала Белова и с Федором Абрамовым. В одном из выступлений Белов назвал его отцом, имея в виду влияние его произведений на свою творческую судьбу. Смерть Абрамова была для Василия Ивановича тяжелейшим ударом. Помню, как в один из дней после известия о смерти Абрамова мы с Борисом Лапиным встретили Белова на улице, мрачного и сгорбившегося, будто под ношей.

– Куда это такие веселые? – без улыбки спросил он.

– По делам. А ты что такой мрачный, Василий Иванович? Ведь у тебя все вроде ладится?

– Федор Абрамов умер, разве этого мало? – жестко отрезал он.

Вернемся к «последнему пароходу» Александра Яшина. Наутро теплоход ушел дальше, в Вытегру. В суматохе прощания Василий Иванович забыл вернуть мне журнал «Север» с «Привычным делом», о чем я немало жалел: отдельного издания повести у меня еще не было. Примирила с потерей открытка, полученная от Белова в конце сентября:

«Василь! Обнимаю и каюсь: журнал не мог вернуть... Откажись, на кой он тебе? А я послал его «Ленфильму», они прокормят меня за это полгода. Продай право на экранизацию, не обижайся. Как дела? Не падай духом и будь поцелуеустремленней хоть немного. Передай привет жене и все моим знакомым в вашем озерно-сосновом краю. Обнимаю еще. Белов. 19 сентября 1967 года».

Минул и еще год. В ту зиму приезжал в Липин Бор Николай Рубцов, был Виктор Коротяев, работал в нашей редакции молодой Сергей Чухин, но с Беловым до весны встретиться не довелось. Лишь в апреле, приехав в командировку в Вологду, увидел его в редакции «Вологодского комсомольца» и снова получил выговор за «несерьезное» отношение к литературе. Я и сам в ту пору понимал, что пора, наконец, решиться: или остаться газетчиком и забыть о своих литературных мечтаниях, либо бросить все и заняться только писательством. Но это легко сказать – «бросить все». Это семья и заработок с одной стороны и несколько неудачных литературных опытов с другой. А тут еще предложение из обкома: пойти на два года учиться в Московскую высшую партийную школу, после которой, это было понятно, меня ожидала работа в Волог-

де, рядом с друзьями. Да и за два спокойных, как мне думалось, года, может быть, сумею написать что-то дельное.

Белов к моему решению идти учиться отнесся скептически. Более того, он, видимо, решил, что от литературы я отрываюсь навсегда.

– А может, это и правильно... – в раздумье сказал Василий Иванович. Однако же на книге «За тремя волоками», которая только что вышла в издательстве «Советский писатель», оставил такую надпись:

«Васе Елесину с искренней дружбой и верой в его литературные уда-чи. Белов. 19.4.68».

И мы вновь расстались, теперь уже до лета, до того самого дня, когда я поехал на собеседование в Москву. Помнится, день был пыльный, жаркий, хотелось пить. На горячей вологодской улице с размягченным асфальтом я нос к носу столкнулся в Беловым, который шел в сопровождении плотного широкоплечего человека с добродушным, слегка потным лицом. Поздоровались. Я сказал, что взял билет до Москвы на завтра.

– А сегодня ты не сможешь уехать?

– Мне-то, собственно, все равно: днем раньше, днем позже...

– Понимаешь, Жене Носову, кстати, познакомься – это писатель Евгений Носов, – так вот, ему хочется задержаться на день в Вологде, а билет у него на сегодняшний вечерний поезд. Поменяйтесь билетами, и дело с концом!

Так мы и сделали. Обмен билетами принес неожиданный сюрприз. Когда вечером я подошел к вагону, там шло сумбурное провожанье: было много писателей-вологжан, много незнакомых людей. Все обнимали друг друга, какой-то крепьш облапил и меня. Когда поезд тронулся, оказалось, что мы с крепьшом в одном купе. Незнакомец оказался Виктором Астафьевым, который тоже приезжал на писательский семинар в Вологду из Перми. Лежа на соседних верхних полках, проговорили до полуночи. Оказалось, что билеты для писателей заказывали оптом, места у Носова и Астафьева были рядом.

В те же два года, что я учился в Москве, случилась еще одна встреча с Василием Ивановичем, о которой не хотелось бы вспоминать, да из песни слов не выкинешь. В 1969 году, приехав в Вашки на зимние каникулы, я собрался отвезти мать из Липина Бора в Явенгу, к старшему брату. В Вологду прилетели самолетом, из аэропорта приехали на вокзал. До поезда оставалось часа четыре, и я отправился в город за гостинцами. Уже на обратном пути в центре встретил Белова. Поздоровались, поговорили, и он затащил меня в кафе, где заказал бутылку шампанского. Потом проводил до вокзала, на котором произошла небольшая размолвка. Виноват, конечно, был я. Мать встретила меня с упреком:

– Что уж ты больно и долго-то!

– Да вот, товарища встретил. Познакомься: известный русский писатель Василий Белов.

Сидящие возле оглянулись, а Белов, страдальчески сморщившись, сказал:

– Ну что ты... – повернулся и пошел прочь.

Ругая себя в душе – мне ли не знать, как ненавидит он всяческую рекламу! – я бросился следом. Выйдя из здания вокзала, Белов махнул рукой:

– Пока! Некогда мне. Тороплюсь.

Вернувшись после учебы и устроившись редактором «Последних известий» на областном радио, я почти полгода жил в отрыве от семьи в общежитии совпартшколы, так как дом, в котором мне пообещали квартиру, был еще не достроен. Вечера проходили тоскливо и грустно, скрашивали их только встречи с Сергеем Багровым и Николаем Рубцовым. Очень хотелось повидаться и с Беловым, рассказать ему о многом, что услышал и передумал в Москве. Однажды решился позвонить. Белов ответил:

– Встретиться? Да некогда все мне! Ну заходи... Завтра я занят, в четверг... тоже занят, вот в пятницу заходи!

К Белову я не пошел. Позднее, при случайной встрече, он упрекнул:

– Чего же ты не зашел тогда?

– Да тоже некогда было...

Увидел я Василия Ивановича после 20 января 1971 года у гроба Рубцова на прощальной панихиде в Доме художников. Все мы были подавлены, если не сказать раздавлены его внезапной и нелепой трагической гибелью. Белов молча протянул руку, сел на стул у стены. Я опустился рядом. Бросилось в глаза: по щеке Белова ползла светлая и неестественно крупная слеза...

Примерно через полгода я отдал в писательскую организацию сборник своих повестей и рассказов, нигде не публиковавшихся, не напечатанных, впрочем, и поныне. Попросил, чтобы отдали их на рецензию Василию Ивановичу, если он, конечно, согласится: ведь с 1964 по 1972 год много воды утекло! Белов рукопись взял, но как разительно отличалась эта рецензия от первой! Нет, не отношение писателя ко мне изменилось, изменился сам писатель: он вырос за эти годы настолько, что трудно было даже вообразить. Если тогда, при первых встречах, Белов и не мечтал публиковаться в «Новом мире», то теперь дверь туда была ему открыта настежь. Когда-то на мое предположение, что он может достичь художественного уровня Бунина, Василий Иванович просто рассмеялся: «Ну, ты хватил! До Бунина мне как до неба!» В 1972 году он этого, может быть, уже не сказал бы. Ведь за плечами уже было множество великолепных рассказов, «Привычное дело», пьеса «Над светлой водой», а работал он над вещами еще более масштабными: над «Канунами», «Ладом» и другими. Он стал совершенно нетерпим к литературной инфантильности, робости, ему хотелось, чтобы все вокруг работали, как он сам – с полной самоотдачей, чтобы «выкладывались» до конца. А что сделал я за эти годы? Практически ничего. Потому, наверное, вторая рецензия на мои вещи так отличалась от первой. В этой рецензии Белов решительно «зарубил» предложенный сборник, и совершенно обоснованно: собран он был из разновременных и разноплановых вещей. И вновь встал передо мной горький вопрос: продолжать писать или «бросить все раз и навсегда»? Увы, бросить я был уже не в состоянии. И сел за новую повесть, которая увидела свет только через пять лет, в 1977 году. Это была детская книжка «Пятачок на берегу», вышедшая на сорок первом году моей жизни.

– Так вот где ты проклюнулся! – сказал, по-доброму улыбаясь, Василий Иванович, когда я подарил ему эту книжечку. – Поздравляю!

Белов не раз говорил, в том числе и публично, что львиная доля его времени уходит на «проталкивание» своих произведений в печать. Это не следует понимать так, что его вообще не хотели издавать. Наоборот,

охотно издавались его старые вещи, но редакторы с большой настороженностью относились к новым. И чем больше росла слава писателя, тем придирчивее делались редакторы и те люди в партаппарате, которые ими командовали. Не забыть, как тогдашний заведующий сектором печати Вологодского обкома КПСС В. Т. Невзоров, выступая на партийном собрании в редакции газеты «Красный Север», вешал:

– Конечно, Василий Белов – очень большой талант. Значит, тем более мы обязаны его направлять и воспитывать!

Когда вышел роман «Кануны», все мы знали, что его порядком «пощипали» в издательстве. Я спросил у Василия Ивановича:

– Много ли в общей сложности вырезали из «Канунов»?

– Если брать по тексту, вроде бы и немного, – ответил он. – Да ведь режут-то всегда яйца...

В 1973 году примерно полгода я исполнял обязанности заведующего Вологодским отделением Северо-Западного книжного издательства. В это время там выпускалась небольшая книга прозы Белова «Иду домой», и Василий Иванович часто заходил к нам. Однажды вышли из здания вместе. Василий Иванович был мрачен, неразговорчив. Я спросил, как у него идут дела в московских издательствах.

– Худо! – буркнул он. – Никому не нужна настоящая литература. А рунду писать не могу...

В это время он не только считался, но и был крупным писателем России, но всячески отмахивался от попыток как-то возвеличить его, выделить из писателей-володжан. На одном из писательских собраний зашла речь о каком-то деле, уже не помню каком. Один из литераторов вдруг сказал:

– Это надо поручить маститому писателю, Белову, например.

– Это я-то маститый? – засмеялся Белов. – А какая у меня масть?

Но авторитет его в организации уже тогда был непререкаем. К тому времени в Вологду переехал Виктор Астафьев, жили и работали здесь Ольга Фокина, поэты Александр Романов и Виктор Коротаев. Имя Белова, слово его воздействовали на всех удивительным образом. Не раз приходилось слышать, как кто-нибудь обрывал ударившегося в залой собрата:

– Ты кончай это дело! Смотри, Белову скажу!

И действовало безотказно, хотя, конечно, никакой ни партийной, ни административной власти у Василия Ивановича не было. Просто все знали, что он уже давно не пьет и пьяных не терпит. Вот и побаивались его пронзительного взгляда, колючего слова. Однажды, уже в начале восьмидесятых годов, состоялся литературный вечер в областной библиотеке имени Бабушкина. Собрались писатели, пришел поэт Сергей Чухин, слегка «под мухой».

– А ты чего пришел? – спросил у него Белов.

– Так я же поэт! – простодушно ответил тот.

– Вот если ты сейчас уйдешь домой, то поступишь как поэт, а если останешься, так, извини меня, никакой ты не поэт!

Сергей тихонько посидел в зале и незаметно ушел.

В августе 1976 года была организована поездка писателей на теплоходе по рубцовским местам. И удивительно: всего десять лет назад Рубцова почти не знали, а теперь на теплоходе ехали люди из самых разных уголков страны: Глеб Горбовский из Ленинграда, Валентин Устинов из



Петрозаводска, Евгений Евтушенко из Москвы, были гости из Днепропетровска, с Урала, из Минска... Большинство вологодских писателей, в том числе и Василий Белов, тоже ехали на агиттеплоходе «Буревестник». В качестве специального корреспондента «Красного Севера» довелось участвовать в этой поездке и мне, причем «висело» на мне одно щекотливое поручение. Близкий друг по Липину Бору Леонид Каламаев попросил взять у Белова автограф для себя и для своего однокашника. Леонид работал судьей, а приятель его – начальником тюрьмы где-то на Волге. Зная отношение Василия Ивановича к власти предрержащим, в том числе и судебным, я подошел к нему с книгами не без робости. Вопреки ожиданиям, он отнесся к моему поручению с юмором:

– Начальник тюрьмы? Интересно! Ну что ж, пора и такие знакомства заводить!

И подписал обе книги. Это был роман «Кануны», только что вышедший отдельным изданием в издательстве «Современник». Книгу эту ждали, расхватали мгновенно, но у меня ее еще не было, удалось «достать» лишь зимой, так что автограф на этой книге я получил только в следующем году: «Василию Елесину с пожеланием большей житейской смелости и удачи. Белов. 25.1.77 г.». Есть у меня авторский автограф и на втором издании «Канунов» («Молодая гвардия», 1988 г.): «Васе Елесину, давнему товарищу. Желаю успехов и здоровья. Белов».

В памятном 1977 году состоялась премьера пьесы Белова «По 206-й» в областном драматическом театре. Придинок и страхов и у театральных деятелей, и у работников обкома, а также управления культуры было много. Они добились-таки, чтобы Белов снял заключительную, финальную реплику пьесы: «И куда это они все едут?».

После окончания спектакля в вестибюле Василий Иванович спросил:

– Ну, как тебе?

Я был потрясен. Сказал:

– Да... Вывернул ты наизнанку всю нашу бюрократию!

Белов нахмурился:

– Тебе так показалось? Вообще-то я не это хотел сказать...

Лично меня задел в спектакле один момент, когда журналист цитирует слова Некрасова: «Умрешь не даром, дело прочно, когда под ним струится кровь». Сразу вспомнилась первая встреча с Беловым, письмо, которое прочел ему тогда, – там ведь тоже цитировались эти слова, хотя и совершенно по другому поводу. Я тут же спросил, есть ли какая-то связь между тем письмом и сценой в спектакле, где некрасовские стихи произносит журналист, весьма отрицательный тип.

– Да ты что, Вася! – искренне удивился Белов. – Экая у тебя манера – все к себе примеривать!

Работал я в то время заведующим отделом культуры в «Красном Севере». Как-то редактор упрекнул, что для «Литературных страниц», которые выходили ежемесячно, я подбираю в основном молодых авторов, что редко появляются на страницах газеты Астафьев и Белов.

– Их же сокращать да править нельзя. Вы уверены, что не попадете впросак?

Цветков задумался.

– Так-то оно так, риск есть, что дадут отрывки, которые печатать нельзя, но тогда уж объясняться с ними придется тебе. В общем, имена нам нужны, но гляди, чтобы не попасть в неудобное положение...

Он меня попросту подставлял. Опубликуешь что-то острое – редактору сразу нагоняй в обкоме, а то и партийный выговор, так что все, под чем стояла подпись Белова, редактор прочитывал чуть ли не с лупой в руках и нередко «заворачивал». С другой стороны, «гладить по шерстке» Белов никогда не умел, его статьи всегда заставляли поеживаться власть имущих. В любом случае я оказывался «стрелочником»: сдам острый материал – получу нагоняй от редактора и из обкома. А если его «зарубит» редактор – еще хуже, потому что Белов обидится и больше уже ничего для газеты не даст, да и ко мне станет относиться по-другому...

Белов в то время возвратился из Франции. Я позвонил, попросил для газеты отрывок из его новых рукописей.

– Да нет у меня сейчас ничего! – отнекивался Василий Иванович.

– Но я знаю, что у тебя не опубликована целая документальная повесть «Раздумья на родине». Дай отрывочек оттуда!

– Нет. Эту повесть из журнала пересылали Дрыгину, а он вообще запрегил ее печатать. Нет ничего.

– Тогда, может быть, дашь интервью о поездке за границу?

– Ну что ж... – неохотно согласился он. – Заходи.

Я пришел на квартиру Белова, захватив с собой магнитофон: надежнее, когда ответы на вопросы записаны на пленку, меньше риск ошибиться или извратить мысли автора.

– А это зачем? – спросил Василий Иванович, показывая на магнитофон.

– Для точности.

– Убери, а то вообще говорить не буду.

– Хорошо. – Я достал блокнот и авторучку.

– И записывать ни к чему. Что ты, так не запомнишь, что ли?

Вернувшись в редакцию, я по памяти восстановил ход беседы, придав ей форму интервью. Когда все было написано, вернулся показать Белову. Он внимательно прочел и вдруг начал черкать строчку за строчкой. Приведу для примера один отрывочек. У меня написано:

«Что было интересного в других поездках? Побывал на Алтае, на родине Василия Макаровича Шукшина, с которым мы довольно часто встречались при его жизни, дружили».

Василий Иванович поправил так:

«Вспоминаются и другие поездки. Летом был на Алтае, на родине Василия Макаровича Шукшина». И все.

Многое он сократил, зато сам дописал большой кусок, в котором говорится об организации животноводческих комплексов в Молдавии. Сам предложил и последний вопрос, правда, не по теме: о молодых литературных силах в области. Как говорится, сам спросил, сам и ответил:

«Вологодским читателям пока мало известно имя Александра Швецова, поэта из Сокола. Как мне кажется, стихи его достигли того художественного уровня, когда их можно и необходимо издать отдельной книгой. Глеб Текотев – тоже из Сокола – обладает, на мой взгляд, незаурядными способностями прозаика. Он хорошо знает наш северный быт, язык, много видел и помнит. К сожалению, у Текотева еще недостает чисто литературного опыта, его художественный вкус еще формируется. Долг писателей постарше помочь таким людям, как Г. Текотев и А. Швецов, крепче и быстрее встать, как говорится, на свои ноги».

Это интервью с правкой Белова было опубликовано в «Красном Се-

вере» 6 февраля 1977 года, а рукопись с его поправками хранится в моем архиве. В ней, в частности, есть такой вопрос: «Читатели ждут продолжения «Канунов»...

Ответ Белова (до правки):

«Продолжения не будет. «Кануны» – роман о годах, предшествовавших коллективизации на Севере, и не требует продолжения, если вести речь именно об этих годах. Другое дело – роман о коллективизации, над которым я собираюсь работать. В нем сохранятся некоторые герои «Канунов», но, в сущности, он станет не их продолжением, а отдельной книгой.

– Как будет называться книга?

– Условное название – «Судные дни».

Во время правки Василий Иванович перечеркнул свой пространственный ответ на первый вопрос и заменил его двумя словами: «Нужно время».

И еще памятно. Когда Белов сказал, что намеревается назвать роман «Судные дни», я невольно заметил:

– Вряд ли опубликуют...

– Какое мое дело! – вспыхнул он. – Опубликуют, не опубликуют, а писать-то все равно надо. Никто за нас не напишет...

Это было у него часто: если автор неоконченной вещи сетовал на то, что ее трудно будет «протогнуть», Василий Иванович говорил:

– Это не твое дело! Твое дело писать. А опубликуют, не опубликуют – какая разница? Потом опубликуют!

Конечно, подобные речи не очень-то утешали писателей, которые перебивались с хлеба на квас. Потратить несколько лет изнурительного труда, чтобы вслед за тем положить рукопись в стол – такая перспектива не всех устраивала... Впрочем, сегодняшнее положение писателей еще хуже.

С годами Белов все неохотнее давал газете для публикации отрывки из своей прозы. Однажды, когда я особенно настойчиво просил рассказ или отрывок из повести, он вскипел:

– Да нету, русским языком тебе говорю! Ей-богу, хоть садись да пиши чего-нибудь для «Красного Севера»!

В 1978 году появился в продаже сборник его рассказов «Гудят провода». О нем, а также о «Рассказах о всякой живности» написал я небольшой отзыв, опубликованный в газете 11 октября того же года. При встрече Василий Иванович крепко пожал руку:

– Спасибо тебе за рецензию.

Весна и лето семьдесят восьмого были для писателя беспокойными: шли съемки фильма по его киноповести «Целуются зори». Белов не раз жаловался, что работа над сценарием и съемки измотали ему все нервы. В середине ноября состоялась, наконец, премьера фильма в Вологде. Многие были недовольны тем, что режиссер Сергей Никоненко «приделал» к повести оптимистичный и вовсе несуразный конец, показав в качестве «новой деревни» какой-то леспромхозовский поселок. Василий Иванович, который в общем-то остался доволен и игрой актеров (особенно великолепен был Сабуров в роли Егоровича), и режиссурой, прямо указал на «пристегнутый» к фильму «хвост» как портящий картину.

– Прошу считать, что фильм кончается там, где герои садятся на паром, чтобы ехать в деревню, – сказал он, выступая перед премьерой фильма в кинотеатре «Ленинского комсомола».

Мне довелось писать рецензию на «Целуются зори». В ней, в частности, говорилось:

«В фильме нет противопоставления города деревне: есть разница между ними, разница быта, психологии, привычек людей города и села. И, всматриваясь в эту разницу, высветленную, поданную, как говорится, «крупным планом», невольно задумываешься: а ведь в фильме не просто забавные приключения, он взывает к лучшим чувствам людей. Доверие и доверчивость, простота души и скромность, желание добра тем, кто рядом с тобой. Не теряем ли мы эти качества в повседневной суете городских будней?».

Буквально через несколько дней после выхода этой рецензии мне позвонил Саша Рачков и сказал, что Белов ищет магнитофон, чтобы послушать некоторые записи.

– Давай отнесем ему домой, – предложил я.

Пришли мы к Василию Ивановичу в недобрый час: он только что вернулся с похорон вологодского художника Шваркова, утонувшего на рыбалке, был угрюм и неразговорчив. Наладили магнитофон, поставили пленку, на которой была записана игра Николая Рубцова на гармошке. И постепенно лицо Василия Ивановича светлело, прояснялось. Сам неплохой гармонист, он любил и умел понять хорошую игру, тем более игру трагически погибшего друга. Очень нравилась ему также игра Саши Рачкова – она была виртуозной.

– Пленку с записью твоей игры я хочу послать композитору Гаврилину, – сказал он Саше. – А еще одну пленку с записями в деревнях, которые сделал областной Дом народного творчества, надо бы переписать для себя. Мне для пьесы нужно.

Пленку для Белова мы переписали, магнитофон оставили у него. Через два дня Василий Иванович позвонил мне в редакцию:

– Никуда не уйдешь? Занесу тебе магнитофон.

– Заходи. Кстати, и Саша Рачков здесь.

Речь зашла о записях старинных песен, сказок, легенд.

– Не записано еще много! – посетовал Василий Иванович. – Мне недавно легенду рассказали, как Петр Первый с солдатом в кабаке встретился. Ну, сели за стол, стали пить. Деньги кончились. Солдат и говорит: «Давай саблю пропьем!» Он ведь не знал, что с царем сидит. «Давай!» – Петр отвечает. Пропили саблю. На другой день Петр назначил смотр, чтобы поймать солдата без сабли. А тот выстрогал себе деревянную и стоит.

– Вот что, друг, отруби-ка ты саблей голову своему полковнику! – приказывает Петр.

Солдат притворился, что неохота ему голову полковника рубить, взмолился:

– О, Господи! Преврати ты мою саблю на сей час в деревянную!

И вытаскивает из ножен деревянную саблю. Петр солдату за находчивость приказал выдать сто рублей и новую саблю.

– А слышали притчу, как правда с кривдой обедали? – улыбнулся Василий Иванович, прищуривая свои пронизательные глаза.

– Нет...

– Встретились правда с кривдой, пошли в ресторан. Попили, поели, надо рассчитываться, а у правды, как всегда, денег нет. Кривда и говорит: «Не расстраивайся, все сделаем!» Заметила, как рассчитываются

за соседним столиком, номера купюр запомнила. Подошел официант, а кривда ему: «Мы уж рассчитались, могу сказать, какими деньгами». И называет номера купюр. Официант – за милиционером. Приходит милиционер: «В чем дело?» – «Да мы рассчитались, вот и номера купюр такие-то». Милиционер на официанта: «Ах ты, плут!» Официант за голову хватается: «Господи, да где же правда-то?» А правда глаза опустила и шепчет: «Я-то тут, да ведь я тоже вместе с ней ела...»

– Надо собирать такие вещи, – заключил Василий Иванович. – Собрать бы да издать отдельной книгой!

Беседе, к несчастью, помешал невесть откуда взявшийся поэт Игорь Тихонов, вдрызг пьяный, шумный и не в меру фамильярный. Он сразу напустился на Белова:

– Вася, ты чего не берешь читать мою повесть?

– Да что толку-то, если я прочитаю? В лучшем случае могу позвонить в редакцию, чтобы там посмотрели без очереди.

– Ну, хоть бы сказал, получилось или нет!

– А это ты сам должен чувствовать. Я всегда чувствую, если вещь получилась.

Он встал, распрощался и ушел. Я знал, что в эти дни Белов работал над новой пьесой. А через несколько дней снова встретил его в коридоре редакции.

– Рукопись вот принес машинисткам перепечатать.

– Пьеса?

– Пьеса, – неохотно ответил он. – Да это черновой вариант. Работать еще надо, работать! – махнул он рукой, спускаясь по лестнице. Приносил он, как оказалось, рукопись сказки «Бессмертный Кощей».

Я смотрел ему вслед, низенькому тощему человеку с рыжевато-седой бородой и пронзительными серовато-голубыми глазами, который так много стал значить для всех нас, для России. Вспомнил, как он, уходя из моего кабинета, сказал Игорю Тихонову:

– Я бы запретил продавать для вас водку. Работать надо!

Сам он работал необычайно много, подозреваю, что и спал-то он не больше шести часов. Если во время сидения в архивах, в библиотеке попадалось ему что-то незаурядное, чем хотелось бы заняться, да время не позволяло, он попросил взяться за это дело знакомых или друзей. Скажем, в декабре 1978 года я получил от него коротенькую записку: «Василий, займись сам этим делом и поручи кому-нибудь. Интересно же! Может, в Тотье кто? Или Багров? У меня-то нету времени на это... Белов».

К записке была приколотая крохотная заметка «Предания о Ермаке» преподавателя вологодского пединститута Наумова. В заметке со ссылкой на «Вологодские епархиальные ведомости» за 1899 год высказывалась мысль, что Ермак мог быть тотмичом. Я попросил заняться этой темой Александра Грязева, писателя, историка по образованию, и 29 декабря в «Красном Севере» появилась его статья «Ермак Тимофеевич – воложанин?», в которой хотя и не доказывалась подлинность рождения Ермака в Тотье, но было приведено немало любопытных фактов в пользу этой гипотезы.

Второго января 1979 года в редакцию заглянул Саша Рачков.

– Сходим, проведем Белова? Говорят, болеет...

Предварительно позвонили.

– Давай, заходите! – пригласил Василий Иванович.

Встретил он нас с загипсованной рукой. Мы встревожились:

– Что случилось?

– А тридцатого декабря, в самый-то мороз (морозы тогда стояли под сорок), шли из театра с главрежем Дроздовым. Я еще в театре апельсинов купил, несу под шубой, рукой придерживаю. И вздумалось зайти на почтамт, телеграмму подать. А ступеньки там скользкие, поскользнулся, упал прямо на руку – только хрустнуло! Боль адская. Гипс вот наложили, теперь шесть недель нельзя снимать. Все дело встало из-за этой руки. Надо бы расклейку детской книжки сделать для Архангельска, а не могу. Да и не все рассказы есть. Надо бы «Око дельфина», оно у меня только в «Холмах», а «Холмы» всего в одном экземпляре, придется перепечатывать...

И неожиданно обратился к Рачкову:

– Иди ко мне в секретари! 150 рублей каждый месяц буду платить. Очень много технической работы, прямо погряз в ней...

– Жил бы в Вологде, так с великим бы удовольствием!

В то время Рачков жил еще в Соколе, хотя уже устроился работать уполномоченным агентства по охране авторских прав по Вологодской области.

– Давай мы сделаем тебе эту расклейку! – предложил он.

Я взялся перепечатать «Око дельфина», правда, перепечатывать не пришлось, нашелся другой вариант.

Незадолго перед тем работал я в госархиве над дневниками и записными книжками своего земляка Александра Тарасова и рассказал несколько эпизодов из дневников Василию Ивановичу.

– Незаслуженно забытый писатель, – сказал он. – И проза у него хорошая. Надо, чтобы кто-нибудь капитально занялся этим архивом. Сам все собираюсь посмотреть, да время жмет.

Он предложил нам остаться пообедать. Садясь за стол в кухне, где его мать, Анфиса Ивановна, разогревала суп, я обратил внимание на натюрморт над столом, где были изображены печенье, конфеты и открытая банка распространенного тогда хека.

– И хека увековечили! – улыбнулся я.

– А как же! – живо отозвался Белов. – Еда русского народа!

– Советского? Ведь до революции такой рыбы не знали!

– Нет, русского! Грузины хека не едят.

За обедом я напомнил Василию Ивановичу, как он угощал нас с Рачковым луком, когда мы возвращались из Ленинграда.

– А у меня тогда редко что и водилось, кроме лука. Сейчас вот прошу иной раз луку – допроситься не могу!

Буквально через день, четвертого января, Вологда отмечала 75-летие писателя В. С. Железняк. Принимали Железняки в своей двухкомнатной квартире по-старомодному: гости приходили с визитом, сидели минут десять-пятнадцать и откланивались. Однако мне удалось услышать тост, поднятый Беловым. Обращаясь к Железняку, он сказал:

– Мы, интеллигенты в первом поколении, всегда завидовали вам, носителям высокой культуры, впитанной, так сказать, с молоком матери. Вы, Владимир Степанович, очень многому учите нас, учите настоящему понимать и любить великое наследие русского дворянства...

В начале февраля 1979 года состоялось общее собрание Вологодской писательской организации. Александр Романов, только что вернув-

шийся из поездки в Петрозаводск, где проходила редколлегия журнала «Север», рассказал о плане журнала на год, о том, что запланирована публикация пьесы Белова «Бессмертный Кощей». Пьеса, кстати сказать, в «Севере» так и не появилась, по слухам, против ее публикации восстал Карельский обком партии. Потом речь зашла о романе Глеба Текотева «Серафима».

Глеб Текотев – оригинальная фигура в тогдашнем литературном мире Вологодчины. Инвалид с детства, он работал в одном из сокольских техникумов, а писал «для души», то есть в стол. Возможно, мы бы никогда и не услышали о нем, если бы Александр Рачков не попросил у него почитать некоторые рукописи. Они произвели впечатление не только на Рачкова, но и на Белова. И началось прямо-таки триумфальное шествие: публикация рассказа в «Красном Севере», в журнале «Наш современник», читка по Всесоюзному радио, подготовка книжки в Архангельске, переговоры с издательством «Современник» о книге в Москве...

Взлет был стремительный, но, к сожалению, недолгий. Текотев тяжело заболел, рак в полгода скрутил его. Мы с Сашей Рачковым и опустили его гроб в могилу, – было это незадолго до выхода в свет первой книги Глеба «Серафима».

Но тогда, в начале 1979 года, Глеб был здоров и деятелен. На собраниях говорили о втором, переработанном варианте его романа. Романов предложил Белову прочесть этот вариант.

– Зачем? – поморщился тот. – Я ведь читал первый вариант. Глеб – серьезный человек, сам разберется, где хорошо, где плохо. Не надо воспитывать иждивенческие настроения у серьезных писателей!

Глеб пожаловался на невнимательность издательств, на то, что уйма денег уходит на перепечатку рукописей. Василий Иванович вспылил:

– А ты как думал? Ты знал, на что идешь! Не надо было соваться в литературу, раз денег на перепечатку жалеешь!

С годами Белов все непримиримее относился к литераторам, у которых замечал несерьезное отношение к литературе. Да это и понятно: сам он отдавался творчеству без остатка, видя в литературе одно из средств улучшения жизни крестьянства путем создания соответствующего общественного мнения. «Наше оружие – перо и бумага!» – любил повторять он. Отсюда рождалось и его отношение к молодым литераторам. Вспоминается семинар молодых, который состоялся в конце сентября 1979 года в вологодском пединституте. Секцией прозы на семинаре руководили Василий Белов и Виктор Астафьев. Приехали и москвичи, но не из-за семинара, а потому, что в эти дни проводились Дни поэзии Николая Рубцова.

Разбирая прозу молодого инженера из Тотьмы, Василий Иванович спросил:

– Почему вы написали рассказ об охоте?

– Я сам охотник.

– Я – столяр, допустим, – улыбнулся Василий Иванович. – Что же, мне все о деревообработке писать?

– Вот и написал «Плотницкие рассказы!» – вмешался Иван Полуянов. Раздался смех.

– Я о чем говорю? Сейчас многие авторы, в том числе и молодые, пишут на ровном литературном уровне, почти профессионально. Но сколько авторов, идущих от литературщины, сколько штампов! Или

вот у вас слово «будя». Да что это за «будя» такая? Неужели в Сибири сплошь и рядом так говорят? А хоть и говорят, все равно часто употреблять нельзя, ведь штамп и в прямой речи – все равно штамп. И вообще писателю надо выработать свой стиль, не поддаваться влияниям. Годами, упорно выработать. Посмотрите: ведь у Бунина нет штампов. И у Булгакова нет, и у Платонова. Литература – она вся из новизны: и в мыслях, и в словах, и в ситуациях.

Дальше. Повесть называется «Русский медведь». Название претенциозное. Но продолжу свою мысль о штампах. Опасность повторения существует и у профессионалов: повторяешь то ли своего собрата, то ли классика, а то и самого себя. Можно повториться не только в разных вещах, а и в одном рассказе. Тут говорили об этюдности, о Пришвине. Из-под Пришвина тоже надо вылезать. Писатель должен вырваться из-под любого влияния, выработать свой стиль. Без своего стиля нет писателя. Он должен вылезать и из-под самого себя, если чувствует, что начал повторяться.

И еще хочу сказать: писателю нужна смелость, мужество, риск. Без этого нельзя найти стиль, даже тему нельзя найти.

Смелость нужна и в самом творчестве, – говорил Белов. – Я считаю, что каждый большой художник был смелым – прежде всего. Надо добиться раскованности, внутренней свободы. И еще – нужна настроенность на работу. Вот говорят, что Андрей Рублев, прежде чем начать что-то, сорок дней постился, и только тогда приходила свобода, раскованность, независимость внутренняя.

Об отношении к литературе. Некоторые относятся к ней как к забаве, развлечению, наслаждению. Но без мужества, труда и терпения это наслаждение мелкое. Я призываю к серьезному, а не развлекательному отношению к литературе. Сам выбор пути уже накладывает на литератора серьезную ответственность.

Литературный вечер памяти Николая Рубцова состоялся в тот же день. И там разговор шел не только о поэте, но и о литературе и о судьбе людей, делающих литературу. Как всегда, выступления Белова ждали. Оно было коротким, но впечатляющим.

– Меня всегда поражает одно обстоятельство, – сказал Василий Иванович. – Вот были мы на пятидесятилетии Шукшина. Взглянул я на толпу и ужаснулся: сколько людей, оказывается, любит мертвого Шукшина! Почему же живого-то не замечали, а иногда еще и гадости ему делали? И с Рубцовым то же. Многие его просто не замечали. Один из высокопоставленных областных деятелей однажды так выразился:

– А может быть, это и к счастью, что он погиб!

Странно все это...

Летом я был в Англии, так поразился, что там Ганина и Рубцова знают лучше, чем у нас в стране. Недавно один из литературных критиков, с которым я в Англии познакомился, прислал письмо с просьбой выслать кое-какие материалы о Рубцове – собирается писать о нем книгу. Надо бы и у нас как-то шире пропагандировать и жизнь его, и творчество.

На следующий день продолжался семинар молодых. Я опоздал, пришел, когда Белов уже заканчивал свой обзор, а потом начал отвечать на вопросы.

– Скажи, как ты вошел в литературу? – спросил его Олег Коротаяев (брат поэта Виктора Коротаяева).



– Ну что это за слово – «вошел? Войти можно в комнату. В кухню можно войти... Я начинал со стихов. Стихи стал писать со скуки. Сидел в колхозной конторе счетоводом и от скуки писал. В ФЗО пошел со скуки... А образования настоящего не получил. До сих пор не читал, например, историю западную.

Единственно, в чем я убежден, так это в том, что только человек нравственный может что-то сделать в литературе. Кто не помучается своими вольными и невольными грехами – тот не писатель. Ну, хватит об этом. Помог вам хоть чем-нибудь наш семинар?

– Еще бы! – отозвался Глеб Текотев. – Вообще помощь нам нужна постоянно. Я вот, когда роман начинал писать, не знал даже, где абзацы ставить...

– А теперь-то хоть знаешь? – засмеялся Белов.

– Теперь – другое дело!

– Не скажи! – Василий Иванович снова нахмурил широкие брови. – Учиться надо постоянно. Вот, например, как ставить знаки препинания, если в прямой речи передается диалог? То есть диалог передает рассказчик?

Заспорили. Вскоре спор ушел далеко в сторону, коснулся соответствия личности писателя его произведениям. Белов вмешался:

– Я расскажу об одной встрече с Колей Рубцовым. Как-то в Литинституте, поздно ночью, после двенадцати, я шел по коридору и встретил Рубцова. Был он в валенках, в замызганном пиджачишке, пригласил: «Пойдем, чаем напою». Пришли к нему, стали пить чай. «Хочешь, я стихи почитаю?» – спросил Рубцов и начал читать. «Кто это? Пушкин?» – спросил я. Он ничего не ответил, как-то ушел в себя. А стихи-то были рубцовские, помните, там есть строчки:

Горел печальный наш костер,  
Как мимолетный сон природы...

Наверное он обиделся, что я его с Пушкиным спутал... Но что хочу сказать: Рубцов не совпадал внешне со своими стихами. Вот Евтушенко совпадает, а Рубцов не совпадал...

Перед Октябрьскими праздниками Саша Рачков занес мне верстку очерковой повести Белова «Раздумья на родине», которую долго мариновали в журнале «Дружба народов», но опубликовать так и не решились. Я прочел верстку. Горько, но честно, как все у Белова. В полном смысле слова – раздумья на родине и о Родине. Выбрал отрывок для газеты, перепечатал даже, но не будешь же публиковать без согласия автора? Решил позвонить.

– Тут мне Саша Рачков верстку твою отдал, просил тебе переправить.

– Что уж он, сам-то не может занести?

– В командировку уехал. А у меня мысль – перепечатать кусочек.

– Нет. Не надо.

– Не надо так не надо. Занесу завтра.

На второй день пришел к Белову, дверь открыл сам Василий Иванович:

– Давай, проходи.

– Я на минутку. Раздеваться неохота.

– Проходи так! Чего раздеваться-разуваться! Кто это придумал? Никогда в русских избах не разувались. Вот скажи: для чего?

– Чтобы хозяйке меньше работы. Грязно же на улице!

– А! Ерунда все это! Какой ты отрывок-то хотел?

– Где о председателе речь.

– Ни к чему. Как книга-то?

– Хорошая книга. Честная.

– Я ее три раза переделывал по требованию редакции. Вставлял даже куски хвалебные, думал, пройдет. Ко мне ведь дважды приезжали: Баруздин и этот зам его, армянин... Тер-Акопян. Надоело, забрал обратно. Из Харовска меня выгнали тогда.

– Да почему не печатают-то? – удивился я, – что тут криминального? Все ведь – правда!

– Они, может, и напечатали бы, если бы не наши. Из обкома звонили в журнал. Все это ладно, не печатают – и не надо, пусть лежит. Уберу все вставки, восстановлю в прежнем виде. У меня ведь тут были еще факты, цифры, взятые из нашей же печати: как после войны, в сорок пятом году отправляли из России продовольствие в Германию. Не успело оружие остыть, из которого они по нам стреляли, а мы им – мясо, масло, хотя свой народ с голоду пухнул...

– Пусть лежит, – продолжал он спокойно. («Раздумья на родине» вышли в журнале «Наш современник» в 1985 году, а в 1986 издана книга под одноименным названием. – В. Е.).

– Вот сказку не опубликовали – жаль!

Да, «Бессмертному Кощею», прежде чем стать широко известным, тоже пришлось пройти долгие мытарства. Сказка увидела свет в журнале «Театральная жизнь» лишь несколько лет спустя. Первым поставил ее на сцене самодеятельного театра в Череповце Равик Смирнов.

– Куда Рачков-то уехал? – спросил Василий Иванович.

– В Ленинград.

– Я скоро в Финляндию поеду, тоже через Ленинград. А ты на меня не обижайся, просто нечего дать в газету.

– Да я и не обижаюсь. Работа у меня такая, цыганская.

– Молодых надо больше печатать.

– Что и делаем.

– Кстати, у меня сейчас рассказы Драчева – возьми один. Свяжись только с ним.

Он сам написал адрес Драчева, пристально взглядываясь в бумажку на письменном столе, потом взял очки:

– Вот дожил: без очков уж и писать не могу. Только ты сообщи Саше Драчеву, если будешь сокращать или публиковать. Так положено. Да врезку напиши.

– Может, сам напишешь?

– Некогда мне! – поморщился Белов. – Я вот его рассказы повезу в «Молодую гвардию», там врезку сделаю.

Я взял рассказ и попрощался.

– Ты извини меня, – сказал Василий Иванович, провожая меня в прихожую. – Я сегодня в таких расстроенных чувствах, что... И надоело все, и семейные всякие неурядицы...

Глубокий беловский взгляд, глаза почти из одних зрачков, а в них – страшная усталость...

Через некоторое время после моего возвращения в редакцию раздался телефонный звонок:

– Вася, это Белов. Саша Драчев как раз пришел ко мне. Ты можешь его принять?

– Конечно!

– Зайдет, обо всем договоритесь. Ну, пока.

Вскоре пришел Драчев – молодой, коренастый, крепкий. Жил он в Северодвинске. Вместе выбрали отрывок из рассказа, распрощались. А через несколько дней я получил письмо от Василия Ивановича с врезкой к драчевскому рассказу:

«Прошедший недавно областной семинар молодых литераторов порадовал вологжан появлением новых имен, еще не известных широкой общественности. Особенно приятно то, что большинство участников семинара люди действительно молодые, не перешагнувшие тридцатилетний рубеж. Среди них выделяются такие прозаики, как Олег Ларионов (вологжанин) и Александр Драчев (уроженец Великоустюгского района). Молодость в литературе, как и везде, предоставляет человеку свои преимущества и свои опасности. Преимуществ не так уж и много, а вот опасностям, как говорится, несть числа. Сегодня хочется пожелать Александру Драчеву удачи на литературном пути, чтобы он не надорвался раньше времени, укрепил свое мужество и развил талант, данный ему природой. В. Белов. 16.11.79 г.»

Белов никогда не чурался публицистики и не очень его волновало, где опубликована та или иная его статья: в «Правде» или в областной молодежной газете – была бы польза. Он мог решительно отказать в интервью солидному столичному изданию, если не видел в том пользы для народа, и тут же написать свои соображения по поводу какой-то проблемы, скажем, для «Вологодского комсомольца». Так появилась, например: его заметка «Без стыда» по поводу фильма «Странная женщина», опубликованная в молодежной газете и написанная специально для нее. Знать бы ему тогда, что припасает жизнь на будущее, до какого бесстыдства дойдут кинематографисты в девяностые годы!

Зимой, в начале 1980 года, на писательском собрании принимали в члены Союза писателей Сергея Багрова, который перебрался в Вологду намного раньше меня и уже выпустил несколько сборников хороших рассказов. На собрание приехали редакторши Северо-Западного книжного издательства Урушева и Лиханова. После собрания, где за Багрова проголосовали единогласно, на столе появились водка, коньяк. Выпили, посидели, но совсем недолго. Речь зашла о мастерстве писателя в разных жанрах.

– Писатель должен уметь все! – сказал Василий Иванович. – Должен владеть всеми жанрами, если он настоящий писатель.

Я возразил, что жанр – не главное, было бы что писателю сказать.

– Ну, это само собой разумеется!

Вскоре Белов поднялся, стараясь не привлекать внимания, надел шубу, тронул за плечо Сергея Чухина:

– Сережа, проводи меня.

Кивнул мне:

– И ты тоже.

В коридоре к нам присоединился поэт из Грязовца Коля Дружининский.

– Надо бы еще посидеть, – сказал Василий Иванович, когда мы вчет-

вером вышли на улицу. – Да не могу я видеть этих архангельских баб, тошно с ними и разговаривать. Пошли в ресторан.

В ресторане «Нептун» заговорили, как всегда, о наших неурядицах, о том, что накипело на душе.

– Нет, надо что-то менять, – вырвалось у меня.

– Менять надо самих себя. В этом главное, – заметил Белов.

– Об этом «главном» говорят с сотворения мира. Но даже Лев Николаевич с его теорией самосовершенствования ничего не смог сделать. Все враз люди никогда не изменятся.

– Да зачем людей-то переделывать? – удивился он. – Давайте переделаем хотя бы самих себя. Вот начни с сегодняшнего дня, а через десять лет встретимся и скажешь, прав я был или нет. Ты Ганди читал? – неожиданно спросил он.

– «Моя жизнь»? Читал. Так ведь и у него все то же: не пей вина, не ешь мяса, берегись женщин...

– Ну, значит, давно читал или ничего не понял!

В тот вечер я упомянул в разговоре Салтыкова-Щедрина, вернее, его рассказ «Совість».

– Не говори ты мне об этом подонке! – неожиданно вспыхнул Белов.

Мы вышли из ресторана, проводили Чухина и Дружининского до такси. Сами пошли пешком, благо недалеко. Василий Иванович упрекнул меня, что в газете иногда пишу, не вдумываясь в смысл написанного.

– Материал об открытии ТюЗа ты давал?

– Я...

– Чего ж ты написал, что здание Пушкинского дома в Вологде было в 1906 году разрушено черносотенцами? Ты что, в самом деле так думаешь?

Чувствуя, что краснею, я пробормотал:

– Да ведь во всей литературе по истории Вологды так написано.

– Мало ли что напишут! Думай! Меня тоже скоро черносотенцем звать станут, так ты и этому поверишь? Если ставишь свою подпись в газете, так ее надо уважать...

Вот и получил я очередной беловский урок...

Начало восьмидесятых было триумфом для авторов печально известного проекта переброски северных рек, «проекта века», по словам Алексанкина, возглавлявшего в ту пору «Главнечерноземводстрой». Василий Белов сразу и безоговорочно выступил против проекта: писал письма с протестами, статьи, которые оседали в архивах редакций, добивался аудиенций у самых высокопоставленных деятелей. А меж тем, хотя проект еще не был утвержден Госпланом и Совмином, Министерство мелиорации и водного хозяйства создало в Вологде управление по переброске части стока северных рек, а также два производственных участка: в Никольском Торжке и в Каргополе. После того как участки начали работу, у многих противников переброски опустились руки: что можно сделать, коли переброска, по сути дела, уже началась? У многих, но не у Белова.

Весной 1981 года состоялась областная отчетно-выборная партийная конференция. В числе других сотрудников газеты я тоже должен был освещать работу конференции. Белов же был делегатом и, кроме того, членом обкома партии.

После доклада Дрыгина Василий Иванович перебрался на самый верхний ряд конференц-зала, где разместили прессу, сел рядом со мной. В руках – пачка газет. Развернув одну, углубился в чтение какой-то статьи. Потом толкнул меня локтем:

– Смотри, генерал хвастает, как здорово он воевал. У него в армии отец мой служил. Убили. Я потом разбирался в архивах – бездарно воевал генерал-то. Людей у него в армии не жалели.

На конференции присутствовал уже упоминавшийся заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР Алексанкин.

– Давай пошлем ему записки, спросим: куда планируют они перебросить первую воду и какой урон принесет области это дело? Надо всеми силами восстанавливать общество против этого безобразия.

– Работы уже ведутся, каналы копают, чего теперь сделаешь?

– До конца надо воевать. Ты что, хочешь, чтобы всю область залили?

– Ясное дело, не хочу, да какой толк от записок?

– Все возможности использовать надо!

Записки в президиум на имя Алексанкина мы послали, но ответил на них первый секретарь обкома Дрыгин, на обе сразу:

– Тут вот спрашивают, как дальше пойдет дело с переброской воды с севера на юг. Двух мнений быть не может: юг задыхается без воды, а у нас ее избыток. Поделимся...

Все здесь было неправдой. Как показали позднее опубликованные данные, уровень Каспия к тому времени уже повышался, а черноземы уже засолялись от переувлажнения. Несмотря на это, авантюра с переброской продолжала набирать силу, и приостановить ее удалось лишь через пять лет, не без активнейшего участия В. И. Белова.

Референт вице-президента Академии наук СССР Яншина, руководитель лаборатории биосферных явлений доктор наук Ф. Я. Шипунов, выступая в нашей писательской организации, назвал проект «экологической бомбой замедленного действия». Он лично возглавлял экспедиции на юг и на север страны, изучавшие обоснованность проекта. Писатели-вологжане были буквально потрясены результатами работы экспедиций. Проект, стоимость которого превышала сто миллионов рублей, не приносил стране ничего, кроме колоссального вреда. Засоление черноземов означало вывод их из сельскохозяйственного оборота уже через семь-десять лет. В Архангельской и Вологодской областях предусматривалось затопить тысячи гектаров сельхозугодий, лесов, предстоял снос множества городов, деревень и поселков. Изменялся весь гидрологический, природообразующий, климатический комплекс. Наша область, вероятно, оказалась бы в условиях круглогодичного паводка, то есть на полях не стали бы созревать даже скороспелые культуры.

А отдача? В 107 томах технико-экономического обоснования проекта не было даже мало-мальски внятного расчета, какую прибавку урожайности на юге страны можно дать от реализации «проекта века».

Искать логику в настырной настойчивости авторов проекта казалось бессмысленным. Но логика была. Осуществление проекта обещало многие выгоды Министерству мелиорации и водного хозяйства, прежде всего от колоссального увеличения финансирования. Шкурные, личные интересы перечеркивали интересы общенародные. Понятно, что Белов не мог остаться равнодушным, понятна и его неутомимая деятельность по предотвращению беды, грозящей Северу России. Он писал статьи, кото-

рые не публиковались, но какими-то странными путями просачивались на Запад. Выступая в редакции газеты, тогдашний шеф Вологодского отделения КГБ показал нам парижскую эмигрантскую газетку «Посев», где была опубликована статья Белова «Спасут ли Каспий Воже и Лача?», хотя автор ни сном ни духом не ведал об этой публикации.

Не имея возможности выступить в открытой печати, Василий Иванович клеймил проект с трибун писательских съездов, призывал к борьбе ведущих писателей страны. И правда восторжествовала. В 1986 году специальным постановлением Политбюро работы по переброске северных рек были прекращены.

Незадолго до пятидесятилетия Белову была присуждена Государственная премия. По этому поводу он устроил небольшой банкет в отделе Союза писателей, которое располагалось тогда на улице Ленина, на четвертом этаже объединения «Вологдалеспром». Звучали речи, здравицы, как и водится в таких случаях.

К тому времени у меня появилась возможность на некоторое время уйти на «вольные хлеба», заняться только литературной работой. Но прежде чем решиться на это, я решил посоветоваться с Василием Ивановичем. Улучив минутку, спросил его мнение.

– По-моему, не надо тебе уходить из газеты. И не только из-за оклада. Ты уже умный человек. Вспомни, как у меня в «Кощее»:

Нахальство, как весенняя вода,  
Пустые поры прежде заполняет  
И лишь потом их пробует размыть.

Нельзя оставлять такие места, как твое, кому попало.

Пятидесятилетие Белова отмечали в Вологде. На торжественный вечер в областной драматический театр были приглашены многие крупные писатели: Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Феликс Кузнецов, Вадим Кожинов и другие.

Примерно через месяц после юбилея я начал собирать документы для вступления в Союз писателей, имея за плечами уже три книги прозы. Решил попросить одну рекомендацию у Белова. Позвонил ему уже вечером, попросил разрешения зайти.

– Заходи, конечно!

Пришли мы к нему вдвоем, вместе с критиком Василием Оботуровым. Разговор не клеился, и когда я заикнулся о рекомендации, Белов невольно уронил:

– Не очень-то смотрят в Москве на мои рекомендации. Кого порекомендую, того и зарубят. Ладно, напишу, в Союзе оставляю...

11 июня 1983 года Василий Иванович позвонил мне сам, причем где-то в девятом часу вечера:

– Надо бы встретиться, поговорить. Ты знаешь, где Рачков живет?

– Конечно.

– Приходи к нему и скажи, что я тоже сейчас приду.

Я быстро собрался и отправился к Рачкову, который жил в трех кварталах от меня. Василий Иванович пришел какой-то вздерошенный, взвинченный.

– Пошли в «Поплавок»! – неожиданно предложил он. – Лиана, одевайся!

– Да ведь поздно уже. Скоро десять... – робко пыталась возразить жена Рачкова, Ангелина Александровна.

– Ничего не поздно, самое время!

– Одевайся, Лина! – скомандовал Рачков, который, как никто, умел понимать Белова. – Не пустят в ресторан – по улице прогуляемся!

Погода мало располагала к прогулкам: накрапывал затяжной дождь, однако мы все же направились в речной ресторанчик «Поплавок», воспетый Рубцовым, где «на столе стоят цветы герани, и редко там бывает голос брани, и подают кадуйское вино...». У входа, как всегда в позднюю пору, стояла толпа подвыпившего народа. Белов протолкался к запертой двери, постучал. Открыла сердитая гардеробщица:

– Ну?! Чего ломитесь, чего надо?

– Пропустите меня на минутку. Я – Белов.

– А для меня хоть Чернов! – и снова захлопнула дверь.

Зашумевшая было публика притихла, некоторые узнавали писателя. Мы стояли позади Василия Ивановича как в воду опущенные. Он постучал снова, и когда разъяренная гардеробщица снова открыла дверь, строго сказал:

– Мне надо поговорить с Алефтиной Николаевной.

– Так бы сразу и говорили! – буркнула она, пропуская.

Алефтина Николаевна была то ли директором, то ли метрдотелем, и через несколько минут дверь отворилась перед нами. Так как все места в зале были заняты, нам поставили столик на палубе.

– Здесь хоть поговорить можно, никто не мешает, – утешился Василий Иванович.

Поговорить, однако, не удалось. Какой-то вдрызг пьяный поклонник литературы буквально прилип к нашему столику и довел Белова до белого каления. Пришлось звать на помощь ту же Алефтину. Пьяного увели, но настроение уже было испорчено. Наскоро закончив свою трапезу, мы снова поднялись на набережную. Дождь лил уже не переставая. Обходя в темноте лужи, снова пришли к Рачкову и только там вздохнули свободно.

Саша взял гармонь. Играл он виртуозно, его игра всегда завораживала Белова.

– Надо что-то делать с засильем «рока», – задумчиво сказал он во время паузы. – Ведь это ужас: все эти дискотеки, танцевальные вечера, этот стриптиз на сцене... Вы видели балетную труппу «Сирин» во Дворце железнодорожников? Сходите обязательно! Сплошная порнография! Хоть бы написать куда-нибудь об этом безобразии. Жаль, у меня времени нет...

– Так ведь и мы можем написать! – ответил Рачков. – Сходим, посмотрим...

– Сходите! А то он вот смотрит на нас своими ясными глазами, а нам в ответ и сказать нечего! – Василий Иванович показал на портрет Николая Рубцова, подаренный Рачкову одним из вологодских художников.

– Скажем! – обнадежил Рачков. – Хочешь его стихи послушать? – и он включил магнитофон с записью голоса Рубцова.

Прослушали, в том числе и стихотворение о «Поплавке», которое Рубцов читал бесподобно.

– Господи, как много надо сделать, и как мало еще сделано! – вздохнул Белов.

– Тебе-то, Василий Иванович, грех жаловаться, сделал ты столько, что дай Бог каждому! – возразил я.

– А-а, что там! Я благодарю судьбу за то, что позволила мне написать четыре вещи: «Привычное дело», «Кануны», «Лад» и «Кошечка». Ну еще пара-тройка рассказов. А остальное...

И снова завел речь о бездуховности людской, о податливости молодежи на всякое развращение, особенно сионистское влияние.

– Нужен Бог! – с присущей ему категоричностью сказал Рачков.

– Бог и так есть, – ответил Василий Иванович. – Думаешь, мы все знаем?

– Я в Бога поверить не могу, – признался я.

– Потому это, что одностороннее воспитание. Мало читаешь, наверное. Ты Платона почитай, неоплатоников. Наших: протопопа Аввакума, например, Нила Сорского...

Кстати, путь Белова от атеизма к глубокой, почти фанатичной вере, которая стала проявляться у него к старости, был, видимо, нелегок и тернист. На одной из встреч с читателями его спросили: почему большинство писателей вдруг ударились в религию?

– Что значит – религия? – ответил он. – Религия была всегда. Она началась много веков назад, так почему я должен отказываться от духовности моих предков? А вообще – это глубоко личное дело каждого.

Тут я целиком согласен с Василием Ивановичем: религия – глубоко личное дело каждого, паршиво только, что показную религиозность используют в шкурных интересах, что нередко наблюдалось в девяностые, да и в последующие годы.

Несмотря на то, что я пытался преодолеть свое «одностороннее» воспитание, читая вороха духовной литературы, я остался атеистом, потому что нигде не нашел ответа на вопрос – что такое Бог? Этого, по-моему, не знает никто, а верить в нечто неведомое я просто не в состоянии. В этой связи вспоминается и довольно крутой спор с Беловым в конце восьмидесятых годов. Тогда он позвонил мне и спросил, где может передать мне статью, которую я заказывал ему для газеты:

– Я тут погулять собрался, так выходи навстречу, заодно и заберешь.

Был второй день майских праздников. На встречу я отправился слегка навеселе. Василий Иванович, который к тому времени уже не пил и не курил, сразу уловил запах спиртного.

– Ты когда пить бросишь? – полушутливо, полусерьезно спросил он.

– Когда ты начнешь, – отшутился я.

Шутка ему не понравилась, он перевел разговор на другое. Мы прошли по улице Мира до установленного на постамент танка, присели на скамейку. Уже не помню, как разговор коснулся веры, но отчетливо помню вопрос:

– Как можно не верить в Бога? Кто же, по-твоему, все создал? Землю, небо, звезды?

– Никто. Вселенная бесконечна и вечна, материя развивается и видоизменяется по своим собственным законам. А что такое Бог? Его же никто никогда не видел!

– Мыслей тоже никто никогда не видел, даже доктора. Так что, их тоже не существует? Что такое мысль?

– Мысль тоже материальна, и без человеческого мозга она существовать не может. Если брать чисто физическую сторону, то мысль – это



движение электронов по нейронам головного мозга. А само мышление развивается в процессе эволюции, всечеловеческого и личного опыта. Мысль можно даже материализовать, в компьютере, например.

– Эк тебя настропалили, – возмутился Белов. – Почему ты мало читаешь?

– Читаю я много. Но, видимо, мы с тобой читаем разные вещи. Я ведь не упрекаю тебя за то, что ты не читаешь научную литературу. Ну, хотя бы «Очерки о Вселенной» Воронцова-Вельяминова, французских энциклопедистов, Фейербаха, наконец. И еще насчет мыслей. Электрический ток тоже не виден, как и мысль, но уж он-то насквозь материален, верно?

Убедить друг друга нам так и не удалось. Думаю, что это и невозможно. Воистину, религия – глубоко личное дело каждого.

Вернемся на квартиру Рачкова. Уже под утро я провожал Василия Ивановича домой. Шли под дождем, огибая лужи на асфальте, а он все говорил о Боге, о нравственном стержне, который обязательно должен быть в душе каждого человека. И почему-то накрепко запомнилась его фраза:

– Наш удел – страдать и бороться.

Белов откровенен всегда: в выступлении с трибуны, в газетной статье, в личной беседе, в романе или пьесе. Мне рассказывали, что в Соколе инструкторша горкома партии как-то кокетливо спросила Василия Ивановича:

– Как Вы относитесь к публичным выступлениям?

– Как ко всему публичному, – отрезал он. – Как к публичным женщинам, например.

Инструкторша покраснела и смолкла.

Осенью 1985 года состоялась писательская поездка по рубцовским местам. Выступая в Николе, Василий Иванович упомянул об эпизоде, случившемся в Харовском районе, когда два первоклассника не захотели жить в интернате и отравились пешком домой за 60 километров. А уже у самого дома их схватили и, не дав повидаться с родителями, увезли обратно в интернат. Я попросил Белова уступить мне этот сюжет для детской повести.

– Ну что ж, – ответил он, подумав. – Только ударь посильнее по школьным интернатам, безобразие, что там творится. А сюжет... Бери, у меня сюжетов хватит!

Этот сюжет и лег в основу моей детской повести «Беглецы», которая была опубликована в альманахе «Сполохи» в 1992 году.

В середине восьмидесятых годов Белов начисто отказался от спиртного и даже вступил в общество трезвости. Впрочем, непримиримым врагом пьянства стал он гораздо раньше: писал письма в разные высокие инстанции, вплоть до академии медицинских наук, добиваясь, чтобы алкоголь был официально признан наркотиком и чтобы запретили его продажу. Но напрасно убеждал он общественность цифрами и фактами, напрасно метал громы и молнии со страниц газет и журналов. Спаивание народа продолжалось. Вот что писал Василий Иванович в статье «Акциз», опубликованной в газете «Сельская жизнь» 17 января 1995 года:

«Если в девяностом году только одной своей водки было произведено 137,5, то в девяносто первом уже 154 миллиона декалитров. Не думайте, что всю эту бездну сивухи демократы хранят на государственных скла-

дах. Нет, все выпито. И это примерно десять литров на человека, включая младенцев.

Почему же Госдума не ткнула носом в эти зловещие цифры ни самого Черномырдина, ни всех его финансистов? Или задача такая – двигаться к гибели?».

И это писалось в то время, когда еще не начался разгул реализации поддельной водки, «паленой», как ее называют в народе. Теперь же, судя по некоторым публикациям в прессе, количество такой водки на прилавках «зашкаливает» за половину! Мудрено ли, что целые батальоны и полки мужиков раньше времени улеглись в могилы из-за этого, уже не просто спаивания, а просто-напросто отравления народа.

Чем старше становился В. И. Белов, тем большее место в его жизни занимала общественная деятельность. В июле 1987 года я зашел в писательскую организацию, где сидели В. Шириков, В. Оботуров, А. Петухов и В. Белов. Не помню детально, с чего начался разговор, вызвавший у Василия Ивановича прямо-таки вспышку гнева и возмущения:

– Не хочу я больше ничего писать! Не хочу и не буду! Зачем мне быть писателем? Я лучше плотником пойду работать! Еще хоть бы писать то, что хочется, а я вместо литературы двадцать лет занимаюсь голой политикой! Кому это нужно? Теперь вон все о демократии говорят, о свободе слова. А публиковать по-прежнему ничего нельзя. Дописал я ко второй части «Канунов» восемь глав, отправил в «Новый мир». Четыре раза уже звонили – то убери, это исправь. Самовольно убрали абзацы об О. Ю. Шмидте. Ведь прежде чем стать полярником, он аграрным делом занимался, громил крестьянские кооперативы, созданные еще до революции...

– Какие кооперативы? – спросил Петухов.

– Те самые, что на паях объединялись земельным банком. Шмидт, возглавляя комиссию, отнял у банка и у крестьян их паевые деньги. Мне говорят: там, где дело касается исторических личностей, мы обязаны консультироваться в институте марксизма-ленинизма. И послали главы на рецензию к Данилову – я его знаю – старый и очень умный еврей. Тот дал заключение, что Шмидт крестьянскими делами не занимался. Я потребовал личной встречи, ведь у меня неопровержимые документы есть.

И кроме... Требуют убрать сцену, где крестьяне читают библию и сравнивают апостолов с Лениным, Сталиным. Вот тебе и свобода слова. Свобода есть для таких, как Вознесенский, Евтушенко и прочие, а к нам придираются по-прежнему...

Из-за этой политики даже читать не успеваю, – продолжал он. – Много интересного появилось в журналах: Можаява надо бы прочесть – «Мужики и бабы», Акулова, Дудинцева, много чего, да руки не доходят. Приедешь в Москву, спрашивают: то-то читал? А это? Нет? Темный ты человек!

В этот день он собирался на очередное совещание в Горький. Общественная деятельность стала поглощать у него колоссальное время, много нервной энергии и жизненных сил. Даже на похороны Александра Рачкова 31 марта 1987 года он не приехал – был в Москве, ждал приема в ЦК. Накануне похорон я дежурил в писательской организации. Василий Иванович позвонил из Москвы, расспросил о последних днях Саши.

– Где прощанье-то будет?

– В Доме художников.

– А почему там?

– По традиции. И Железняк там лежал, и Рубцов...

– Ладно, если уж так решили. Я, конечно, недоволен, да что делать? Если деньги нужны на похороны, позвоните моей жене.

Я сказал, что его жена уже была в писательской организации, принесла деньги.

– Жаль Сашу... – даже по телефону угадывалась глубокая горечь в его голосе.

Рачкова было жаль всем. Человек, не успевший издать при жизни ни одной книжки, он, тем не менее, был подлинной душой Вологодской писательской организации почти два десятилетия, и эти десятилетия стали самыми славными в ее истории. Он себя не жалел, чтобы хоть в какой-то малости помочь и Белову, и Рубцову, Чухину, Ширикову, Романову, Швецову, Текотеву. К нему шли с горем и радостью самые разные люди: художники, актеры, писатели.

В годы изломов и перестроек, в годы ельцинской «капиталистической революции» Белов занимался общественной деятельностью с еще большей интенсивностью: часто выступал перед публикой, в том числе и в Верховном Совете, написал множество публицистических статей, публиковавшихся в периодической печати.

Приближалось время его шестидесятилетия – октябрь 1992 года. Мы в «Красном Севере» тоже готовились к этому юбилею. Я заказал большую статью о Белове поэту Александру Романову, разыскал около десятка фотографий, в том числе снимки Белова с Гагариным и Шолоховым. Подготовил выдержки из выступлений и статей критика Ю. Селезнева, С. Залыгина, В. Кожина, В. Распутина. Из вологжан, кроме Романова, написал статью прозаик В. Шириков. В номер не хватало «малости» – публицистической статьи самого юбиляра. Правда, Василий Иванович сказал мне, что оставил статью для «Красного Севера» в редакции харовской райгазеты по пути в Тимонику, с просьбой переслать ее нам. Каково же было мое разочарование, когда за несколько дней до юбилея я увидел статью в конкурирующей с нами газете «Русский Север»! Снова позвонил Белову. Он тоже был озадачен:

– Да не хотел я печататься в «Русском Севере»! Это, наверное, редактор харовский перепутал, не в ту газету послал. Ладно, у меня тут есть стихи разных лет. Напишу вставку и сегодня же занесу тебе. Устроит?

Поразмыслив, я остался даже доволен: стихами Белова не могло похвалиться ни одно издание. Так и появилась в «Красном Севере» за 23 октября 1992 года большая подборка его стихотворений. Из рукописи, которую принес Белов, не вошло в подборку лишь одно маленькое стихотворение. Вот оно:

Ходил бы я на врага  
И были бы мы с ним квиты –  
В песчаные берега  
Мои друзья зарыты...  
И стало мне тяжело вдруг.  
Оружием враг бряцает,  
Хотя стремится Юг  
И Пинега мерцает.

1985 г.

Суть стихов понятна: горечь об ушедших друзьях – Яшине и Абрамове – и острое чувство одиночества на пронизывающем ветру истории...

Кстати сказать, названием этого очерка послужила строка из стихотворения В. И. Белова, вошедшего в ту же газетную подборку. Стихотворение называется «Надпись на книге для Станислава Куняева»:

О Родине душа моя болит.  
Она скорбит по вырубленным сечам,  
По выкачанным недрам и названьям  
Засохших рек и выморочных сел.  
Болит душа...  
И странен отголосок  
Душевной боли – мой веселый смех  
Среди друзей, среди живых и павших,  
Сплоченных снова вражеским кольцом.  
1982 г.

Во второй половине девяностых годов я редко встречался с Василием Ивановичем. Он почти не появлялся на писательских собраниях, а я осенью 1996 года ушел на пенсию, так что и в редакции газеты столкнуться мы уже не могли. Но остались у меня многочисленные блокноты из командировок, поездок, записи с творческих встреч и писательских вечеров. Я не стенографирую, но пытался по мере сил подробно записывать выступления Василия Ивановича Белова, которые удавалось услышать. Записи эти обработаны и приложены к настоящему очерку. Конечно, там не дословно все, что говорил Василий Иванович, но могу поручиться, что ход мыслей его уловлен довольно точно. Выступления его были, чаще всего, экспромтами и, по-видимому, нигде не публиковались. Так что эти мои записи, надеюсь, кое-что добавят к творческому наследию писателя.

Жизнь подарила мне сорокалетнее знакомство с одним из интереснейших и талантливейших людей двадцатого столетия, и за этот подарок я бесконечно благодарен судьбе.



*Владимир Кудрявцев*

---

КОЛОКОЛА  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗВОННИЦЫ



*Слово о современниках*

---

*Ольга ФОКИНА*

*Нина ГРУЗДЕВА*

*Виктор КОРОТАЕВ*

*Юрий ЛЕДНЕВ*

*Роберт БАЛАКШИН*

*Виктор ПЛОТНИКОВ*

*Александр ЦЫГАНОВ*



## «Простые звуки Родины моей...»

---

Ольга  
ФОКИНА

### 1. О ПРИРОДЕ

Можно даже представить, о чем ей думается на крутом берегу Северной Двины, где «небо – светло-высоко, где поле – светло-широко». Можно и предположить, что вспоминается ей, когда она порой оказывается на этом заветном для нее берегу и растворяется в звонком пространстве «этих огромных и прозрачных, только из света и воздуха – летних дней», торжествующих буйной зеленью и вездесущим ветром.

Еще в далеком детстве на этих берегах она искала «неведомое средство, чтобы стать – в реке рекою, в птичьем хоре – птичьей песней». Тогда она даже не могла и помыслить, что однажды сможет оставить эти «земляничные угоры над речонкой с пескарями».

А теперь, спустя годы, у нее остается одно единственное желание – «всласть надышаться родиной».

Для нее Северная Двина – река-труженица. Она никогда «не рядилась в перышки парусов». Ее в прежние годы украшали «плоты, как заплаты». «О разливах ее и плесах золотых» даже «в народе мало песен поется». Непонятно только – почему: «то ли люди не видят ее красоты, то ли слов, чтобы спеть, не находят». Наверно, все-таки не находят слов.

Ольга Фокина упорно и без усталости ищет их всю жизнь. Ищет, как трудолюбивая пчела ищет нектар, и находит, чтобы поведать своим землякам, как река-кормилица по-женски тихо и смиренно успевает «росою обильной всласть наплакаться за короткую ночь июля».

Здесь, на ее берегах и на берегах речки Корбанги, поэтесса не раз признавалась: «Но я – дитя моей реки». Она даже «на обрыв-берегу хорошо себя чувствует». Природа здесь разговаривает с ней «губами облаков и голосами птиц».

Только здесь, на родной земле, и может она, уединившись, до конца слиться с природой, раствориться в ней и почувствовать ее живую душу. Этому ее учил еще отец, пока не ушел на фронт. У отца «для природы милой лишь одно было имя – Мать».

«Природа-мать повелела ей любой язык понимать», и она, верная и природе своей – поэтической, понимала его. Да и как было не понимать, если ее в детстве «луг своим клевером и щавелем от смерти

спас». Только в ее, «природы тенетах», она и «живет вольно». Она «природы естество любит всей душой» и потому в мире лесов и лугов «нелюбимой не бывает». Она всем сердцем искренне откликается на «откровенье природы», потому и «в крови ее – брусничный сок и сок березовый».

У деревьев, как и у людей, свои характеры и судьбы.

Ольха «цветет тихо и скромно», но характер у нее – «чисто золото».

Березу Фокина любит «за характер русский». Вот поэтесса, горем опечаленная, стоит у срубленной березки и закликает исходящий соком корень: «Живи же, корень, / Я буду стеблем! / Я продолженье / твое живое, / твое цветенье / с твоей листвою...». Когда и в самой «все гибнет и вянет», «поднять и спасти» может только «березовый сок». Для нее он как «самое лучшее средство от всех пороков». Стоит только «к милым березам щекой прижаться, поцеловать берестяной краешек», испить целебного сока, и будет «снова все хорошо, как раньше».

И у ивы тоже доля женская. И она, как вдовая солдатка, «все вынесла» на пути своем. И она по характеру – «живучая и могучая» – ничего что «все зовут – плакучею».

Для нее и «черемуха за старым огородом – / единственная память об отце». Отец перед войной «садил ее, / чтобы пел на ней скворец, / чтобы ягода родилась. / Пригодилась...».

Это отцовская черемуха, а сколько их «при дороге выросло, – / взросло, где птица вытрясла!»

Поэтессе и в лесу каждый кустик и каждое деревце сродни. Потому она, «наводя в лесу справедливый порядок», и «березкам по-приятельски кивает, и с осинками по-дружески дрожит». Она и к черемухе, «тихо запевая», обращается как к живому существу:

Попахни, черемушка,  
Родимой сторонушкой,  
Ледалой соломушкой,  
Шершавой коровушкой,  
Метеною улочкой,  
Осевшим крылечиком,  
Прошедшим и будущим  
Теплом человеческим...

Она пытается хранить «родные родники», завещанные отцом, чтоб вокруг них всегда «было солнечно и звездно». Хранит, чтобы иногда можно было «ничего не жалея на свете, без пути и без цели скакать по лугам», чтобы, уезжая из родимого дома, всегда был повод сойти с поезда, спохватившись, что на родине опять «осталась не завернутой родниковая вода».

## 2. О ДЕТСТВЕ

На берегах этих северных рек прошло детство Ольги Фокиной. Здесь все напоминает о нем: каждый куст придорожный, каждый омут речной и каждое дерево под окнами деревенских изб.



Что я помню?  
Зыбку возле печки...  
Это было, было, было, было!..

В очерке «Наследство чудо-родины» критик Василий Оботуров пишет: «В творчестве Ольги Фокиной память – сквозная тема». Читая ее стихи и постоянно убеждаешься в том, что «памяти подвалы на то они и есть», чтобы не давать ей ни минуты покоя. «Запасы памяти» ее неиссякаемы. Память то и дело возвращает поэтессу к порогу родной «избы, этой дымной, печной, лучинной», в которой «начало» ее мира.

В нем, «не карточном доме», который был «весь – ввысь», прошло ее детство. Оно тоже время от времени «пробирается» к ней «на печь и не только «во сне». Но только во сне возвращается к ней отец: «Тянька! Боже!.. Плача проснулась: нету родного...».

Как хлопотала она по дому, как старалась, «вытирая лавки, приступки, стол, вынося мусор», чтобы улучшить момент и «робко попроситься: «Отпусти меня, мама, в школу!». Она и сегодня чувствует себя виноватой перед старшим братом, потому что из-за нее, принятой в первый класс, он вынужден был «школу оставить».

Разве забудешь, как «качала в зыбке братишку» и как потом, бережно «зажав в кулаке», несла из лесу «на радость маленькому брату десяток первых земляничин». Но слишком рано им, детям, опаленным войной, «взрослой жизни груз упал на плечи трудно поднимаемым бревном».

А куда денешься от запахов детства! Один – добрый «запах доверенных дней», другой – голодных лет. Тех страшных лет, когда «сбирала по деревне куски» и видела «глаза подававших людей». Ходила по миру, потому что «умирать было страшно». Она всю войну не слышала, как «пахло теплым молоком и свежим хлебом». Но, как бы ни было трудно, она благодарна судьбе за то, что «раньше ломтя мякину-солому знавало дитя».

Память ее на всю жизнь сохранила и запах «розового мыла». Это тоже запах военного детства. А какие запахи у пробуждающейся весной земли! Они и сегодня будоражат ее воображение и пробивают до слез!

Как же ты пахнешь, сырая земля!  
Этот бы пласт, перевернутый плугом,  
Взять в обе руки и есть, не соля,  
Не оснащая ни медом, ни луком...

### 3. О ЗЕМЛЕ

Эта земля для Ольги Фокиной, как и для всех нас, родившихся в деревнях, была святой и таковой останется до конца дней наших. Ее «прадед (а «наши прадеды – со Дона казаки!») от рожденья до гроба полил потом и кровью эти загоны». А дед ей «завещал поле с житом и рожью, / боровые приметы, / луговые остожья».

Уж кто-кто, а она, Ольга Фокина, по судьбе матери и по своей собственной судьбе знает, что где ей, земле-матушке, «тяжело», там и

«детям ее достается не легче». Она-то знает, что «не залижет морская волна, то родная земля исцелит».

Ты – без асфальта, и я – босиком,  
Ты – из-под снега, и я – после стужи...

От нее, «лоскута отеческой земли», и радость ее, от нее – и печаль светлая, от нее и думы тревожные. О ней и воспоминания – светлые и горькие, наяву и «в радужных снах».

Вспоминая, как за срезанные колоски милиционеры «забирали тетку Полинаху», она, будучи девчонкой, спросила у матери: «А лучше – воровать или просить?» (кусочки-то у добрых людей она просила ради себя и младшего братика).

На это мать ей ответила так: «Лучше – до смерти работать». Так, помня материнский наказ, дочка и «живет, на миру не горбясь», так и работает, не помышляя об отдыхе.

Так и работала, чтобы однажды, держа ответ перед земляками, могла сказать им, живущим в краю, «которым сама живет и дышит», и ответственность перед собой («Не предала ли края отчего, живя от отчего вдали?»):

Может, я на те края  
Право заслужила.  
И речонку, где пырей  
Ладит переправу,  
Я смогу назвать своей,  
Может быть, по праву...

Нет, порой «нужно и можно жить вдали от «чудо-родины» – для нее же, для «чудо-родины» и жить (В. Оботуров). Ладно, что на земле родной «нам еще верят», как хорошо, что на ней «нас еще ждут».

#### 4. О ДОМЕ

На этой земле стоит и родовой дом, однажды оставленный ею. Дом, в котором она «росла на полу некрашеном», а «пол ее был бел, бос и гол».

Ольга Фокина счастливее многих из нас уже потому, что дом ее жив и стоит он в живой, слава Богу, деревне. Страшно представить, если бы его не было. Нет, лучше и не представлять.

Александр Романов однажды на миг представил и в ужасе записал: «Если бы по каким-то обстоятельствам дом в Петряеве оказался разрушен, то и я очутился бы сразу нравственно разоренным и психически убитым. Я бы просто перестал существовать...».

Вот такая у него, родительского дома, животворящая корневая система, и такое у него целительное энергетическое поле. Без него и наша жизнь сразу обесценивается и, разрушаясь, теряет прежний смысл («С ним – жива, без него – смерть»).

Ольга Фокина так и не стала городской. Она как была крестьянкой, так ею и осталась: и по мироощущению, и по душевному складу. А стержневое в ее мироощущении – «единство жизни с народом,

среди которого она выросла, вместе с которым еще маленькой девочкой переживала трудности военных лет» (В. Оботуров).

Она и в городе жила и постоянно живет томительным и сладостным ожиданием встречи с родным домом и близкими ей людьми.

Зная, что брат собирается в гости, она просит его из гостинцев привезти не разносолов деревенских, а «горстку содонгского сена»: «Привези мне сена, Вовка!.. Поддержи, братишка, пламя, только пламя не гаси!..».

К порогу родительского дома она приходит до сих пор, приходит «за сказкой, за приветом, за лаской, за советом, за шанежкой домашней, влюбленностью вчерашней...».

В нем жить было «весело и песенно», когда была жива мать и «когда дети росли». Вьюжной зимней ночью у дома и «бревна поют, как под смычком, и крыша гудит – колоколом». С его крыши и «видно далеко, и далеко слышно». К нему, «ничьих советов не спросив», она бежит из города «полями родной Руси» и знает, что «из самой верткой круговерти придет домой – не утонет» и в дороге не пропадет.

Пойду, царпну иней,  
Осторожно подыщу,  
Как полено в печку кинет  
Мать, счастливо погляжу...

Это брата рукавицы...  
Вот и он – через порог,  
В инье шапка и ресницы –  
Ездил за сеном, продрог.

...Оторвусь от мерзлой рамы,  
Пообщаюсь с голиком,  
Двери настезь:  
«Здравствуй, мама!  
Здравствуй, самый светлый дом!

Он светлый и добрый, дом ее детства. В нем и душа после городских передряг у нее встает на место. Только здесь, в его родных стенах, она и сама приходит в чувства и возвращается к самой себе. В нем даже с «лавками и окошками», даже «со столом, под который ходила пешком», и то – хочется поздороваться.

Ей было семнадцать лет, когда она, учащаяся медицинского училища, твердо и уверенно сказала себе и заявила миру:

Я – никто? Это ложь:  
Я – сильна и вольна!..

## 5. О МАТЕРИ

Тема дома и рода, тема матери, а через нее и женской доли, – это святы, но одновременно и болевые темы в творчестве Ольги Фокиной.

Мать была «красива не внешнею, а глубинною красотой». Она

была «добра, но горда», а на руках у нее к войне было пятеро детей: «кормилец – в могиле, малец в подоле». Она одна из «братства овдовевших солдаток», на которых в войну и после войны «стоял на ногах колхоз». И сегодня трудно понять, «что давало ей силы суметь, споровить, сноровить». Как и у других сельчан, была ее «биография вся на виду – дом, соседи, родные, друзья». Как и ее сверстницы, однажды, когда дети выросли, она осталась одна в родовом доме: «вся я одна сегодня, вся я одна вчера».

Мать из того «особого народа», который и сил набирался, и спасался тем, что жил «по совести, по чести».

Она и дочку так воспитывала и «растила себе в подмогу, жалея, любя, не браня». Она, как и любая мать, переживала за нее и предостерегала, «в низине родившуюся», что «на крутом берегу все дороги круты». Она «беспокоилась за нее и боялась»: «не заплутала бы» дочка без материнского пригляда. Но не могли уже их, деревенских девочек, «не вразумить – ни мать, ни Богородица», потому что им всем тогда так «хотелось уехать» учиться и жить в большие города – подальше от дома.

Дочка была уже в том возрасте, когда ее настигали «внезапные стишки: с ходу, складно, наизусть!» Она уже «писала стихи на ходу», когда «варила, мела, стирала и пела». Она, сидя у окна общежитской комнаты (рядом только «лампа да книга, перо да тетрадь»), уже с родившейся в душе строчкой вглядывалась «во мрак законный». Тогда она могла уже сказать:

Мелодию – люблю!  
Мелодию – ловлю!  
Мелодии велю  
Остаться на бумаге...

«Что кому на роду написано»: ей Бог выбора не оставил – «что досталось, сменить нельзя». И уходила дочка из дому, чтобы вдали от него среди городского люда «стать человеком». Уходила, оставляя кому-то – «уже навсегда? – сенокос, землянику, малину».

Но уже скоро ее, вкушившую столичных благ, стало неодолимо «влечь обратно домой – «в человеки». Ее ли одну?

А мать, проводив дочку в чужие края, жила с постоянной надеждой: скоро ли дочка придет в гости? Не ленилась и «в шубейке старой, в валенках больших» за три километра ходила к телефону: «не позвонит ли дочка из района?». А гости в доме уже давно бы по всем приметам должны быть: вот и «паук спустился с лампы», и «угольки из печки – к гостям».

Оставив мать в деревне, дочка мечтала только об одном: порадовать мать и хоть как-то ее, всю жизнь не знавшую ни сна, ни отдыха, отблагодарить. Кажется, ради этого она и жила, и стихи писала. Она так хотела, чтобы любимая мама смогла однажды «додумать не додуманное в будни, / додремать недоспанное / и нудное, болящее – унять...».

Она, приезжая домой, чувствовала, как ей раз от раза все труднее оставлять мать одну в опустевшем доме. Перед отъездом что-то

властно удерживало ее у порога, как только она к нему через силу «кидалась», понимая, что уезжать-то все равно придется. А тревога становилась «все сильнее и внятней» не только за маму, но и за то, что без нее «одичает оставленный луг и зарастет полевая дорога», и настанет день, когда ни «лугом не пройдешь – водяно, ни лесом – грязь засосет».

Посмотрит она, как мама утром на кухне управляет, как чугуны на ухватах в печку задвигает, и сердце дочкино так и падает: а «что как у мамы рука содрогнется? Надо бы – рядом...»

Она хотела «когда-нибудь встать с ней наравне», но не была уверена: «сможет ли, дорастет ли...».

Гордая моя мама!  
Горькая твоя доля  
Голову носить ниже  
Так и не научила.  
Держишь ее – как надо:  
Дерзостью встретишь дерзость,  
Вдесятеро заплатишь  
Людам за доброту.  
К белым твоим сединам  
Бережно прикасаюсь,  
Будто бы это – боли,  
Собранные в жгуты;  
Будто бы это беды,  
Те, что отбедовала:  
Густо, к одной – другая...  
Разбередить – боюсь...

Здесь уместно снова обратиться к авторитетному мнению Сергея Викулова. Он, читая стихи о матери, написал: «Удивительно чистый, нравственно цельный образ русской крестьянки встает из стихов О. Фокиной о матери. В подвижничестве матери, вдовы-солдатки и колхозницы, она видит теперь проявление характера всего народа, всех русских женщин...».

Дочка тоже не искала в городах легкой жизни.

Уже тогда, по словам того же Сергея Викулова, хорошо знавшего Ольгу Фокину, в ней «поражали почти не женское мужество, уверенность в себе, сознание высокого долга перед народом, готовность разделить с ним все испытания».

И это правда.

Она и дело себе выбрала такое, за которое до нее в округе никто и никогда не брался. К тому же она «с детства жила в борьбе», и все ей по жизни «доставалось с бою». И сама жизнь ее «начиналась с колоса в мерзлой еще стерне».

Не потому ли она, когда пришла пора, хоть и не без робости, но смело и «не стыдясь» стала «выступать от имени серпа», а значит, и от имени своей матери и всех своих земляков. От имени тех, «кто и предан, и продан, и схоронен был тысячи раз!..».

Иначе она не могла, чувствуя себя «у деревни вечным должником» и желая сказать миру слово во славу ее и в защиту.

## 6. О СЛОВЕ

Главным богатством Ольги Фокиной стало Слово, «волшебство» которого она почувствовала через Пушкина. Слова «стали мучить ее (голоду, что ли, назло?)». Но шла она «за строкой не на Олимп Парнасский, а – на угор», потому что «лишь здесь, наяву, вдохновенье ее и свобода».

Она запасалась словами впрок, чтобы ей хватило их надолго – на всю жизнь. Она искала те самые сокровенные слова, которые могли бы всегда быть под рукой и «стать на уровне с душой в священный час ее волнения».

Ольга Фокина не угадала, а почувствовала свою судьбу и призналась, что она «с литинститутских пор – седьмого неба житель». Она поняла, что «поэт – не ремесленник», а слово его, если оно истинно и точно вставлено в строку, должно служить людям и «жить не меньше столетья, а может, и больше...».

Своим сердечным зрением она видит «поэзию в простом»: «вот над ивовым кустом – нитка диких уток». А разве эти строки не становятся по волшебству автора настоящей поэзией:

Несу по огороду  
На утренней заре  
Серебряную воду  
В серебряном ведре...

Да, уже с юных лет она несла в себе «поэзию, существующую в самой жизни – в чувствах, мыслях, настроениях людей, в картинах природы и быта» (Н. Рубцов).

Она не могла не стать поэтессой. Поэзия была ее единственной страстью и Богом данной Судьбой.

Околдованная словом, Ольга Фокина уже не могла, по словам Рубцова, представить свою жизнь «без стихов... Она пишет о самом простом и дорогом для всех – о матери, о любви, о природе, пишет о своей судьбе, а также о судьбе земляков. Все это по-человечески понятно и привлекательно и поэтому находит отклик... Леса, болота, плесы, снега – органично и красочно вошли в лучшие стихи Ольги Фокиной. И все это стало фактом поэзии потому, что все это не придумано и является не мелкой подробностью, а крупным фактом ее биографии, ее личной жизни, судьбы...».

И сердцем и умом она понимала, что «стихов ее никто не перехватит» и что ей «по свету колесить еще долго», причем колесить «без права устать и разбиться». Одни слова она собирала «на берегах Двины, другие – на Содонге, «глинистой, обрывистой, пахучей и сыпучей». И каждое слово в народе жило и светилось наособицу. Одно «яхонтом», другое – «изумрудом». И у каждого были имена свои, и фамилии.

Поэтесса «смело заимствует из разговорной речи своих героев не только сами слова, меткие выражения, пословицы и поговорки, но еще и интонацию, музыку этой речи. Слова эти полноправно живут в стихах, придавая им особую окраску, ту самую, без которой понятие «национальное своеобразие» – пустой звук» (Сергей Викулов).

Ольга Фокина, приученная с детства к нелегкому крестьянскому труду, и со словом работала «на совесть, чтоб вышел с людьми разговор» серьезный и обязательно – о самом главном.

## 7. О СУДЬБЕ

Она, зная цену словам не меньше, чем цену хлебу, понимала, что тема «несжатой полосы» актуальна и сегодня и что сама она в мир «пришла из некрасовских «Троек».

Вокруг «несжатой полосы» и сегодня столько «светлых слез, счастья и любви», что рядом с ней Муза молчать не может.

Некрасов стал для нее Богом. Нет, она «не молилась на него, – отметил в предисловии к стихам Сергей Викулов, – она у него училась, училась безраздельной любви к родному народу, умение просто и в то же время душевно разговаривать с ним, помогать ему осознать в себе силу «неисчислимую», веру в лучшее будущее».

Ольга Фокина, встав на этот путь, с самого начала «верила в свою удачу и свою звезду». Уже в первом ее сборнике не кто-нибудь, а сам Михаил Исаковский с ее поэзией «почувствовал какое-то своеобразное родство».

Это теперь можно смело сказать, что любой читатель найдет в стихах Ольги Фокиной свой интерес. В том же упомянутом мною предисловии Сергей Викулов, анализируя творчество поэтессы, пишет: «Знарок, любитель поэзии обнаружит изощренность формы стиха при всей его кажущейся простоте, органическую связь с народно-поэтическим творчеством. Самый рядовой читатель оценит прозрачную ясность стиха и близость мыслей, чувств, настроений, выраженных в нем, его думам и настроениям...».

И, конечно же, путь ее «от избы до своей звезды был – ох как! – нелегок». По словам Василия Оботурова, это был «путь от себя к людям, от лирического переживания своих, частных, настроений к переживанию судьбы героя, судьбы народа».

Это только на первый взгляд может показаться, что по жизни ей всегда везло и во всем ей сопутствовала удача.

Да, «судьба ее не обманула и стороной не обошла». Да, у нее «и весна была с цветами, и лето – со страдой», у нее «должна быть и осень со снопами, и зима – с теплой трубой».

Но только она знает, как свою жизнь «выносила на горбу и на нервах». Ей тогда только и стало «далеко видно с горки, когда горе стало горкой». И чаще «не карандашом жизнь писала» ее «слова и строчки», а перо каленое их «горем выжигало прямо на живом».

Только она знает, как это – «ловить звуки напряженными нервами». Она, как и крестьянская изба, жила «не на отшибе, не с краю русского села». И не сразу, а с годами поняла, что «и даль, и высь, и счастье» приходят только к тем, кто в жизни «не уклоняется от всеучастия».

Ольга Фокина всегда была обращена душой к людям – «Душе нельзя – одной! / Ей к душам нужно!». Она всегда жила их радостями, болями и надеждами. Она могла как на духу сказать, не покривив душою:

В дому моем – чисто.  
В дому моем честно...

Поэтесса радуется, что «в ее домишке и окошке – солнышко». Она приглашает всех: «Заходите – посмотрите!..». Сказала, как выдохнула – «все просто, непритязательно и живописно» (В. Оботуров). В душе она осталась такой же, какой была и вчера, когда входила в большую литературу.

Я не сенсационна:  
Здорова. И не пью.  
Проста. Традиционна.  
Все русское – люблю..

Дай ей Бог здоровья и вдохновенья!..







*«Я так писала,  
как душа велела...»*

---

## Нина ГРУЗДЕВА

### 1. «ТАК ЛЮБОВЬ МНЕ СКАЗАЛА...»

Недавно композитор Надежда Берестова представила землякам новый диск с песнями на стихи Нины Груздевой «Здравствуйте, клены».

Слушал их в исполнении Елены Никитиной, Александры Колотий, Анны Малиновской и радовался за Нину Васильевну. Какие же песенные у нее стихи, и как легко и красиво ложатся они на музыку талантливого человека. Жаль, что не было на вечере самой поэтессы.

Пришел домой и сразу открыл ее книгу «Краешек зари». Открыл и погрузился в ее светлое пространство.

Прав литературный критик Виктор Бараков, написав в предисловии к книге «Часы песочные»: «Нина Груздева не могла писать по-иному, невозможно было обуздать вольный дух поэзии в его высшей гармонии...».

Она не могла не писать стихи, как будто заранее зная, что только их, как «небольшое наследство», она в будущем и оставит людям. Стихи, которые она никогда «не выдумывала», а строки к ним ночами бессонными не вымучивала. Строки ей «кто-то ночами диктовал», и мучительно желанные строчки «ложились сами».

Стихи свои она писала и пишет так, «как душа велит». Стихи, в которых она смогла «любовь и слезы сплавить в слова», слыша не только свою «песню где-то в вышине», но и угадывая «мелодию» к ней.

Стихи ее потому истинны и пронзительны, что приходят к ней нечаянно, «приходят, как любовь, что кажется всегда последней». Она чувствует, как через строки, надиктованные свыше, струятся вниз на Землю солнечные токи, а земные поднимаются в небо. «Токи», которые и читателя «растревожат, обожгут и уведут от всех болезней».

Ее величеству Поэзии только и хотела Нина Груздева на «чистую страницу» «поведать всю горечь дней своих и мук».

У нее в литинституте складывалось все так счастливо и удачно, что никто бы и подумать не мог, что она, имея «в кармане и прописку, и работу на выбор», когда ее «стихи хорошо печатались в журналах, а журналы заказывали переводы стихов», когда на ее стихи

звучали песни, написанные популярными композиторами, вдруг оставит Москву, уедет на родину и на долгие годы замолчит.

Это она-то, Нина Груздева, которая «талантливостью и внешне-стью украшала курс» Виктора Бокова. Это она-то, Нина Груздева, которую Федор Сухов называл «вологодской иволгой с голосом, данным самой природой». Это она-то, Нина Груздева, которую Илья Сельвинский поставил в ряд лучших поэтесс России («ЛГ», № 17 от 26 апреля 1967 года). Это она-то, Нина Груздева, которой посвящали стихи Алексей Решетов и Николай Кутов и которой писали письма Олег Шестинский, Иван Акулов, Василий Белов и Константин Коничев.

А значит, и у нее в жизни не все было так безоблачно и гладко, как могло показаться на первый взгляд. Настроение конца шестидесятых она хорошо передала в письме, адресованном Сергею Орлову, но так и не отправленном. Вот строки из него:

«Здравствуйте, Сергей Сергеевич!

Вот уже год, как Вы просили прислать Вам мои стихи, а у меня до сих пор нет ничего настоящего, достойного внимания.

Со вчерашнего дня я твердо решила ничего не писать больше, хотя такое решение принимаю далеко не впервые. Надеюсь, что на этот раз выдержу.

А зачем писать, для кого?

Газеты не печатают, говорят, уж слишком не газетные мои стихи, а до центральных журналов мне дальше, чем до Луны.

Хочется спросить: а у Сильвы Капутикян, Василия Федорова, Степана Щипачева разве мало напечатано в газетах так называемых «не газетных» стихов? Но сознание подсказывает: уж слишком большие имена ты тревожишь! Читаю журналы и вижу очень часто, что имя – главное, что если «имя» напишет и дрянь – ее все равно напечатают, а люди читают и возмущаются или считают себя непродоходимыми дураками, которым недоступна высокая поэзия.

Но все же лучше писать хорошие стихи, чем иметь громкое «имя». Их все равно будут знать люди, пусть и немногие. Мне же не нужно больше ни стихов, ни, тем более, «имени». Упаси Бог!..».

Да, многие тогда о стихах ее «говорили хорошо». Василий Федоров называл их «высокой поэзией», с ней встречался Сергей Наровчатов и потом напечатал стихи во «Всесоюзном Дне поэзии за 1970 год».

В письме к Василию Белову она пишет, что «список хороших слов» можно продолжать и продолжать, но все они, в том числе и слова самого Белова, «останутся звуком, если не станут печатным словом».

Позже, в середине девяностых, когда она вернется в поэзию и ей потребуются предисловие к новой книге, Нина Груздева обратится за ним и к Василию Ивановичу Белову. В письме к нему, обиженная его «обоснованным» отказом и уже наученная горьким опытом, она в сердцах напишет, что мы порой «слишком долго выясняем – стоит или нет подавать руку помощи, а когда выясним, то оказывается вдруг – помощь уже не нужна – человек утонул. И неважно, где он утонул: в вине или в суете, или просто обессилел от бесплодных попыток в одиночестве пробить стену равнодушия».

Она еще в те «счастливые» для нее годы поняла, что «пробиться в этом сложном мире без помощи никому еще не удавалось». Она объясняла земляку, что его «слово положительное – жизнь, отрицательное – приговор».

Рекомендацию в Союз писателей ей дал Александр Романов. Он отмечал, что «вся ее поэзия – это страстное одоление одиночества и поиски радостей жизни в творчестве». Рекомендовал ее в Союз и Николай Старшинов. Он тоже не поскупился на «печатные» слова и, в частности, подчеркнул, что «лучшие ее стихи, посвященные любви, родной земле, ее природе, – лаконичны, по-настоящему прочувствованы, в них есть та хорошая простота, которую я высоко ценю».

Нет, у Нины Груздевой иной судьбы быть не могло, и весь драматизм ее – судьбы поэта – был предопределен свыше. Я, признаться, и не знал, что она, ярко заявив о себе еще в юности, потом вдруг на долгие годы замолчала, чтобы однажды уже на краешке жизненной зари пропеть свою лебединую песню. А не пропеть ее она опять же не могла, потому что на то была не ее воля...

Тема Любви стала для нее стержневой. «Стихи, написанные ею на эту тему, являются собой как бы повесть-исповедь о любви – об одной-единственной, ушедшей, но не проходящей...» (Борис Шишаев).

Любовь – это ее Судьба и состояние души. Наверно, не было бы и пронзительных ее стихов, если бы любовь, «оставшаяся в прошлом», время от времени «не отзывалась впереди». Если бы в памяти не осталось его светлое имя, которое она в минуты радости и горя «шепчет, как заклинанье», потому что

Оно сильней, значимей, выше  
Всех наших встреч и нас с тобой.

Вот такая она – неукротимая любовь необыкновенной женщины!  
От нее не отмахнешься и не спрячешься.

Я водой заливала,  
Засыпала песком,  
А она расцветала  
Самым ярким цветком!

Я ногами топтала,  
Я косила косой,  
А она выступала  
Чистой-чистой росой!

Я косила – шептала:  
«Не моя! Не моя!»  
А она мне сказала:  
«Нет, бессмертная я!..»

Не нужны мне хоромы,  
Не нужны терема.

А меня похоронишь –  
Станешь мертвой сама!

Не топи меня в речке,  
Не старайся зарыть,  
А занует сердечко –  
Не старайся забыть!» –

Так любовь мне сказала...  
...Занимался восток.  
Я золой засыпала  
Самый яркий цветок...

Непростая судьба выпала на долю Нины Груздевой. Непростая потому, что это судьба поэта. У поэтической судьбы свое измерение времени и любви. У нее свой крест и своя нетореная дорога.

Если спросить у Нины Груздевой: «Счастлива ли она?», то она, наверно, не задумываясь, ответит: «Да, я счастлива!..». Счастлива потому, что

Пусто человеку в этом свете,  
Если сердце глухо для любви...

Нину Груздеву любовь поддерживает и сегодня, освящая каждый новый день, отпущенный ей Богом...

Она никогда не теряет присутствие духа и надежды. Не теряет даже тогда, «когда жить совсем не хочется», не теряет потому, что «у нее есть Творчество» и оно ее всегда спасает...

## 2. «ОСТАНОВИСЬ, ПОСЛУШАЙ ВРЕМЯ!..»

Не удивительно, что читателям стихи Нины Груздевой близки и понятны. И не только женщинам. Уж слишком они по жизни похожи – судьбы женские. Уж слишком они одна с другой созвучны.

И не сразу, но поняла она, поскитавшись по белу свету, что «счастье-то – в простом людском участье».

Ее уже давно «тревожит память тех далеких дней», тревожит и «болит», потому что память, подводя итоги прожитых лет, и ей «предъявляет свои иски». Она искала тишины, но с годами поняла, что и «в тишине нет покоя», потому что тишина не что иное, как она сама, оставшаяся наедине с собою и своей жизнью, в которой и у нее часто «мело и студило», гремело и сверкало.

Жизнь ее, как мы видим, не баловала. Уходили друзья в мир иной, и с каждым из них уходила «в Тайну и частица ее жизни». Вроде и довольствовалась она малым: «хотела создать рай в шалаше» и «мечтала построить дом на песке сыпучем», чтобы «зажить в нем». Но на поверку вышло так, что по жизни оказалось «это малое – так непросто».

Но для поэтессы с каждым новым жизненным кругом «все становится вдруг понятно». Понятно, почему «стояла ранняя весна, а будет поздняя». Понятно, почему с годами все чаще хочется «занять у юности – светлой мечты», а «у неба – высоты».

Понятно, почему в жизни, «на трудном ее рубеже», «душа стучится к душе» и почему, «натрудившись, душа хочет к близкой душе прислониться», да вот беда – времена изменились, и «где же сейчас ты ей душу такую найдешь?».

Понятно, наконец, почему «назад от нас бежит дорога, и расцветают веснами года» и почему наступает «пора задуматься» о времени и о себе.

И от ощущения,  
Что все преходяще,  
Становится грустно,  
Становится больно...

Это о времени, в котором «год проходит, как день», чтобы уже никогда не повториться.

«Да, все проходит. Раз и навсегда». А мы живем и «порой не замечаем, что дни бегут. А дни бегут».

Потому так и хочется, чтобы это «чудо длилось подольше». Хочется, ведь так много прожито дней «напропалую, без оглядки». Даже не верится – было ли оно – то время, «когда и беда – не беда, и тяжелое бремя – не бремя?».

Поэтесса живет с ощущением, что у нее «позади целых тысяча лет», и потому она наверняка знает, «кто друг, а кто предатель». Она современна, потому что остро чувствует не только свое время, но умеет емко сопрягать в стихах и уже отзвеневшие эпохи.

Остановись, послушай Время.  
И ощути его течение.  
Такими тихими часами  
Я думаю: что будет с нами?..

Она «любит свое прошедшее». «В нем есть всегда величественный трон, и слава, и забвение, и плаха...».

У нее и сегодня перед глазами, как на экране, «мелькают лица, села, города, события и встречи».

И каким бы оно ни было, выпавшее на ее долю время, человеку всегда «много хочется рассказать и о себе» в нем. А рассказать есть о чем. Хочется вспомнить о том времени, когда «была молода». Хочется оказаться и в пленительной власти у «родных видений». Подумать о матери, которая не уставала звать в деревню, «в свои края», туда, где осталась и ее «простота, с которой она родилась».

Ее родина, деревня Денисовская, что в пяти километрах от маленькой железнодорожной станции Пундуга в Харовском районе. Это через нее открыла она и родину большую, в любви к которой призналась так:

Родина моя – в моей крови,  
Родина моя – мое начало...

Будучи в Харовске, я с радостью увидел в районной библиотеке стенд и альбом, посвященные творчеству Нины Груздевой. Земляки знают поэтессу, изучают ее творчество и гордятся ею.

Я понимаю, почему в ее стихи так часто врывается Весна. Врывается она потому, что поэтессе хочется у родной калитки встретить новую весну и, набравши воздуха, с радостью выдохнуть: «Здравствуйте, клены!»

Ей хочется вернуться в «милые края» детства и услышать, как в заулках под окнами изб о наковальни бьют косы, когда «просыпается скот, и хлопают ворота».

Ей хочется вернуться в юность и крикнуть на всю улицу: «Здравствуй, Рита! Здравствуй, юность! Здравствуй, Пундуга моя!». Она мечтает, отработав по хозяйству «до самого последнего луча», «вновь до зорьки не заснуть» и увидеть на утреннем небе «краешек зари», когда

И ночь пустилась без оглядки...  
А следом, разгоня тень,  
Родился и привстал на пятки  
С пеленок красный новый день...

Ей хочется здесь, у родного порога, «забыть все мелкое, чуждое, злое» и «почувствовать в каждой почке рождение жизни», а себя – «не царем, а частью природы». Почувствовать себя всего лишь маленькой и хрупкой «частицей бытия», «листиком после летнего дождя», когда «вокруг столько синевы», которой можно вздохнуть «дышать, как вечностью». Ведь в природе тоже все «изменчиво, как в жизни нашей».

Да, как и в жизни нашей, в природе все изменчиво и преходяще. Придет время, и она, Нина Груздева, однажды станет «остывшей планетой». Ее с младенческих лет «манят небесные чертоги», потому что рожала ее мать на печке звездной ночью, и новая звезда, родившаяся в честь ее во Вселенной, обожгла душу и тело своим синим огнем.

Такое время придет к каждому из нас. Рано или поздно. И за все жизнь благодаря, и все в ней принимаемая, одного, может, как и Нине Груздевой, будет нам жаль, что

После нас не останется писем.  
А душевные связи тонки,  
И уносятся в звездные выси  
Телефонные наши звонки.

Может, где-то в межзвездной Вселенной  
На звезде или в райском тепле  
Вдруг настигнет звонок, тот, последний  
Не заставший меня на Земле.

В ее личном архиве много писем от современников. Есть в нем и портрет Нины Груздевой кисти искусствоведа и художника Ивенского, в прошлом директора областной картинной галереи. На его обороте он написал еще и стихотворное посвящение, которое, на мой взгляд, очень точно передает отношение к ней людей, кто ее по-настоящему знал и любил:

Пускай не очень он похож,  
Простой портрет, – не плод терпенья.  
Но ты в его чертах найдешь  
Ума и сердце отраженье.  
И пусть стихи не хороши.  
И очень мало в них искусства.  
Зато искусство – от души  
И не придуманного чувства.  
Пускай завидует природа  
Уменью легкому руки.  
Мой скромный дар – не пустяки  
И не стареет год от года.  
С чем можно подыскать сравненье,  
Раз ты здесь спасена от тленья...

Прежде чем поставить точку в своих заметках о творчестве поэтессы, я набираю номер ее телефона и радуюсь, услышав на другом конце провода ее веселый голос, обрадованный моим звонком...





## «Я вас давно люблю, Россия...»

---

Виктор  
КОРОТАЕВ

### 1. О ЖИЗНИ И ЛЮБВИ

Он любил ее, Россию, как женщину. Любил по-настоящему. Может быть, так, как в жизни любил только тех женщин, которые были похожи на нее.

И «легко вдвоем» ему было только с ней, Россией. Легко и одновременно мучительно тяжело, потому что, не «поняв эту землю», и ему, и всем нам «до конца в себе не разобраться...».

Что правда, то правда. И у него, и у нас была и остается одна «издана родимая земля», на которую «век смотри – и все не наглядеться, / век живи – и все не надоест...».

Мне так понятны эти простые, но до озноба пронзительные строки:

Ну что, казалось бы, такого...  
А я ликую и свечусь,  
Едва услышу это слово  
Совсем коротенькое –  
Русь...

У меня у самого есть строки, созвучные с этими. Не думаю, что написал я их под его влиянием. Нет, скорее, потому, что именно так чувствует свою землю каждый русский человек, на ней живущий. И я тоже, чувствуя «горький и сладкий дым Отечества», однажды написал:

Отзываясь на запах его,  
Перепутаешь дни и эпохи.  
Дым над полем висит – и всего!  
Но дыхание сводит на вздохе...

Виктор Вениаминович был моим учителем – строгим по жизни, а в творчестве – почти беспощадным. Я пишу о нем как ученик о великом учителе. Пишу спустя десять лет после его смерти.

Читаю его стихи и не перестаю удивляться тому, как он любил свою землю и сколько проникновенных стихов ей посвятил. Стихов, которые и сегодня как поэтические откровения заставляют и нас, его современников, о многом задуматься, перешагнув порог третьего тысячелетия.



...Последних журавлей печальный клич  
 Катился в светозарную безбрежность...  
 (А мы не можем до сих пор постичь,  
 Откуда в нас такая боль и нежность.)  
 Река горела сдержанным огнем,  
 Над нею глыба каменная стыла...  
 (А мы себе вопросы задаем:  
 Откуда наше мужество и сила?)  
 На горизонте высились бугры,  
 И дальше заслонялось диском солнца  
 То, что пока в нас дремлет до поры,  
 Но все равно когда-то  
 Отзовется...

В нем это неведомое, «дремлющее до поры» отзывалось в судьбе чаще и больше, чем в судьбах наших. Он и сам «умом не постигал», увидев «звезду сторожевую», какие же через нее с миром вселенским в нем «связи оживают / и что творится там – в душе».

Господи, как же искренне и самозабвенно он любил свою землю!

И от любви этой болевой только ему и только на ней, на земле, принявшей его, и дана была поэту сила почувствовать душой, «где даль растворена... как эта маленькая родина / соединяется с большой».

В этой любви он признавался и «осинушке», припадая к ней в минуты тоски и грусти. И ромашкам, которые «гадали о его судьбе». И «кукушке, которая пророчила» ему бессмертие. И «ручейку», который, узнав о его появлении на свет, подарил ему громкий и неповторимый голос.

Но «беря и примеряя» все на себя, дарованное ему Богом и Судьбою на благословенной русской земле, он, обретя голос поэта, понял, как велика за все дарованное свыше и плата – быть не только благодарным, но и «всюду верным природе своей».

А быть верным себе – это, может быть, самое трудное испытание, которое в жизни выпадает каждому из нас.

И, к сожалению, не все это испытание выдерживают...

Виктор Вениаминович Коротаев выдержал не только это испытание – может быть, самое трудное, какое только и бывает в человеческой судьбе, – испытание поэтическим словом. Но выдержал и многие испытания другие, не менее коварные и горевые, и преодолел по жизни столько лукавых и губительных соблазнов, выпавших на его долю, – в любви, творчестве и политике, – что об этом и подумать-то даже страшно.

И выдержал он их, как я думаю, потому, что крепко чувствовал под ногами своими родную землю, на которой «все вошло однажды в сердце / и в нем осталось навсегда».

А перед этой землей все мы в долгу. Чувство вины перед ней в нас неизбывно. Нам легче на ней чувствовать себя детьми, для которых ветер ищет для нас «достойное имя».

Слава Богу, ветер, тогда еще в округе русской не бездомный, нашел Коротаеву достойное его имя – Виктор!

Победитель!

Нет, у него и смех был не от «колокольчика». И глаза тоже были не цвета «зацветающего льна». И слезы у него, конечно, были не от

росы, а от непредсказуемой жизни. А вот прическа действительно напоминала «густую, волнистую рожь». Поутру она порой напоминала ураган, прошедший не смутной, а звездной ночью.

Да, Виктор Коротаяев был и таким – неукрошенным.

Меня всегда поражала его безграничная любовь к родной земле. Мы все ее любим – русскую землю. Чаше тихо и смиренно.

Виктору Коротаяеву было еще дано и слово, через которое он смог свою любовь вдохновенно и пронзительно выразить. Выразить так точно и так искренне, как, увы, не мог, но хотел бы выразить ее однажды каждый из нас.

Он знал историю своей земли в самых разных ее проявлениях – светлых и трагических. Знал и понимал, что в цепи поколений, вершивших на ней державные и личные дела и защищавших ее от многочисленных врагов, он лишь звено, скрепляющее эту цепь. И это было надежное звено, временем закалено и душою до колокольного звона выверенное.

На этой горестной земле он «был и остался солдатом». От имени ее, помня о том, как стояли за русскую землю наши предки, он ответственно заявлял, что так же верно и безаветно «мы за эту стоим».

И это не поэтическая бравада ради красивого словца, нет, это – обнаженная до наготы правда его земной жизни, в которой он, как и вчера, постоянно отбиваясь от врагов, выходил к родному порогу, как будто «только что из окруженья, / еще и остыть не успел». Он, не раз и не два «пятками босыми протопав по тропинкам солнечного дня», мистически верил в то, что у него каким-то «чудом родины оказалась Россия». Земля, на которой он «так ясно каждой клеткой помнил и жил».

И он за нее стоял до конца, видя, что происходит с русской землей и его народом во второй половине двадцатого века.

Потому и возвращался он «к тропинкам дедов» и к их земле, «где наша вечная тоска / и наши вечные истоки». Возвращался и в раздумья ходил по заповедной тропе, «чтобы она не пропадала».

Он-то знал, что «деревянная Русь» всегда стояла «на самой дороге», на самой главной и «фронтной» тоже, когда проходила она «вдоль русских посадов», обожженных войной, и чутко слышала шум разноголосых перекрестков безумного в войнах мира и всегда принимала на себя удары земных и космических потрясений.

Всегда принимала, но не всегда понимала, особенно в век «скоростей новых», когда неожиданно для себя «и сама осталась в стороне». А «ведь, как и всякая дорога», она звала всегда «куда-то вдаль».

Он со свойственной поэту наивностью назвал это «нелепостью судьбы», но, как истинный поэт, он не мог не видеть и не чувствовать, как на его веку и на его глазах «рвется в природе какая-то важная нить».

Желали, вроде бы, деревне добра, уводя дорогу за околицу, а оказалось, что через эту дорогу она с годами будет обескровлена и опустошена. И к ней, русской деревне, теперь уже и «справедливость, наверное, не дойдет и пешком» никогда.

Уже на его коротком веку он застал, когда «на всю деревню не было ни огонька». Когда «под небом древним», где «повсюду раздолье, а сердце сжимает тоска». Когда «больнее и горше» оттого, что «не поймешь – отчего?».

Больно поэту и оттого, что и не «без участия его» в «жизни делается дело» – доброе и худое. Горько оттого, что на «не избалованной родине своей» и сам он, радуя за нее во весь свой державный голос, «не лишка тут вспахал полос». Потому-то, осознавая, что происходит с его родиной, Виктор Коротаев, предчувствуя «время расплаты», «и посреди земного шара» почувствовал вдруг себя «одинешеньким». Даже тогда, когда перед ним «зеленый мир в цветах и звуках / стоял, как праздник».

И он был на этом празднике, когда «над полем тишина стеклянная звучит», и ему, может, на нем-то, веселом и горьком русском поле, большее всего и было, когда он чувствовал и, чувствуя, понимал, что «земля не помнит зла, / земля любовью дышит / и все не может нас / тому же научить».

«Но не в этом ли и есть главная суть?» – спрашивал он самого себя.

Наверно, она и в том, что сам поэт «в почву, как дерево, врос» и что его «от земли / земля никуда не отпустит». И не беда, что не все его ровесники из предвоенного поколения «сделались славой России». Главное, что все они были «дети кровные отчей земли» и все искренне служили ей и верили «в назначение свое». Главное, что с рождения они «терпеть не могли... фальшивость и гнилость», а ходить «по жестким травам века / выучены с детства босиком».

Что делать, если судьба, выпавшая на их долю и «пометившая их бедой», как «неведомая сила» «тяжко отстрадать постановила». А он, как и в прежние времена, всегда «равнялся на свет отечественных звезд», потому как у него, как у каждого русского человека, «особый жребий: хлеб растить и землю охранять», потому как и «матери рожают не солдат, / матери рожают хлеборобов».

Он понимал и, понимая, опять же горько переживал, что порой «силы предпоследние уходят / на сущие в итоге пустяки». И это тогда, когда он, по внутреннему своему ощущению, «созрел для большой любви и добрых дел», когда

Вдруг поднимается в крови,  
Как озимь, молодо и густо,  
Всепобеждающей любви  
Всепоглощающее чувство...

Он так хотел быть счастливым на русской земле. Но на нашей-то благословенной земле возможно ли такое? А ведь он не первый был на ней по-настоящему счастлив. Ему, как и всем нам, на этой горестной земле живущим, и для счастья-то было надо совсем немного: «рассветный луч, пригоршня света / да полдесятка добрых слов». Он верил, засыпая от усталости, что на родной его земле «утром река и береза», что бы с ним с вечера ни случилось, «наставят на истинный путь» и что ему тоже когда-нибудь «посчастливится пожить любимым человеком».

Нет у меня иного счастья,  
Чем тихий берег над рекой,  
Где доброй бабушки участие  
Оберегает мой покой...

Он не знал в жизни покоя, но он так беспокойно искал его и так безнадежно желал. И мне понятно, почему мы, словом замороженные и на слово обреченные, так «рвемся к тишине» из суетливых и бесплодных буден. Потому и рвемся, что в мире этом «знавали слишком много грома». Рвемся к тишине, а обретаем бурю.

И вроде бывает порой «много кругом тишины», желанной и светлой, да вот только в ней-то обрести бы «еще немножко покоя...». Но так в жизни поэтов, к сожалению, не бывает.

На его и на моих глазах тоже «каменели лихие года» и «бронзовели крутые эпохи». Я так же, как и он, вернее, через него, чувствовал, «как сверля воздух, пробивается новая сила» и как «летит в мирозданье Земля» – наша общая «колыбель, жизнь и могила».

Я знаю, что нас, разных по возрасту людей, сблизило. Сблизили нас «единая кровь» и «на коже рубцы грозовые», а еще сблизила «бессмертная к жизни любовь / и смертельная ненависть – тоже».

Чашу, предназначенную ему Богом и Судьбой, он выпил до дна. Красиво и достойно, не посрамив, выражаясь его же словами, родовых «кровей». Он умел держать удар. Он не боялся смотреть в глаза друзьям и врагам, эпохе и Судьбе. Он так и писал:

С жизнью в жмурки не играю.  
Сознаю теперь вполне:  
Чашу, полную до края,  
Предстоит испить и мне.

Тяжела литая чаша.  
Предначертанный сосуд.  
Но такая доля наша –  
Легче нам не подадут.

Не откинешь, не отменишь,  
Не отложишь наперед,  
И с друзьями не разделишь,  
Потому как в ней не мед...

Что бранить судьбу-присуху,  
Распалать напрасно пруть.  
Набирайся лучше духу,  
Чтоб кровей не посрамить.

Пусть потом не взвидишь солнца.  
Не твоя на то вина,  
Что испить ее придется  
Одному. И всю до дна.

## 2. О ВОЛЕ И О СМЕРТИ

Сегодня я был в доме поэта. Бывал я в нем и раньше. Бывал, к счастью, не раз и не два. Он меня, спасибо, всегда привечал. Встретился с женой – Верой Александровной и его сыном – талантливым человеком и поэтом – Александром Коротаяевым.

Мы вместе разбирали архив. Вернее, не архив (он необъятен), а только верхнюю, видимую его часть. Его архив похож на айсберг, дрейфующий в поэтическом океане – непредсказуемом на погоду и моду.

Мне всегда было хорошо в его доме. Мы вспоминали Виктора Вениаминовича и думали о наших земных судьбах. Думали и сегодня еще не понимая, с каким человеком и какого масштаба нам довелось жить на изломе эпох.

Он был рядом со мной много лет. Он мне помогал, как мог. Мы даже вместе копали картошку на моем участке в голодные девяностые годы и, как сейчас помню, радовались ее небывалому урожаю. В его погребу я картошку и хранил. Своего погреба у меня тогда не было. Впрочем, нет его и теперь. Он в меня верил, а эта вера его вселяла в меня страх, потому что за нее надо было отвечать по большому счету, и веру эту надо было оправдать и самое главное – подтвердить делом и словом. Он дал мне и путевку в жизнь, и в литературную жизнь тоже, благословив на нее, как будто на каторгу.

Благословил и из жизни этой ушел.

Только теперь, спустя годы и перечитывая его стихи, я начинаю понимать, до какого накала доходила его душа и под каким напряжением билось его горячее, торопливое и ранимое сердце.

Сердце русского поэта.

Он свою судьбу чувствовал, как может чувствовать ее только поэт, открытый миру и Вселенной. А русский поэт – особенно!

Он, живя «вечной жаждой творить», не мог никогда и никому позволить русское «чистое поле... осквернить сорняками». За нее, родную, он мог «обронить свою голову и, как русский мужик», потери этой «не заметить».

Теперь-то я, ставший седым и сам, понимаю, почему у него были на переломе времен «одни сомнения в душе» и почему в ней «никакой почти не было веры». Теперь-то я понимаю вполне, как жгли его «думы о родине любимой», когда не было возможности даже «подумать о себе». И напрасно было искать «душе успокоенья».

Вот и он, незабвенный Виктор Вениаминович, «всю жизнь» только и делал, что боролся, «вместо того, чтобы – жить».

Он не мог понять, тем более не могу понять и я, почему «у земли моей... для всех одинаковой матери – такие разношерстные дети?»

Он так берег свою душу, чтобы «не выстудить ее... и удержать в домах тепло». Нет, «не заносы, загибы, запои» – не это было «главное» в нем и во всех русских поэтах разных эпох и времен. Не это!

Что делать, если на них, поэтов, – «по совести живущих и закону», всегда была вне сроков и законов «открыта охота». Слишком неудобными они были вчера, и такими же остаются они, к счастью, и сегодня. Но это их природная черта и, может быть, знак божественной избранности. Но в этом, увы, и трагедия их – «погибать в расцвете лет», хоть погибать в такие годы – «нам грешно».

Но ведь погибает! Сколько их, русских соколов, отлетело уже в мир иной от любимой земли даже на нашем коротком веку? Две недели назад похоронили литературного критика, державшего всех пишущих собратьев в жестком теле, Василия Александровича Оботурова.

А современники наши (люди разных судеб и профессий) все от-

летают и отлетают в мир иной с чувством исполненного долга и с искренней верой, что они «бесследно не растают и безвозвратно не уйдут».

Хорошо бы так!

Но страшно думать о том, что они, Богом отмеченные и Богом призванные на эту землю, так обостренно чувствовали, что на них уже с пеленок время, отведенное им, «старательно кроит смертельную рубаху» и даже «примеряет, ловко подгоняя под размер».

Такое ощущение, что и он, Виктор Коротяев, просыпаясь поутру, нередко видел эту «новенькую белую рубаху», что висела над ним, как «распятая». И это тогда, когда ему «с каждым утром хотелось жить иначе и открытее» и, выйдя в парной июньский луг, с радостью увидеть «родину, которая, как мать, слезой озерною блеснет».

Уж лучше «умереть, не дождавшись того, чтобы звуки померкли и краски. Умереть – до того, до того. И ни в коем уж разе – не после».

Он свою смерть предчувствовал. Раньше, читая его стихи, я даже об этом и не думал. Я просто этих печальных настроений не замечал, видя рядом с собой такого богатыря, каких так не хватало на русской земле в те смутные годы конца двадцатого столетия.

Через его судьбу – судьбу большого русского поэта – я, может быть, только и понял, какую силу и какой драматизм несет в себе человек, отмеченный божественной искрой. Понял, как чувствует он время, принявшее его однажды на этот старый белый свет, и как обостренно чувствует он судьбу, уготованную ему в отпущенные на коротком человеческом веку годы.

Понял я и то, что при всей неукротимой его поэтической стихии и он, оказывается, был беззащитен перед своей судьбой, которую ему предназначал Бог.

Он и жизнь любил так обнаженно, ярко и стихийно, потому что чувствовал, что в ней ему при всем его богатырстве отведен совсем короткий срок. И он его, этот срок, отпущенный ему, чувствовал и тогда, когда все думали, что при его-то здоровье жить ему сто лет и что он, читая стихи о близком своем уходе, просто лишний раз бравирует своим недюжинным здоровьем.

Да нет, он не бравировал. Нет, он был и здоровьем, как вышло на проверку, не богатырь. Он был уязвим – суетой, бытом и, как ни странно, друзьями, а потом уже и грязной политикой людей, правящих его любимой Россией.

Но он был богатырь по духу. По духу он был русским – непоколебимым, бесстрашным и честным. Был таким, каким был его отец-фронтовик. И этим все сказано.

Он был достойным сыном. И не только своего отца, но и двадцатого века. Не знаю, каким чувством он предугадывал свою трагическую судьбу. Видит Бог – не знаю. Но вот снова и снова перечитываю его стихи и не перестаю удивляться его холодным и как будто рассудочным предчувствиям своей смерти.

Это он, не помня о летах, «слушает весенних птах / так, словно больше не услышит». Это ему кажется, что, бродя по мокрому лужку, «ему уже по нему босому не гуливать».

Он и на Россию «смотрел так жадно», как будто бы и с ней вот-вот

должен был проститься навеки, не успев «насмотреться на зарю» и «надышаться синевкою».

Он чувствовал, что судьба ему готовит «какое-то потрясенье». Поэтому и память его, «медведем разбуженная», так часто вставала «перед ним на дыбы». Потому, «встревоженный грядущей вестью», он и каждую свою песню пел «на людях», как «прощальную». Потому и слово у него «ворочалось в сердце, точно глыба». Да, он, по его признанию, «с рождения уже самосожженец», просто «следы ожогов» до поры до времени были «скрыты от сторонних глаз».

А душа его «металась туда-сюда», как «под ногами мечется былинка», а «слово наворачивалось, как слеза». И ловил он эти слова, «что спали на чутких ветках вдохновенья», как бабочек.

В жизни он, восхищаясь ею и над нею плача, был похож на «косяка, потерявшего башку». С вечера он не знал, что «завтра небо на головы обрушит нам?». «Предчувствие грядущего конца» выдавало себя «бледностью его лица». Не все и не всегда эту бледность в его лице при жизни замечали. Уж слишком здоров и могуч он был – поэт Виктор Коротаев, а сам-то он, глядя на «злато заката», не мог понять, почему оно, заглядывая в его земные глаза «спокойно и угрюмо», не дает ему «ни жить, ни умереть».

После этого он для себя категорически и не раз заявлял:

«Нет, видно, надо умереть...». Он даже понимал, почему умереть надо. Потому что на родной его стороне и в любимой им России, только после смерти и может «равнодушная сначала» зазвучать во славу ему «законодательная медь». Увы, но это правда. Веками, замечу, выстраданная правда и не одной судьбой оплаченная.

Понимая это, он не жалел себя и хотел как можно быстрее «спалить себя, спалить дотла», чтобы и друзья, «с трудом пьянея, признали, сидя у стола, что в мире стало холоднее». Он был убежден, что только «смерть докажет без труда, что целой жизни не под силу». Он так думал, и я не скажу, что он ошибался. Нет, просто время его еще, к сожаленью, не пришло. Да и друзья, наверно, до конца не смогли оценить масштаб его дарования и личности.

Он, воспевая родную землю, думал о своей звезде – поэтической. Она манила его, но он не знал – куда? Не знал и боялся, каждодневно готовясь идти на ее далекий и, может быть, обманчивый свет.

Он похоронил своего друга – Николая Рубцова. И он не мог, склоняясь над гробом поэта, не почувствовать на себе его «грозную трагическую тень».

Не знаю – почему, но он, такой сильный и даже могучий, писал после этого о себе так обреченно и горько: «я не заживусь на этом свете».

И это тоже, представьте, его строки:

И можно, не старясь, закончить пути:  
И сладко растаять, и тихо уйти...

Уйти «без боязни, поскольку навек», уйти для того, чтобы там, на небесах, «ничто не могло потревожить его ночных раздумий о себе». Он понимал и даже усмеялся, оглаживая любовно свою черную бороду, когда ее носил, что «прожил бы лет девяносто, когда б поуме-

ренной жил». А вот ведь, жил-то неумеренно и по-русски разгульно, потому «и умер, как будто нарочно, во цвете, во празднике лет...».

Да, смерть свою он предчувствовал, иначе бы не написал, что «смерть его не за горами».

Не знаю, какой смысл он вкладывал в эти вот трагические строки, но думаю, что вкладывал смысл глубокий:

Если жить достойно не придется,  
То принять достойно надо смерть...

Я не знаю, что с ним по жизни случилось, но мне, как и ему, в мире нынешнем «страшно жить без веры и надежды», но «еще страшнее помирать». Это его строки. Но я готов под ними подписаться.

Может, потому и кричал он на всю Вселенную: «Занесите меня в Красную книгу», чтобы на любимой им русской земле однажды «не занесли его в книгу Черную»? Не знаю, но думать об этом не перестаю...

Он даже представлял, как «в последний миг земные рощи с высот небесных оглядит» и как «эту жизнь, минувшую так скоро, в последний раз благословит».

Он предвосхищал радость этого смертельного полета и по-русски сожалел, что этой «последней радостью открытья» не сможет, увы, ни с кем поделиться.

Да, он предчувствовал, что «годы его на исходе» и что «старые волки топчутся и ждут-поджидают его».

Но хорошо бы умереть где-нибудь и не пропасть абы как, а мирно и достойно, «надеясь на высшую милость», «заснуть под заветной сосной».

Он понимал, готовя себя к вечному покою, что «все, что творилось с землею» на его глазах и во времени, ему отпущенном, «с душой уже сотворилось». И не было ему «жаль большого тела», тем более, что «душа прохвачена давно» и остались в прошлом его «неперспективные закаты и бестолково прожитые дни». Тем более, что и он, здоровый русский мужик, не знал, как можно (и можно ли вообще?) «это время зыбкое подольше удержать».

Он стремился туда, откуда «правда, может быть, и виднее».

Но он, тщетно взыскав ее, еще и добавил: «виднее – да, но вот скажу ли я, что от этой правды – веселей?..».

Вопрос остается открытым. Задаю его в который раз себе и отвечаю строками из стихотворенья Виктора Коротаява:

Ничтожность смерти одного лица  
Перед лицом бессмертия Вселенной...

Он был готов оставить этот мир и переместиться в другой. Одного только, как грешный человек, он, судя по всему, очень боялся «представляя свой последний путь». А боялся он того, что вдруг «некому будет собрать его в дорогу и некому будет помянуть слезою».

Не могу понять, почему он так рано от нас ушел. Не могу принять эту утрату и никогда не смогу. Такого не должно было быть.

А он ушел?



Нет, он не ушел. Он рядом. Только мы-то, по рукам и ногам связанные пустышной суетою, никак не можем понять, как надо, пока живы, радоваться «каждой травинке, росинке, лучу».

Это его простое и вечное завещание.

Как у поэта истинного, у него было обостренное ощущение окончания земной жизни, так им любимой. Не потому ли он так ее любил и воспевал, боясь опоздать и не досказать все то, что мог сказать о ней только он – поэт, Богом призванный на эту землю...

А уж как он живописал свою Липовицу! А в ней-то не просто деревня, в ней – вся Россия!

И мыслил он державно – и мысль его простиралась от маковки сельской часовенки, восстановленной, кстати, после его смерти и не без его участия, – до куполов Московского Кремля.

Бог испытал его на любовь к этой земле. Он этой земле послужил. И любовь к ней подтвердил своими стихами.

Он помогал всем, кто служил и служит своей земле, не думая о себе.

Он ушел из жизни рано, потому что слишком был сильным. А сильных людей, преданных родной земле, не любили и в России, тем более, ее, сильную, никогда не любили враги.

К сожаленью, и друзья поэтов во все известные нам времена таким подвижникам Руси помочь, как надо бы, не могли, хотя и ...

И нам некого винить в ранней смерти светлого и сильного поэта, кроме самих себя – равнодушных и слепых.

Так пусть хотя бы сегодня работает его слово, разбуженное поэтом и в его сердце закаленное до высокой пробы – той пробы, от которой происходит в чувствах короткие, как в быту, замыкания. Почаще бы нас замыкало на любви к своему дому и к отеческим гробам.

А самое главное – найдутся ли завтра читатели, в чьих сердцах слово поэта отзовется?

Вопрос, опять же, остается открытым...

По крайней мере, для меня...

У Виктора Вениаминовича каждое слово бьет током. У него даже между строками искрит и знобит – от его духовного напряжения. После прочтения его книги «Вечный костер» у меня и у самого душа будто обуглилась, чтобы потом, как я понимаю, из пепла заново возродиться.

Не в этом ли и скрыт тайный смысл поэзии? Не над каждой книгой стихов я испытываю такие чувства, и не каждая поэтическая строка искрит в моей душе и заставляет с перебойми биться мое сердце...

Слава Богу, мое сердце пока бьется. Значит, я должен сделать что-то важное, сделать то, что не успел мой дорогой учитель...





*«Живу в морозной  
ясной стороне...»*

---

Юрий  
ЛЕДНЕВ

Они покинули этот мир друг за другом,  
потому что друг без друга жить не могли.

### 1. «Я ДАРИЮ ВАМ ЦВЕТЫ»

Свое слово о Юрии Макаровиче Ледневе я хочу начать с книги его жены – Надежды Сергеевны.

Ее книга «Я дарю вам цветы» – это, без преувеличения, потрясающий своим откровением гимн, посвященный нашей короткой жизни на светлой северной земле! Их «сад-огород» в деревне Мартыновская Харовского района с весны до поздней осени утопал в цветах.

Я не раз бывал у Ледневых в деревне и знаю, что были эти цветы не красивой декорацией богатого загородного особняка, каких сейчас много. Нет, цветы под окнами старой деревенской избы не просто украшали ее вселенское пространство, но и органично в него вписывались, потому что в пространстве этом царило живое единение, такое ныне редкое, человека конца двадцатого века с благословенной и благодатной природой.

Для Надежды Сергеевны, по ее искреннему признанию, цветы были с детства сокровенным «предметом поклонения и восхищения». Она видела в них не только «глубочайший смысл жизни», но через них постигала и свое «призвание» в ней. Цветы – это молитвенное «прикосновение к земле» и каждодневное «удивление души, память об ушедших и уважение к живущим, ощущение божественной красоты и благодарность природе за щедрость ее...».

До конца дней согревали ей душу тюльпаны, подаренные однажды возлюбленным на заре их далекой юности.

«Я благословляю этот день. Это день нашей весны, наших цветов. Это день нашего счастья. Гордые, прекрасные цветы сделали свое доброе дело. Как много дней прошло для того, чтобы в полную силу своей красоты зацвели наши первые тюльпаны. Они цветут!

Ты видишь, милый, сколько света они излучают? Какая природная мудрость заключена в этих пламенных цветах! Прошло много-много лет, а любящее сердце помнит. То мгновение было прекрасно!..».

Какое счастье, должно быть, в окружении детей и внуков вот так трепетно и красиво на склоне лет, убеленными сединой еще раз признать в любви друг другу! Многие ли из нас способны на такое?

Их детство проходило в костромском краю на реке Унже.

И у самого Юрия Макаровича на всю жизнь осталось в памяти ощущение заливного, в разноцветье, былинного луга.

Вот как он описал его в повести «Макаркино детство»:

«Травы ждали сенокоса. Они стояли едва не в человеческий рост и звенели. Справа и слева, впереди и сзади, как будильники, трещали кузнечики. Серьезный, важный шмель гудел басом. А сверху, где-то рядом с солнцем, заливался поздний жаворонок.

В высокой траве можно было лечь на спину. И тогда ближайшие травинки были похожи на игрушечные деревья, поднявшие макушки прямо в небо. И казалось, что белые облака задевали их на ветру и раскачивали...». Позже Юрий Макарович, вспоминая те пламенные тюльпаны, выразил через них и свою жизненную философию:

И в нас эта сила пребудет.  
И в нашем тюльпанном краю  
Добрей станут новые люди  
И вспомнят про общность свою...

Они и по жизни так же бережно, с такой же безграничной радостью и нежной любовью относились друг к другу, как относились к Божьим пташкам и цветам под окнами своего деревенского дома.

И невозможно представить, каким же сокрушительным было их потрясение, когда в Мартыновской дом сгорел.

Впрочем, было в их счастливо прожитой жизни много и других потрясений, как и в каждой русской семье, пережившей драматический двадцатый век.

## 2. ДВЕ СУДЬБЫ, ЗАВЯЗАННЫЕ В УЗЕЛ...

Но о потрясениях чуть позже, а пока не хочется оставлять тему любви. Наоборот. Ее хочется продолжать и продолжать, потому что только любовь обладает жизнеутверждающей силой. Той самой силой, которая их обоих, Надежду и Юрия, каждый дарованный Богом день вдохновляла на жизнь и на творчество.

Она в них от природы, как и в каждом из нас, – любовь ко всему живому. Только не каждый, к сожаленью, находит в себе силы пронести эту любовь через всю жизнь. Они пронесли. Она проявлялась у них ко всем – к отцу и матери, к родной земле и к братьям нашим меньшим.

У них у обоих ощущение мира было – поэтическим!

Даже когда «в огромном мире грозы», когда «воюют страны и ссорятся соседки», Юрий Леднев, наблюдая за скворцом, хлопочущим у старой скворечни, искренне удивляется: «А здесь такая радостная жизнь, и скворец «поет о счастье с полуголой ветки!..».

А это уже не только о радости, но и о большой любви:

Ах, как они танцуют, журавли,  
Над нежным майским предвечерним лугом!  
То парами вышагивают кругом,  
А то пойдут цепочкой друг за другом...  
И Журки-женихи своим подругам  
При этом объясняются в любви...

Он поражается и чибису, который «стоит, как витязь тонконогий, среди дороги», «не прячется в травах», а неусыпно несет дозор, оберегая от опасности своих птенцов. Он в утренний час, когда «неспешно встает солнышко, и чуть слышно шелестит камыш», готов слушать и слушать молодецкую перекличку петухов, «набекренивших алые гребни».

И она, Надежда Леднева, по-детски радуется, когда видит «заботливо укутанные в тряпочку и положенные на ступеньки крыльца» медуницы и ландыши. Она знает, что принес их в подарок из леса Альберт Алексеевич Землянкин. А еще больше радуется, когда цветы для ее гербария приносят деревенские дети – Витя и Ксюша Устиновы, Слава Черкасов. Найдут «невзрачную гвоздичку-травянку, уже отцветающую, у забора соседнего дома» и постучат в окно:

-А мы цветочек принесли...

Придет время, и об этом цветке они в жизни вспомнят не раз. Обязательно вспомнят. Может, и сами цветоводами станут, как стал им Иван Алексеевич Ожерелков из села Заднее Усть-Кубинского района. Он не только выращивает цветы, но и выводит новые их виды и каждому дает имя.

Ему, вчерашнему учителю, воину, инвалиду войны, и светлой его любви, пронесенной через всю жизнь, Юрий Макарович посвятил удивительное стихотворенье под названием «Аналфо»:

-«Аналфо»?

А что это такое? –

Тихо у хозяина спросил.

Что-то медлит цветовод с ответом,

Грусть в глазах и ласковость видна.

-Это, понимаете ли... это

Анна Алексевна Фомина...

...И не спит солдат сентябрьской ночью,

И стоит, сутулясь, у окна...

И цветет светло и непорочно

Анна Алексевна Фомина!..

А в деревне Мартыновской в садах под окнами уцелевших домов до сих пор растут и радуют своей красотой «Надины цветы». Сельчане называют их так потому, что семенами их щедро делилась с соседями Надежда Сергеевна.

Она писала: «Уходят люди от нас, но оставляют по себе светлую память. У жизни всегда есть завтрашний день. У цветов – тоже...». Как будто о себе и писала. Уж она-то знала, как памятливы и дороги бывают для человека цветы. А сколько у нее самой в жизни их было!

Однажды «ласковая и милая девочка Ира Страхова», любившая «разводить цветы в уголке бабушкиного огорода», подарила ей ирис. Иры не стало, а цветы «живут у нас под окнами и радуют в начале лета своими темно-лиловыми цветами...»

Я смотрю на величавые головки касатиков и мысленно разговариваю с Ирочкой: «Это наше с тобой свидание, милая девочка, воплощенное в светлую-пресветлую земную красоту».

Юрий Макарович и сам, по словам Надежды Сергеевны, был «верный помощник в моем красивом труде». Это он о ней написал:

Ты ходишь, любуясь цветами.  
Тебе их лелеять не лень.  
Из веток, как ласковой маме,  
Тебе улыбнулась сирень...

И, действительно, «никакому цветику в нашем садике не тесно, потому что не в обиде. Им привольно живется. Они всегда чувствуют мою заботу. Сколько раз я наклонюсь к ним, приговорю и приласкаю. Я знаю, когда они хотят попить, знаю, когда им голодно. Живые существа – они нуждаются в ежедневном уходе. На мою заботу цветы отвечают мне пышным цветеньем...

«Любуйся, хозяйшка, мы тебя не подвели. Довольна ли ты нами?» – словно бы они спрашивают меня, а я им отвечаю:

– Да, деточки мои, очень вам рада. Вы – счастье мое. Счастье самое тихое, самое прекрасное! Я благодарна вам до слез... Вы со мной, а это так много значит!..».

Можно представить, какими же доверительными и теплыми были отношения и между ними – Юрой и Надеждой. Это о них написал он в стихотворении:

У родника стояли двое.  
К руке притронулась рука.  
И стало донце золотое  
У родника, у родника...

И это тоже о ней:

Сегодня утром улыбнулась ты –  
Вспорхнуло солнце рыжей перепелкой.  
И отряхнуло перья с высоты,  
Преобразив их в рыжики под елкой...

Они оба понимали, что им «ссориться нельзя», потому что от их ссор «смущается природа...».

Так что однажды у колодца «не только тропки в узел завязались, / и две судьбы, и две судьбы...».

Жизнь их продолжается и после смерти. И, оставляя эту землю, горячо ими любимую, они знали, что:

Будет вечер другой. И опять чье-то сердце вот так же забьется.  
И еще один мальчик упьется летучей, певучей строкой.  
Деревянного очепы скрип над глубоким и добрым колодцем  
Будет снова наполнен тревожно шемящей вселенской тоской...

### 3. «ДО КРУПИНКИ ХРАНИТЕ РОДНОЕ...»

Конечно, далеко не все и не всегда было и в их жизни таким радостным и безмятежным. На тропах, по которым они выходили на дорогу, и особенно на дороге, которая выводила на главный Путь, и у них было много обретений и утрат, «щемящей тревоги» и «вселенской тоски».

Он держал в руках похоронку, пришедшую на отца, и читал убитой горем матери письмо однополчан о его геройской гибели. Разве об этом забудешь?!

На заре мне приснился восставший из мертвых боец.

В серой шапке.  
И в валенках серых.  
И в серой шинели.  
Тот боец был убитый под Лодзью мой бедный отец...

И не скажешь, что разговор с ним был во сне. Он помнил о нем до конца дней своих.

Я пришел посмотреть... посмотреть, как живые живут...  
Как живые живут на оставленной нами планете...  
...Вот ты пишешь стихи.  
Ты, пожалуйста, людям скажи:  
На Земле надо жить... надо все-таки жить осторожно...

А как можно было ему на ней жить спокойно и «осторожно», если он постоянно чувствовал, что «и до сих пор летят в мою страну отравленные пули...»? Если и сегодня «бьет набатом в дверь нашего дома / день и ночь пепел двух мировых...»?

Если и сегодня старушка, выносившая с поля боя раненых, «как будто все несет еще ту ношу», которую ей «взвалила на плечи война».

Ей трудно, очень трудно распрявиться...  
А где-то снова горизонт дымится...

Он был человеком той эпохи, которая воспитала его и дала ему «путевку» в жизнь. Он ей никогда не изменял, как никогда не изменял единственной любви и не предавал своих друзей. Он не мог болезненно вписаться в мир новый – жесткий и порой беспощадный ко всему, что ему было дорого по детству, по школе, по юности и что для него было бесконечно свято. Но он должен был, чего бы это ему ни стоило и как бы он ко всему происходящему ни относился:

Встать с тревожным веком наравне  
И стать, а не считаться гражданином?  
Вот почему и я не чужанином  
Живу в морозной ясной стороне...

И он был гражданином. Он был им и в самые трудные для него годы. Говорю об этом ответственно, потому что хорошо знал его. Мы с ним часто общались, и я чувствовал, как он переживал за все, что в конце прошлого столетия происходило с людьми и со страной.

Россия! Ты прощала тех,  
Кто в трудный час с тобой расстался.  
Кто возвращался.  
Кто метался.  
И тех, кто за морем остался,  
Не отыскав возвратных вех.  
Но можно ли простить тому,  
Кто, спекулируя талантом,  
Всю жизнь провел в родном дому,  
А был душою эмигрантом?..

Он любил не только землю, на которой родился и вырос. Не только природу и близких ему по крови и по духу современников.

Нет, он всей своей жизнью и «каждою строкой присягал / и перед историей, выдавшей виды...».

История русского народа во всех ее светлых и трагических проявлениях была, может быть, одной из главных тем его творчества. Он видел, «как изменилась жизнь» и как на его глазах рухнула великая империя и произошла смена исторических эпох. Он был не только свидетелем этого, но и невольным участником.

Но в контексте любой эпохи его прежде всего интересовал человек, в котором наиболее ярко проявлялись лучшие черты русского характера. И совсем не важно, какого он при этом был сословия и званья.

Потому-то и появляются в его стихах и притчах, балладах и драмах люди именитые и почти безымянные, но всегда гордые и сильные, талантливые и земле родной преданные. От царя Грозного Ивана и Петра Великого до Микитки-каменщика и звонаря Ивашки-увечного.

Он вдохновенно пишет о «кузнецовой находке – «устюженском чесноке», «счетверенных гвоздях», разбросанных по земле вдоль реки Мологи. Они как ножом полоскали по копытам и наземь «валили с лошадьми седоков» Батыевой конницы.

Он восхищался достоинством мастера, отлившего из чугуна для парижской выставки статую «Россия» – «Женщину. Воительницу. Мать».

Уж так упрашивали его богатые иностранные господа продать им диковинное изделие, так упрашивали, что не могли и понять, услышав от него:

Хоть дождем осып нас золотым,  
Не с руки нам продавать «Россию».  
Барин, не проси.  
Не продадим...  
**(«Каслинское литье»)**

И где понять врагу-мародеру, пришедшему на поле боя в час затишья, что «богатство русских солдат – в их сердцах, а их сердца молчат...». И нельзя объяснить ему, не поймет, никогда не поймет, зачем у солдата на бечевке «тряпичный узелок, а в нем – земли комок» («Баллада о горсти земли»). Это для врага «комок», а для павшего на поле брани русского солдата – это горсть отеческой земли!

Чем отмечен: гранитом ли, медью?  
Или просто былинкой живой?  
Где Макар Иванович Леднев,  
Красной Армии рядовой?..

Знал бы он, где отец похоронен, то посадил бы на его могилке полевые ромашки и васильки, выкопанные за околицей родного дома. О, если б только знал!..

Поэт готов поклониться до земли каждой «тете Паше» и каждой женщине из поколения его труженицы-матери, которые «от рассвета до рассвета» жили и «не жалели себя для дела». И разве одной «тете Паше» вспоминаются по ночам «эвакуация, вокзалы, могила мужа, смерть детей...»?

Только по ночам и приходят в гости к солдатской вдове Прасковье шесть сыновей и муж, не вернувшиеся с войны. «Шесть ден – в избенке шесть гостей».

– Кого все ждешь ты, Парасковья?

Их, родных, и ждет она весь свой короткий бабий век и все надеется, что не долог уж тот день, когда они вернутся.

– Я гляну в окна – а по полю,  
Там, далеко, сыны идут...

Потому и выходит по осени на болото за клюквой «из дому темно, чтоб поспеть обязательно на заветные кочушки, чтоб набрать меру целую...». Ведь сыны и муж так любили клюквенный морс! Видели бы они, какая нынче «клюква вызрела яркая, все болото, как радуга...».

И неудивительно, что для Юрия Макаровича даже в «улыбке Джоконды» «есть что-то от русских сельских женщин,

Чьи лица летним солнцем сожжены,  
Чей строгий вид печалью переменчив.  
Невестами все ждут они с войны  
Тех, кто на поле с пулею обвенчан...

Поэт всегда поражался мужеству солдат и великому женскому терпению, в котором смиренно и светло покоится в великодушном сердце «горе неизбывной глубины». Не дни прошли, «прошли лета, а оно не стало меньше...».

И, чувствуя себя в постоянном и неоплатном долгу перед старшим поколением, поэт-гражданин уже в зрелые годы становится концертирующим общественным деятелем. С друзьями артистами (Анкудиновым и Сerezжинным) он не раз и не два объехал все вологодские грады и веси, чтобы сказать землякам доброе слово и подарить им свои стихи и песни.

Много лет Юрий Макарович был председателем правления Вологодского областного отделения Российского детского фонда. И во всех делах ему помогала его жена – Надежда Сергеевна.

Это еще одно проявление их, ледневской, любви друг к другу. Это и пример деятельной и отзывчивой любви к детям и ко всем людям, с которыми их по жизни сводила судьба.

Неслучайно так много у поэта стихов-посвящений современникам разных судеб и национальностей: Кристине Крахельской («Варшавская сирена») – скульптору из Польши (на польской земле погиб отец – Макар Иванович), Александру Романову («Поднялась изба»), Василию Белову («Песня»), Сергею Багрову («В Тотьме»), Ивану Ожерелкову («Аналфо»).

Валерию Дементьеву Юрий Леднев посвятил драматическую поэму «Василий Сиротин».

Для Юрия Макаровича Василий Сиротин – поэт-мученик. «Его талант пробился к нам лишь немногими строками стихов, из которых



нам полностью известна лишь одна песня «Улица, улица...», которая еще недавно печаталась с пометой «слова неизвестного автора».

В предисловии к ней автор пишет: «Мракобесие и изуверство, не раз вставшие на пути поэта, постарались истребить все, что связано с именем опального бурсацкого сочинителя. Протест против этого и заставил меня взяться за перо, чтоб воскресить образ забытого поэта».

В этом протесте тоже, согласитесь, проявился его характер.

Для Леднева судьба Василия Сиротина – «явление гения в глуши» – типична для российской действительности. Сколько их, талантливых самородков, родившихся в глубинке, так и остались безвестными, так и не смогли раскрыться во всю свою мощь. И не всегда по своей вине.

«Хвала тому, кто верит в свой талант...».

И коль дано  
Испить из родника святыни,  
Тот ключ найдет он все равно,  
Хоть дело будет и в пустыне...

Поэт обращается в своем творчестве и к известным историческим личностям. Ему важно через их трагические судьбы показать величие и силу человеческого духа, способного творить чудеса.

Через опального Аввакума поэт хочет напомнить нам – своим современникам о том, что и вчера «от раздора и роскоши рушилась Русь, от обжорства и бедности духа сиречь...».

И не только напомнить, но и предостеречь.

Видя, как на костре сжигают опального Аввакума, самоед самоеду говорит:

– Кого любят, того и сжигают...  
Не сожженные люди – простые.  
А сожженные люди – святые.  
Их никто не зарует, не скроет...

За силу духа и смелость еще и уважают. И заклятые враги тоже. После встречи с 90-летним старцем, преподобным игуменом Макарием Желтоводским хан Улу-Махмат, захвативший обитель и многих в ней погубивший, дал своим сыновьям такой наказ:

...И запомните каждое слово,  
Что сорвется с его полувывсохших губ,  
Ибо мудрость – вот жизни основа...  
(«Макарий Желтоводский»)

В дни холеры, разразившейся в Вологде, Николай Матфеевич Рынин, подвизавшийся Христа ради на Вологодчине, спас от гибели семью губернатора и остановил в городе страшный мор. После чего губернатор распорядился, обращаясь к согражданам:

Все делайте, как скажет он...  
Исполните все, что он скажет!..  
(«Никола Рынин» – пьеса в стихах)

Для Николы было «любое место свято». Это так созвучно и самому поэту, как понятно ему и то, что «любого человека награды делают рабом...».

Но в истории все повторяется, и человек мало чему у нее учится и мало, к сожаленью, извлекает уроков из горького, а часто и кровавого ее опыта.

Потому-то, с радостью вопрошая (он ценит предков-созидателей), – «скажи нам, Спас-Камень, тебя создавали какими руками?», поэт уже с болью взывает к своим современникам, зная по своей судьбе, чья это вина, – «скажи нам, Спас-Камень, тебя разрушали какими руками?».

И все же надежда не оставляет его. Он видел, как вдохновенно трудятся на острове Каменном уже внуки и правнуки тех, кто когда-то, не понимая, что творит, разрушал святую обитель. И, видя это, верит в то, что обитель в новом тысячелетии «мы поднимем своими руками!..».

С этой верой он жил и творил. С верой, обретенной через муки и страдания.

Наверно, и перед смертью вспоминал Юра Леднев, как бабушка привела его в дом священника (церковь была закрыта).

Поп крестил его не в купели, а в ведре, освященном им для церковного таинства. Вспоминал он и своего крестного отца. И не по воле случая, как казалось тогда, а по промыслу Божьему стал его крестным отцом Христа ради странствующий по всей округе Ваня-Тряпочник.

Нас многих в детстве тайком крестили бабушки, а не матери с отцами, потому что такое было время. Это и наше было время – счастливое в трудном детстве, светлое в юности, устремленной в будущее, тревожное и беспокойное, когда у нас самих появились дети и внуки, исповедуя уже ценности нового времени.

Это теперь мы, повзрослев и поседев, не только чувствуем, но понимаем, что

...ни мать, что с порога глядит, –  
Не знает никто той дороги, какая тебе предстоит...

У него была в жизни своя дорога, и прошел он по ней красиво и достойно. Рядом с ним была всегда и верная его спутница – Надежда Сергеевна.

У Юрия Макаровича есть стихотворение, в котором он пишет: «меня признают после смерти...». Даст Бог, так оно и будет. Он заслужил этого. Но то, что он оставил на земле добрый след и остался в памяти своих современников и друзей, – это правда. Свидетельство тому и эти мои заметки на полях поэтических книг.

Юрий Макарович был редактором моей первой рукописи стихов. С его благословенья она вышла в сборнике «Молодые голоса Севера». Он один из собратьев по перу, кто знал наизусть мои стихи и читал их публично. Низкий ему поклон и вечная память...





## Поэзия и драма «обычных дней»

---

Роберт  
БАЛАКШИН

### 1

Иван Иванович, выйдя на пенсию, почувствовал, что вдруг «начал проникать в суть явлений», и неожиданно для себя всерьез задумался о смысле земной жизни: «Как, зачем жить в этом ненормальном, исковерканном мире?».

У него даже появилось несколько своих теорий. Одну он формулировал так: «жить для того, чтобы жить». Но это, размышлял он, есть «жизнь природы, животных, растений. Человек стоит выше этой биологической цепи. Животные не знают своих предков, у них нет истории».

По другой теории «люди живут для того, чтобы оставить свой след на земле? Умирая, они продолжают жить в своих делах, сохраняется память о них».

Эту теорию он тоже поставил под сомнение, потому что «имена людей, оставивших по себе память, при желании можно уместить в одну большую книгу, но никакие книги не вместят имена всех людей, когда-либо увидевших солнце», но не оставивших о себе, к сожалению, ни следа и ни памяти.

Была еще у него и теория «жизни для собственных детей, для государства, для будущих поколений». Последняя теория – для будущих поколений – «вообще низводила человека до уровня навоза на всемирном огороде истории». А кроме того, если для примера взять даже наше порубежное время, то в жизни «не раз случались такие повороты, когда потомки жили хуже, подлей своих предков, когда, поддавшись обману, люди предавали завоеванную в боях славу, а нажитое трудами нескольких поколений богатство спускали за бесценок в погоне за наслаждениями».

Он, будучи человеком основательным и добросовестным, рассматривал даже частные случаи теорий. У теории «следа на земле» им была еще выделена, например, «теория бессмертия человечества». Логика у него здесь была простая: «Умирали люди и государства, но жило человечество. Однако какая была утеха ему, конкретному человеку с его единственной, неповторимой жизнью в этом коллективном, стадном бессмертии?».

В конце концов, он, сам того не ожидая, «дошел своим умом» до самой, по прежним временам, настоящей крамолы и понял, что и «же-

лезные категории единственно верного, и потому всесильного учения (марксизма-ленинизма – В. К.) срабатывают не всегда и не все объясняют».

И потому на поверку у Ивана Ивановича выходило, что «тропинка мысли вела его в тупик. Последовательно-логическая теория смысла жизни не выстраивалась. Как ни крути, получалось, что жизнь бессмысленна».

Хотя сам он, «мыслитель на пенсии», понимая, что «в жизни не все так укладисто просто», пользу и смысл долгой жизни своей по традиции измерял все-таки «добрыми делами» («Иван Иванович – мыслитель на пенсии»).

## 2

Была своя «философия жизни» и у рабочего человека Михаила Карташова – героя повести «Обычные дни». Это повесть о жизни и судьбе обыкновенного человека, живущего рядом с нами. Человека, который пытается найти в жизни свое место и главное – смысл ее. Это повесть о нашей повседневной жизни, такой каждому из нас знакомой и чаще своей бесцветной и однообразной.

Он жил в Вологде, работал на стройке. Женился рано, но семью не сберег – развелся. Теща по-своему и справедливо осудила обоих:

– Это вы, два дурака, пожили – да в сторону, паренька старухе оставили. Ох, жизнь пошла, ни в чем греха нет!..

К сыну он иногда приезжал, когда в деревне под Тотьмой не было его бывшей жены.

И здесь, именно здесь охватывало его «странное чувство, что он дома, хотя никогда ни изба, ни деревня не были его домом». Он не без удивления ловил себя тогда и на странной мысли: «Неужели, где б ни приткнуться, везде дом?».

Теперь одинокая жизнь Михаила была во внешних ее проявлениях во многом похожа на любую другую жизнь, несложившуюся и беспечную. Работа и пустой дом. Пьяные выходные и случайные женщины. Большая голова и похмельная тоска.

Жизнь «текла тем ровным, равнодушным ходом чередования дней и ночей, праздников и будней, получек и авансов, ходом, который, по его представлению, изменить ничто не могло».

В бригаде женатые мужики осуждали его и пытались образумить. Юра Соломин, например, считал, что Карташов жил «бессмысленной, неосознанной, привычной жизнью, у которого на уме одни приключения».

Карташов не обижался на ребят из бригады и даже не смущался, когда разговор заходил о нем именно в таком контексте. Какой бы его жизнь ни была – «холостяцкой, одинокой, собачьей и неприкаянной» – он любил ее и такую, любил уже «за то, что это была своя, собственная» жизнь.

Он злился не на жизнь, а на самого себя. Сколько раз после очередного загула он просыпался поутру с больной головой и нередко в чужой квартире. Сколько раз он с тоской и горечью сам себе признавался, что жизнь у него и впрямь «скотская, собачья», что вокруг крутятся «не друзья – собутыльники, что нет ни одного настоящего друга и нет никого, кто бы, расставшись с ним, подумал, вспомнил о нем».

Думать думал, но ничего менять в ней не хотел.

Но, в отличие от многих своих сверстников, Михаил о жизни думал постоянно и всерьез. И не только с похмелья. Он чувствовал, что не все в ней складывается ладно и не все идет так, как надо и как хотелось бы. Как поглядишь порой трезво на жизнь земляков да как соприкоснешься с их изломанными судьбами, так и у самого в глазах свет померкнет, да так, что перед всем миром станет стыдно.

С годами Карташов стал все чаще, оглядываясь на прожитые годы, задумываться о времени и о судьбе своего поколения:

«И как же случилось, почему, что из всей компании остался один он? Мастеровитый умелец Гошка пьяным вlepился на мотоцикле во встречный самосвал. У красавца, умницы Володьки ночью остановилось сердце. Ловкач, акробат Левка поплыл с банкой на тот берег за пивом и утонул у всех на глазах на середине реки. Смелычак Колька, перебрал лишка, валялся зимой на улице, отморозил легкое и пожил всего полгода. Силача, острослова Юрку убили в драке, ткнув вилкой в горло. Жив Генка, работает кочегаром... зашел как-то к нему – сидит Гена на тачке, лыка не вяжет, сопли и слюни до колена висят. Но Гена всегда сзади отаптывался, подтягивал шавкой, вперед не лез. И он жив, а тех ребят нет...».

Он еще в детстве, «когда был мальчиком лет восьми и всему верил, думал: хорошо бы все люди были счастливы».

Да, хорошо бы все в жизни устроить так, чтоб «мужья от жен не гуляли, а жены от мужей не вешались, чтобы матери от детей не отказывались, а отцы не ездили украдкой сынишек проводить... Хорошо бы, но как?».

Но один ли он так жил, и один ли об этом думал: «Но если все так живут, значит, нужно жить не как все. Если верить в жизнь, то только в добрую жизнь. Но что такое – добрая жизнь?».

«Может, о доброй жизни в книжках написано, – мучительно, даже на работе, размышлял Карташов. – Да неужто нет такого человека, кто мог бы сказать ему, что такое добрая жизнь?».

Иной раз, встретив кого-то из одноклассников или приятелей шумной юности, Михаил и на свою жизнь через них смотрел как бы со стороны. Не он один, каждый «надеялся, что случится и с ним что-нибудь хорошее, и вся тусклая, как невымытое окно, жизнь повернется иначе».

И она действительно стала поворачиваться к нему светлой стороной, когда он случайно по осени на уборке картошки в пригородном колхозе познакомился с Лизой, которая работала на кирпичном заводе. Хотя бывает ли что в жизни случайно?

У Михаила философия жизни, «обычных ее дней», до встречи с Лизой была простая:

«...К взрослым ни к кому он не был всей душой. Зачем? Да и нельзя, как привыкнешь. Всей душой – значит, во всем в открытую, а кто ж так живет! Так не бывает. И какой ни есть лучший друг, все равно и он от тебя, и ты от него чего-нибудь скрываешь, таишь про себя. Но она-то может так жить. И посмотришь – не врет, не хитрит.

С Лизой нужно жить доброй жизнью...».

У Лизы, как и у него, была в Вологде маленькая комнатка в деревянном доме с высокими окнами. В те годы таких «задушевных,

неодинаковых домов было полно в Вологде. Теперь их сводили на дрова. Повидал старый дом на своем веку и свадеб, и рождений, и смертей, – всего, чем богата людская жизнь».

При встрече с Михаилом Лизе робко, но счастливо в который уже раз «помечталось о семейной жизни». Она давно для себя решила, что ей, «видно, на роду написано – жить одной», но все же на счастье свое женское надежду не теряла. Сколько их вокруг нас – таких вот несчастных судеб.

Для Михаила у Лизы в комнатке было «хоть и убого по нынешним понятиям, зато привычно и уютно, как дома».

У Михаила было две комнаты в таком же деревянном доме. Его дом тоже «мог бы рассказать, как менялись люди и семьи в его квартирах: въезжали и выезжали, начинали здесь свою жизнь и здесь ее заканчивали, приходили сюда в середине пути и на середине же его уходили, оставляли по себе память и не оставляли. Менялись люди, жили здесь, и, возможно, некоторые из них тоже думали и мечтали о доброй жизни...».

Михаил с Лизой нашли друг друга и, слава Богу, сыграли скромную свадьбу, и с того дня у них «все было ладно, мирно, семейно». Михаил и сам, оказывается, тосковал о такой жизни, искал ее и не сразу поверил в то, что судьба неожиданно улыбнулась ему.

Он вспоминал, но без радости, а порой и с отвращением и свою прежнюю жизнь, к которой в свое время так привык, что никакой другой уже и не представлял. Потому и боялся расстаться с ней или хотя бы «наполовину» разделить ее с новой женщиной. «Да и наполовину ли?».

Теперь же, «глядя на Лизу, хлопотавшую у плиты, глядя на ее нависший выпукло обозначаться живот, думал, что если в самом деле есть счастье, о котором так все любят говорить, то что-то похожее было теперь у него с Лизой. Спокойное, семейное счастье, когда само собой все устроилось так, что живут они друг для друга, в общих заботах и согласии».

После встречи с ней он даже объект свой строительный увидел не как «постылое, надоевшее поле, глину и грязь, ежедневные поездки в автобусе, очереди в столовой, вызовы «на огонек» в контору». Ему вдруг и обычная работа «показалась интересной и красивой». У него даже за себя и за дружную бригаду «в груди что-то вроде гордости шевельнулось».

Для него теперь «аэродром, работа» были не «частью жизни, не определенным куском времени», как ему казалось еще вчера, нет, теперь и работа, и Женя Воронин, и Соломин Юра, все были «самой жизнью», его личной жизнью, и не такой уж по большому счету и бесполезной.

Это вчера он не верил, что «может что-то измениться от думы одного человека». Это вчера, примеряясь ко всему, что «попадалось ему на глаза, о чем он слышал от других людей, о чем разговаривал с Лизой», Михаил еще не знал, что и есть такое добрая жизнь, «не знал, всего лишь чувствовал».

Теперь он не только чувствовал, но и ясно осознавал, радостно и просто, что его жизнь была органично вплетена в «жизнь общую», которая шла и развивалась по своим, веками неизменным законам: «новое становилось старым, и всюду были заводы и люди, дома и

люди, машины и люди, земля и люди». Только теперь для него уже не витала, как вчера, «над всею общей жизнью, как дух над водами», а жила и вершила в нем выстраданно и прочувствованно «мысль о доброй жизни».

После свадьбы с Лизой и рождения Сонечки жизнь «начала новый круг» и обрела для него животворящий смысл, который заключался в том, чтобы просто и деятельно беречь и «любить их».

Тогда-то, обретя этот смысл, она опять как будто заново родилась и укрепились в нем – все та же сокровенная «мысль о доброй жизни», с которой «так и жить теперь ему до смерти».

А после смерти Лизы эта мысль об устройстве мира и смысле жизни обрела уже форму вечного «круга жизни»: «был ребенком, повзрослел, состарился, и надо умереть. Что ж, так устроено. Умерли его отец с матерью, Лиза и много других людей».

Вот они с Сонечкой, возвращаясь с кладбища, остановились на поле, и Михаил, пока дочка спала на подостланном пиджаке, смотрел на небо, на полевые цветы и «думал как-то обо всем сразу. Словно и кошка, и клубника, и Соня, и работа, и это поле ржи, и Лиза – словно все было связано друг с другом, все это было – одно, и обо всем можно было подумать как об одном».

...И даже та дикая и безумная жизнь, которой он жил до встречи с Лизой, тоже была нужна. Все для чего-то нужно. Одно для того, чтобы задуматься над ним, другое, чтоб жить им, а третье...».

### 3

А «третье», может, и есть самое главное – это дорога, ведущая к храму. Правда, выходит на нее человек не сразу – кто раньше, а кто позже. Другие же вообще до конца жизни не находят ее.

Во второй части повести («Во время оно...») в центре повседневной жизни оказывается старая икона, вокруг которой и разворачиваются все дальнейшие события. Через икону писатель погружает нас в разные эпохи и времена, сопрягает события и судьбы людей прошлого и настоящего и, как рентгеном, просвечивает души наших современников.

Писатель вводит в действие много новых действующих лиц, которые все вместе создают живой образ современного города и представляют духовно-нравственный срез расслоившегося общества.

Карташов и после смерти Лизы, оставшись один с дочкой, не переставал размышлять о «доброй жизни», которая к нему-то не такой уж была и доброй.

Никто не мог ему объяснить, что же это такое – добрая жизнь. И надо было самому, «на четвертом десятке, когда уже впору бы жить ею, допытываться, что же это такое. А может, каждый сам по себе додуматься должен, и скопом, всем сразу, к доброй жизни только тогда и придешь, если каждый думать об этом будет? А может, добрая жизнь отдельно и просто жизнь отдельно? Когда можно – доброй жизнью живешь, а в остальное время – как получится, просто живешь и все...».

Вопросы, вопросы, вопросы.

В последнее время он сошелся с Эдиком Быковым. В молодости гуляли вместе. Жизнь у Эдика не сложилась. После армии на два

года сел в тюрьму. Потом работал по вербовке, бродяжил. Был женат, имел двоих детей (сына и дочь), лишен родительских прав. Дважды лечился в ЛТП. Здоровье подорвал многолетним пьянством. Жил в однокомнатной квартире, которую получил по сносу старого дома во Флотском переулке, пущенного на дрова.

Однажды в рабочий перерыв Эдик рассказал Карташову, как он чудесным образом бросил пить:

«...И видится мне моя мать. Настоящая. Я родной-то матери, Миша, не знаю – подкидыш я. И Татьяны мать помню, но знаю, что моя-то – вот она. Лицо у нее доброе и светится. Радостно мне, что мать увидел, а радость такая, как будто она через тебя лучами проходит. Я даже слезу пустил. Слеза катится по щеке, а мать мне ласково, жалеючи, говорит: «Сынок мой милый, что ж ты с собой делаешь?»

Так, Мишка, я вылечился. Решил – завязываю, в рот больше не возьму...».

Недавно он у себя на кухне случайно обнаружил, что столешница у него – не простая доска, покрытая клеенкой, а старинного письма икона. Теперь она, прислоненная к стене, напоминала «большое, прямоугольное деревянное полотнище, подернутое сухой, цвета мыльных ополосков мутью. За этой мутной коростой виделось, нет, лишь угадывалось какое-то изображение». Несомненно, это была икона. Только никто пока не знал, насколько она ценная и «соответствует ли она горшку с золотом».

Никто не знал, и как она появилась у них дома. А судьба у иконы была драматическая, как и судьбы тысяч людей сразу после революции, и о себе она домочадцам напомнила только сейчас, через семьдесят лет, – ни раньше, ни позже и, конечно же, неслучайно.

В дни богоборчества, когда «народная» власть активно занималась изъятием церковных ценностей, к деду Эдьки, Тимофею Быкову, пришел тайно Алексей Воропанов (он был одним из тех, кто в семнадцатом году «скидывал со здания городской думы двуглавого орла») и, дрожа от страха, спросил:

- Помоги, Тимоша. Помоги, друг...
- Что, Лешенька?
- Ой, Тимофей, Анисья... сегодня церковь-то нашу, Петропавловскую, закрыли... Иконы кучей под дождем лежат. Тимоша, друг родной, пойдем, приборем хоть одну...

Спасенную икону, чтобы скрыть ее и спасти, хозяева наложили на обеденный стол, отодрав от него гвоздодером старую столешницу. В это время все пятеро их детей: старшие сыновья Павел, Степан, Алексей, дочка Катя и младшенький сыночек – Петруша (он единственный придет с войны живым) – мирно спали и ничего не видели. Потому до самой смерти никто и не знал об иконе, спрятанной до лучших времен от «воинственных безбожников».

#### 4

С неожиданным ее обретением жизнь в доме Эдуарда Быкова сразу оживилась и даже приобрела почти драматический характер. К нему зачастили родственники. Сначала муж сводной сестры Игорь Виноградов решил, что икону «из рук упустить нельзя» и надо как



можно скорее забрать ее у «неисправимого хроника», но Эдик выгнал его из квартиры и чуть не спустил с лестницы.

Следом за ним по наущению мужа забежала к Эдику хитрой лисичей и сама Татьяна, его сводная сестрица (Эдку нашел под мостками и усыновил ее отец – Петр Тимофеевич Быков).

У Эдика был «импульсивный характер», и потому Татьяна, смотря по обстоятельствам, «то признавала Эдку за брата, то открещивалась от него». Для нее Эдка «был нагло-развязным хамом, которому на все наплевать, никого и ничего не жалко и не стыдно».

Ей было до тошноты противно в его затхлой квартире с «ободраным диваном и серым тонким, как стелька, засаленным суконным одеялом, с закопченными мятыми кастрюлями, ножами из обломков новочочных полотен».

Ей затрудняла дыхание и вызывала тошноту и рвоту «липучая, стоячая вонь – порождение запущенного, неухоженного жилья, нестираной протухшей одежды, годами не мытых полов, десятков окурков, валявшихся где попало». Какая знакомая по нынешним временам картина.

Татьяна работала бухгалтером в одном из управлений облизполкома и потому вращалась в другом обществе. Она считала себя «современной русской женщиной», родить второго ребенка отказалась наотрез, а мужу так и сказала: «В доску выскребусь, а не рожу...»

Иконы Татьяна видела только на экскурсиях раза два или три в жизни. Она бы и не поехала к брату, если бы ей самой не надо было выпросить у мужа денег на заграничный туристический круиз. Но и у нее разговор с братом не получился.

Ее взаимоотношения с мужем, основанные исключительно на деньгах, характеризует вот этот типичный для них диалог, состоявшийся сразу после ее возвращения от брата:

«– Чего ты орешь, дура? Подавись ты этими деньгами, приду домой, швырну их тебе в рожу.

– Чего я ору? – тихо, с яростью одержанной победы сказала Татьяна. – Чего я ору? А вот чего! – И узкая ладонь Татьяны, хранившая стойкий аромат французского мыла, вписалась в полнокровную щеку Игоря...».

Единственный их сын Олег, «с детства захваленный и заласканный, привыкнув получать подарки и удовольствия, собирать похвалы и почести, практически ни в чем не встречая отказа», играл в футбол за школу, за спортинтернат, за город, за область, выступал на первенстве республики среди юношей и с мальчишеских лет считался подающим большие надежды.

«Олег, возможно, и стал бы звездой, если б не лень да не юношеское бахвальство. Над собой он работать не хотел: «Какой смысл? – говорил он. – Позовут в высшую лигу или на худой конец в первую лигу, там можно постараться. Попотеть, и на квартиру, и на машину начинаешь, а здесь чего ловить?».

Игорь гордился сыном: «Сын вырос таким, каким мечталось ему», – свободным в суждениях и без всяких комплексов. За словом в карман не лезет.

Сын же, в свою очередь, считал, что у родителей «одни деньги на уме».

Игорь был начальником отдела проектно-сметной конторы. Еще в школе поставил себе цель «во что бы то ни стало достичь успеха в жизни», для этого он «ценой больших и не всегда приятных усилий внедрился в круг местной «золотой» молодежи».

Родную мать они с Татьяной, ожидая трехкомнатную квартиру, вроде как временно «ухлопотали в интернат. Жить без матери привыкли быстро. Шесть лет мать в интернате – стыдно и в то же время, что скрывать, – удобно».

Игорь занимался видеобизнесом. На паях с приятелем, у которого был видеомагнитофон, они показывали порнофильмы. Игорь поставлял кассеты, которыми его снабжал Борис Злотин, делега из Ленинграда.

С Карташовым они были соседями по даче. Для Игоря Михаил был «тупой и с виду ленивый мужик», в котором скрывалась «чудовищная сила». Однажды он помог Игорю копать яму и «за два часа выбрал столько земли, сколько Игорю хватило бы на день».

А икона была нужна Игорю для того, чтобы подарить ее «нужным» по жизни и по бизнесу людям. Джону ли, директору пункта обслуживания автомобилей, «делеге» ли из Ленинграда Борису Злоткину.

## 5

Зная писателя Роберта Балакшина как человека, любящего Вологду и Отечество, я не сомневался, что на страницах повести через своих героев, исповедующих разные точки зрения на историю России, на традиции народа и современные нравы общества, он обязательно заявит болевые для него темы.

И вот у Игоря и Бориса Злоткина появились их идеологические оппоненты – патриот города Паша из органов охраны памятников истории и культуры и одноклассник Игоря Сергей Уваров.

Для писателя Сергей – герой знаковый. История его жизни – «это обыкновенная история жизни русского человека». Сергей, как и многие его сверстники, да, наверно, и сам Роберт Балакшин, «только к тридцати годам осознал себя русским». Теперь, когда он начал открывать для себя «долгую повесть трудных лет» своего народа, и, почувствовав за своей спиной его неодолимую силу, хотел только одного, «чтобы дети его поняли то, что понял он, не к тридцати пяти годам, а гораздо раньше».

Сергей Уваров был музейщиком в третьем поколении и долгое время жил с родителями в угловой башне музея. Дед его стоял у истоков краеведения в губернии (член-учредитель «Общества изучения Северного края»).

А в Москве, где он закончил престижный вуз, Сергей «в беготне и сутолоке столичной жизни, в смене заграничных отелей и аэропортов обретал и по крупницам собирал самого себя».

Он не забыл, как в годовщину смерти деда отец с матерью пошли на кладбище. То кощунство, невольными свидетелями которого они стали, потрясло их, а отца даже лишило сил. И сегодня, спустя годы, трудно поверить и представить, как «по кладбищу, разворачиваясь на надгробьях, срезая их ножами, изламывая гусеницами, круша памятники, выворачивая из земли с корнем кресты, чадно урча, ползали два бульдозера...».

Отец тогда не выдержал и рухнул прямо на Горбатом мосту. Его разбил паралич. Он выжил, но на ноги уже не встал, нуждаясь в постоянном уходе и присмотре.

Тогда Сергей и вернулся в Вологду, без сожаленья расставшись и с Москвой «златоголовой», и с красивой работой.

Теперь он служил Вологде рядом со знаменитым на всю Россию реставратором Иваном Васильевичем Воиновым. А его в свое время выслали из Ленинграда в Вологду, где, помотавшись по разным углам, он правдами и неправдами пристроился в краеведческий музей. Почти десять лет он «ютился у одной милосердной старухи за печкой на сундуке, а вечерами на кухне в керогазовом, примусном чаду под мат, пьяные песни и похабные частушки на уголке конторки писал то, что впоследствии стало кандидатской диссертацией».

Вот к нему-то через Сергея Уварова и обратился Игорь за консультацией и помощью по поводу найденной иконы.

## 6

В повести пришло время, чтобы герои ее, живущие в одном городе на рубеже тысячелетий, сошлись бы в непримиримом, но, слава Богу, пока словесном поединке на самые болевые для писателя темы. Читаю их диалоги и будто слышу громкий голос самого Роберта Балакшина и голоса его единомышленников, в которых легко угадываются вполне конкретные и знакомые нам горожане:

«— Что такое – русский? – смял Пашу Игорь. – Я сам – русский, так что из этого? Теперь нет русских и нерусских, есть люди, которые руководят и которыми руководят...»

– Как ты страшно упрощаешь, – сказал Сергей. – Русское – это безрезки, лапти и клопы. Держава-то мировая от Тихого океана до Карпат не клопами создана.

– Сейчас появился а la russ? – устало сказал Игорь. – Расшитые рубахи, косоворотки, сплошные люли, лады и ладушки, русское – самое хорошее, самое милое и доброе. Тошно. Тош-но... Сережа, Сережа, столько повидал, везде поездил, насмотрелся всего. И ничему там не научился...

– Научился, – вздохнул Сергей. – Научился, вот и приехал домой. Пока мы, как жирафы, вытянув шею, и со слюной у рта смотрим в Западную Европу и Америку, боимся прозевать последний покррой порток и бюстгальтеров, у нас сносят храмы, как стиральной резинкой стирают кладбища, сбивают из икон столы, а потом кричат – посмотрите, у вас же ничего нет! У вас и не было ничего. Вы – скоты. Вы – стадо!..»

А о Паше скажу. Когда на улице Лермонтова по приказу нашего нового мэра ломали старый дом, Паша под клин-бабу встал. Ни у тебя, ни у меня на это духу не хватит...».

По этому вопросу Игорь был единоклубен со своим сыном, который мыслил так же, как и он. Недавно Олег так рассказывал ему о новом тренере:

«Вчера опять лекцию завел – русская история, русская культура, литература. А меня прямо трясет. Молчал бы в тряпочку, думаю, японский телевизор – срок гарантии – двадцать лет, а наш – год. А

джинсы, а рок, а комфорт – откуда? Не стерпел я и говорю: да чего такого русские придумали-то, изобрели? Чего? Лапту, лапти да ЛТП.

– Нет, а хлестко сказано. Так бы и Жванецкому не схохмить, – похотатывая, сказал Игорь. – А тренер что?

– Парни все слегли, а Митя «бе, ме», начал про Жукова, Гагарина, Шолохова мумлять, еще про кого-то, словом, – газету читать, а его никто не слушает...».

Иван Васильевич сразу понял, что Игорь «принадлежит к тому типу людей, которые душу свою ни за кого полагать не расположены».

Сергей тоже сразу перестал общаться с Игорем, как только узнал, что он занимается «порнухой». Но Игорь, обидевшись на Сергея, с надменной запальчивостью просил его, «такого умного», пояснить ему, «низкому», чем же «эта часть земной биомассы под наименованием «русский народ» лучше другой, оставшейся биомассы?..».

У Сергея в голове не укладывалось: «Жить на своей земле и так думать о ней, о своем народе, о тех, кто жил до тебя, – это же самодество какое-то».

Да разве мало среди нас таких людей, как Игорь? Их, к сожалению, становится все больше и больше.

И не о них ли, обсуждая в перекур нравы нынешних горожан, сказала Зинаида Константиновна, приятельница и сослуживица Татьяны:

– С цепи все сорвались, с ума посходили...

Да и чего же другого можно ожидать от молодого поколения, если, по словам отца Ивана, жизнь у молодежи до краев заполнена «футболом, рок-музыкой, развратом, модной одеждой, ритмической гимнастикой, конкурсами красоты. Занимайся чем угодно, но только не думай о себе. Не покой. Не тишина, а постоянное общение, торможение человека. И так проходит жизнь: в обмане, в наркотическом сне, проходит и завершается вечной мукой...

А рядом церковь с проповедью нетленного добра и неугасимой любви, с плодами духа, которые суть – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость. Но церковь за незримой, но высокой и прочной загородкой...».

Это было время, когда, по словам таксиста, подвозившего Татьяну к дому брата, даже и старшее-то поколение прожило жизнь, не заходя в действующий храм:

«– На пенсию скоро, а колокольного звона я ни разу не слышал...».

Такая была жизнь. Ее-то и пытается писатель воссоздать в своих героях и поставить ей свой неутешительный диагноз.

Для большей убедительности и объективности тех или иных оценок и суждений писатель вводит в повесть Ленца, немецкого военного летчика, который в годы войны, попав в плен, долгое время находился в Вологде и потому помнит город во всем его деревянном великолепии.

На экскурсии по музею, кроме Сергея Уварова, его сопровождал городской чиновник.

Сергей потом так рассказал о ней Ивану Васильевичу Воинову. А увидел он и услышал тогда вот что.

Господин Ленц сказал, что «город Вологда после войны чрезвычайно изменился». Чиновник воспринял его слова как похвалу. Он

даже «просиял как юбилейная медаль» и на глазах присутствующих радостно подтвердил:

– Похорошел, изменился...

Господин Ленц выслушал это «похорошел», глянул на чинушу и пояснил: «Во время войны, как ни печально в том признаться, я должен был бомбить ваш город. Уже были готовы карты боевого бомбометания. Однако я вижу, в бомбометании не было необходимости. До войны я изучал архитектуру, градостроительство и скажу вам компетентно: Вологда была образцом, эталоном сочетания древней архитектуры и жилой застройки с окружающей средой. Где сейчас эта гармония? Это хаос, бессмыслица, бред!».

Сергей, вспоминая, как чиновник бледнел и слушал «вражескую агитацию», от себя Воинову добавил:

– У них ведь, Иван Васильевич, у чиновников, Вологда все хорошеет. Церкви ломали – хорошела, тополя спиливали, словно город – это леспромхоз по заготовке дров, – хорошела. Сотни домов на распыл пустили, у театра статую истерички с дудкой поставили – похорошела, берега реки в бетон замуровать хотят – тоже, думают, похорошеет.

– Под прикрытием лозунга «Каждому гражданину – унитаз и ванну!», – согласился Воинов, – древний город уничтожили...».

Это только три примера «идеологического» противостояния, а в повести их много. Кажется, что во второй части повесть такими «диалогами и спорами» даже перегружена, и, приобретя через них публицистическую заостренность, она, на мой взгляд, заметно потеряла в художественности...

## 7

Зная Роберта Балакшина как православного человека, я предвидел, что среди персонажей и героев его повести непременно должно быть духовное лицо.

Им стал отец Иван, правда, «уже целый год не служивший, потому что провинился перед своим начальством». Это он «уговаривал Эдика не пить».

Михаил, познакомившись со священником, продолжил с ним при активном участии Эдика важный для них разговор о «доброй жизни».

– И как ты добрую жизнь понимаешь? – спросил Иван.

– Я считаю, – сказал Эдька, – надо просто жить по совести.

– Сейчас люди так живут, сколько людей, столько и совестей. Греха теперь для людей ни в чем нет, поэтому, если не попался, так все можно, все добро – и кошку за сарайкой растерзать, и убить кого, и обмануть, и дитя свое в роддоме оставить. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душу погубит? Мир проходит, а душа вечна...

Это о. Иван, узнав о худых намерениях Игоря, обратился к Михаилу Карташову с просьбой, зная, что только он может повлиять на Эдуарда:

– Скажи Эдуарду, чтоб он никому икону не отдавал. Попадет она в худые руки, погибнет...

Об этом же он безбоязненно сказал и самому Игорю:

– Оставьте Эдуарда в покое, ему икона нужнее, чем вам. Она явилась ему неспроста...

На что Игорь не сдержался и ударил Ивана по лицу. Такая вот нештучная интрига завязалась вокруг «обретенной иконы», пока реставратор Воинов очищал ее в мастерской от грязи и возвращал к новой жизни.

...А Иван Васильевич на «доске-столешнице» открыл икону Тихвинской Богородицы, написанную добротной в девятнадцатом веке мастеровитым местным иконописцем.

Эдуард перевез ее к себе и пригласил всех, по предложению Ивана Васильевича, на ее «торжественный показ».

Собрались все, но вряд ли кто, кроме отца Ивана, понимал и мог представить, как сердце его поведет себя у иконы, как оно отзовется на нее и о чем заставит задуматься. Ведь сердце так непостоянно, особенно у человека духом слабого и робкого. Оно «в одну минуту может измениться несколько раз к доброму или худому, к вере или к неверию, к простоте или лукавству, к любви и ненависти, к доброжелательству и зависти, к щедрости и скупости, к целомудрию и блуду...» (Иоанн Кронштадтский).

И вот в вымытой и вычищенной комнате Эдуарда, в которой выветрился даже стойкий дух застоявшейся вони, «белая накидка исчезла, и взорам людей явилась икона...

Девственно ясный образ не скрывала отныне грязная, мутно-удушливая пелена, и люди видели Богородицу с младенцем такими, какими предстали они много десятилетий назад духовному взору безвестного иконописца.

Для души православной «этот свет... эта тихая теплота, исходившая от нее, – все говорило о нерушимом покое, возвещало о жертвенной любви, взывало к радушной милости, навевало кротость, учило терпению, наставляло добро, возвышало душу».

Первой на лик Богородицы откликнулась чистая и светлая детская душа:

– Я знаю, – громко шептала Сонечка, схватив за руку Михаила и поднимая радостно светящийся взгляд, – это наша мама, да?..».

Душа Карташова, едва спало с доски белое покрывало, в первое мгновение и не поверила, что перед ним стояла та именно икона, которую он видел до того, как ее, засаленную, отвезли в мастерскую.

Но в глазах мальчика и матери читалось что-то родственное ему и теплое. Карташову даже показалось, что глаза Богородицы были тихо устремлены на него, и как будто насквозь видели они не только все его прошлые дела, но и слышали каждое слово, зарождающееся у него в душе, чувствовали еще не оформившиеся желания и угадывали его тайные помышления.

Надя, шумная соседка Эдика, привыкшая воспитывать сына хлестким ремнем, увидела икону, «присела на корточки, притянула Васю к себе и, вздохнув, поцеловала в висок. Редкая ласка обрадовала Васю, он тоже обнял ее и крепко прижался худеньким тельцем к животу матери».

Зоя, подруга Татьяны (она пришла за компанию с ее мужем Игорем), «сначала равнодушно, тупо поглядывавшая на икону, мало-помалу втягивалась в этот бессловесный диалог с иконой, и

постепенно ее начало заполнять чувство какой-то неясной вины и стыда. Зачем она здесь? Как она может так подло поступать по отношению к Татьяне, которая столько хорошего сделала для нее?».

Даже у Игоря, искренне откликнувшегося на радостные слова Софьи, «промелькнула мысль о какой-то иной жизни». Даже он, взбудораженный чувствами, подумал вдруг о том, что «все, чем он занимается, – это неустанные заботы, как сколотить тыщонку-другую. И ради этого приходилось ловчить, хитрить, приноравливаться. Иными словами – быть кем угодно, только не самим собой. А если жить просто – без гонки за деньгами, за модными тряпками, за заграничным ширпотребом, жить твердо и ясно, не поддаваясь никаким соблазнам и искушениям? Но как им не поддаваться, если они – рядом? Вот ведь эти Борька надоумил его заняться порнухой. Впрочем, зачем все сваливать на кого-то, а ты сам-то – что? Ты – свободная личность. «Свободная личность». А в чем я свободен?..».

Борис Злотин тоже был тут. На него никто не обращал и внимания, пока он вальяжно и с вызовом не обошел икону и глубокомысленно не сказал, играя на публику:

– Да, милая вещица. Что-то похоже на семнадцатый век, но не раньше. Вообще-то я должен сказать, что русская икона декоративна, она вся – символ, и можно со всей ответственностью заявить, что западный модернизм вырос из русской иконы..

В среде несведущих людей такие речи обычно производили должное воздействие, а здесь, по его убеждению, стесняться было, кажется, некого.

Однако Бориса ждал жестокий удар. Первым атаковал Паша:

– Вы оставьте, пожалуйста, эти наукообразные бредни при себе. И не смущайте людей..

А потом и Эдька сказал свое слово:

– Слушай, тебе чего, не нравится моя икона? Так вали отсюда, тебя ж никто не звал. Ты кого, Игоряха, привел-то?..

Осадив заезжего гастролера, похожего на тех «прохвостов и прощелыг», которые совсем недавно «шастали по области на грузовике, обчищая пустые избы и обирая доверчивых старух», Паша снова любовался ликом Тихвинской Богоматери. Он смотрел на него и думал о том, что только на тридцатом году своей жизни он и стал с «пиекетом» относиться не только к «древности икон», но и к самому их мистическому образу.

Будучи человеком своего времени, Паша не понимал пока «ни слова, ни значения молитвенного действия, воспринимая религию только внешне, культурно-исторически».

Но, тем не менее, захваченный художественным образом лика, он силится представить и даже почувствовать, что рядом с ним «незримо стоят все, кто когда-либо молился перед ней, – его родичи, земляки, знакомые, близкие и вовсе неизвестные ему люди. И чем древнее была икона, тем плотней, необозримей выстраивался перед нею исторический род».

Сергеем в эти минуты обуревали другие мысли. Он перед иконой «ощутил неполноту чувства русского в себе». Неожиданно и с какой-то светлой надеждой Сергея осветила простая мысль: «Может, съездить в Лавру? Писал же Павел Флоренский, что там Россия ощущается как

целое. И Сергей решил, когда «Лена родит, окрепнет после родов», то они обязательно с детьми съездят к Сергию Радонежскому.

Когда все ушли, Эдуард сел на табуретку перед иконой и как будто растворился в пространстве комнаты, ставшей вдруг такой светлой и просторной.

Он не знал, что в эти минуты по его искреннему желанию происходит сердечное соединение с Богом, о котором в последнее время так часто и так много он расспрашивал отца Ивана.

Он не знал, что сейчас Бог был с ним и не могли уже «ни стены дома, никакие заклепы темниц, ни горы, ни пропасти воспрепятствовать этому соединению. Господь действует как электричество: и тогда тебе делается необыкновенно легко, потому что вдруг разрешается твое бремя греховное, посещает тебя дух сокрушения о грехах, умиления, мира, радости» (Иоанн Кронштадтский).

Эдуард сидел, а «широкие чистые лучи заходящего солнца освещали икону. Эдьке вспомнились отец, мать, однорукий дед Тимофей, ему думалось о жене, о детях, о том человеке, который сделал из иконы стол, о тех многих людях, на которых давно смотрела Богородица своими грустными, жалкучими материнскими глазами.

И верилось: что-то изменилось в жизни, стронулось с мертвой точки в иную, добрую сторону...».

И не только у него одного...

А может ли наша жизнь, «бесцветная и однообразная», стать другой, и при каких условиях она может измениться именно в «добрую сторону»? Может, конечно, может, если и в серых буднях «обычных дней», вроде бы похожих друг на друга, каждый из нас научится улавливать душой и сердцем разлитую в них поэзию вечности и несказанный свет божественной любви...

И вот уже там, как тысячу лет назад, как вчера, – «за рекой, за Фрязиновом, за Андреем Первозванным, над каменными уступами домов, над бескрайним полем, которое для одного мальчика было когда-то сказочным краем земли. Там, над неведомыми могилами, над вольной рекой Сухоной, над суковатой дремучей липой у реки, над скромными деревнями и покосами, – тонко зарозовело небо, и по самому окоему его легко обозначилась фиолетовая дымка.

Дымка, соединявшая начала и концы, проструилась, стала невидимой, а по синему холсту неба, по облачкам, раскиданным там и сям, побежала беззвучная игра света. На смену розовому, легкому, как дыхание, источился зябкий, бледно-капустный цвет, и только занял собой край неба, как неприметно исчез, смытый нарастающей золотистой желтизной. Сменяются небесные краски, и вот взметнулся над горизонтом сноп золотых лучей, и снова торжественно и просто стало всходить солнце...

Как тысячу лет назад, как вчера...».







## Когда мы будем вместе

---

# Виктор ПЛОТНИКОВ

### 1

Под этим названием в 1993 году Виктор Плотников издал книгу. В ней всего восемь рассказов. Сюжеты их просты и незамысловаты, герои тоже – обычные люди, живущие рядом с нами на рубеже веков.

Через семь лет в московском журнале «Слово» под таким же названием была опубликована первая часть его повести, а в 2004 – вторая.

«Когда мы будем вместе...» – это уже было не просто вежливое пожелание, это был болевой вопрос, обращенный к современникам. И вопрос не риторический, это, если хотите, вопрос выживания русской нации.

Он не давал автору покоя в конце прошлого века, не отпускает его и в новом тысячелетии.

В интервью газете «Русский Север» (23 июля 2008 г.) Виктор Александрович так и определил главную идею повести, за которую в 2008 году ему была присуждена международная литературная премия имени М.А.Шолохова:

«В это время (начало 90-х – В.К.) происходит разрушение государства. И на этом фоне показан распад семьи, разлад любящих друг друга людей...»

Почему мы оказались такими слабыми, незащищенными? На этот вопрос я и пытаюсь ответить по ходу развития сюжета. России нужны сейчас государственники, люди, ощущающие кровную связь с землей...».

И, действительно, почти у всех героев рассказов и повести жизнь в прямом смысле слова ущербна и неполноценна.

Деревенский мальчишка Женька рано остался без отца и живет с матерью («Женька»). Крестьянка Анна Козырева ухаживает за детьми-сиротами из разрушенного детского дома («Дом для сирот»). Студент Николай Садовников влюбляется в детдомовскую девушку-инвалида. Она умирает при родах, оставляя на свете еще одну сироту («Встреча»). Федор из семерых деревенских мужиков, ушедших на фронт, один вернулся живым. Отца его задавило на лесозаготовках, а любимая девушка уехала в город и осталась одинокой до самой смерти («Проводы»).

Нина Ветрова сразу после школы оставила родительский дом.

Одна из тысяч деревенских девушек. Живет в общежитии и работает лаборанткой в заводской котельной («Возвращение»). У Татьяны недавно умер муж, и даже дочка не спасает ее от страшного одиночества в чужом городе («Одиночество»).

Тревожно и автору повести, а вместе с ним и нам горько сознавать, что на наших глазах «рушилась крестьянская Русь. Исчезало слово и дело. Живородный родник перекрыли умелой рукой, и народ задыхался. Не понимая причины, тянулся иссыхающей струйкой с родовых мест, пытаюсь выжить в городах и селах, где превращался в безликую массу, аморфно плодящуюся, не знающую ни конца, ни начала, ни прошлого, ни будущего...».

Сергей Новосадов тоже из деревни, и он тоже живет одним настоящим. Работает бригадиром на заводе и никак не может смириться с несправедливостью, царящей в цехе, но в борьбе с ней оказывается одинок и впадает в отчаяние («Разлад»). Николай Соснин, начинающий писатель, близкий к журналистским кругам областной газеты, знакомится с жизнью деградирующей деревни и не узнает ее («Ванька»).

В повести «Когда мы будем вместе» разрушается, казалось бы, вполне крепкая и по-своему счастливая семья Беловых – Михаила и Татьяны.

Это главные действующие лица, а есть много и других персонажей, хорошо узнаваемых в нашей нынешней жизни. Вместе они наполняют пространство книги и повести многоликим и разноголовым городским и деревенским людом, как правило, изломанным и жизненно неустроенным.

Каждый из них находится в состоянии внутреннего раскола и расщепления, а «человек, душевно расколотый и не цельный, есть несчастный человек...». Безликое равнодушие, впитавшееся в их души, обрекало жизнь на жалкое существование, когда можно жить и ни о чем не думать. Жизнь проходила мимо, не задевая за живое. И так именно жили многие.

Создается впечатление, что автора «не интересовали люди крепкого почвенного уклада», хотя именно их, государственников, и не хватает сегодня в русской жизни. А ведь они, «почвенные» люди, кровно связанные с родной землей, были всегда, и достаточно откровенно они проявляли себя во все смутные времена и в девяностые годы прошлого века тоже.

Нет, Виктор Плотников берет «человеческую природу» в том «несчастном» ее состоянии, когда она обожжена «в огненной атмосфере» безумного времени и даже расплавлена в ней. Такие люди не знают счастья, и сопровождает их по жизни горькое разочарование и томление, способные толкнуть человека на любой безрассудный поступок – даже на преступление.

Многие, к сожалению, «живут на свете по одному случаю своего рождения» и без всяких иных соображений, недостойно данного Богом разума и свободы. Ведь «человек должен жить не потому, что его мать на свет родила, а потому, что он имеет особое назначение в мире...».

Мучается над этим вечным вопросом Николай Соснин из рассказа «Ванька»: «Можно ли говорить о «целостности мира», если чело-

век обретает ее на мгновение, а потом эта целостность разлетается даже от «хлопка двери?...».

Мучаются они и над другими вечными вопросами:

– Зачем человек живет?

Марфа ответила серьезно:

– Бог велел.

Соснин сонно поморгал и спросил:

– А если его нет?

– Есть, батюшко. Оттого людям и тяжело, что не уверовали...

– Ты не Богу, ты людям служи. Оттого и устали, что чувствуете свою бесполезность. А вы попробуйте все полюбить.

– Как все?

– А так, все.

– Счастье, бабушка, в руках человека.

– Счастье, милый, в душе человека...

Не в этом ли диалоге, очень характерном для «отцов и детей» разных русских поколений, заключена суть и проблема человека в современном мире?

Остается и главный вопрос: верим ли мы в Бога?

– И не захочешь – поверишь, – утверждает Николай Соснин. – Не плакаться, а крепить душу нужно. Окрепнем духовно – все чужое отойдет...

Кстати, Николай Соснин единственный герой во всей книге, который счастлив хотя бы в семье и который семью имеет полноценную (он, жена и дочь), но и в самом «Николае жили два разных человека: один радовался жизни, другой – оплакивал этот мир...». Ему было страшно за дочку Аленку. Потому и смотрела на Соснина Божия старушка с непонятной грустью и вздыхала, глядя на его поколение и жалея его:

– Горемычные вы...

Типична и судьба Нины Ветровой («Возвращение»). Живет в общезитии и работает на заводе. И тоже ищет смысл своей жизни.

Ей чужь ли не каждую ночь «снится деревенская улица...». И одной ли только ей? Сколько их, девчонок, так же, как и Нина, не замечая материнских слез, наспех простились с родителями и после школы разъехались по шумным городам, о которых мечтали с детства?

Проживая в городе, Ветрова часто ловила себя на мысли, что «вот Марфа – убогая, доживающая свой век старуха – имеет цель в своей, казалось, никому не нужной жизни, а она – Нина Ветрова – здоровая, молодая, с ясным и чистым умом – не знает, как жить...».

Не знает, потому что живет не сердцем. А в «нежном и любящем сердце» Марфы христианская идея, доступная всякому разумному существу, разрешается «в милосердие и любовь».

Для каждого человека «с ясным и чистым умом» Марфа как лакмусовая бумажка. Им, умным, и не понять, что она-то, «убогая», и есть на земле самая счастливая, что жизнь ее и есть самая настоящая, потому и чувствует она себя на земле спокойно, потому и Бог ее для людей бережет...

Неслучайно и Марфа постоянно Нине снится. Она живет в ней, как беспокойная совесть, и заставляет ее все время сверять свою жизнь с каким-то высшим идеалом, пока еще непонятным ей...

Нине нравится и Егор Куракин. Он какой-то понятный.

«Если веселится, так до песен, выйдет на середину улицы и с пляской всю деревню пройдет, а уж грустит, то грустит до слез...».

Это и есть цельные русские натуры. Натуры богатые и миру открытые, живущие по закону сердца, а не рассудка.

Нина в городе живет какой-то ненастоящей жизнью и от этого сильно мучается и не находит себе места...

У Татьяны, героини рассказа «Одиночество», «недавно умер муж, с которым и пожилы они всего ничего – только четыре года...». Она осталась с дочкой. И опять трагическая завязка. Опять у героини разлад в семье и душе. Все в жизни вдруг стало для нее постылым, однообразным и чужим. Забирая дочку из садика, Татьяна «уже заранее боялась предстоящей встречи с опустевшей квартирой...».

У каждого свое одиночество, но есть у него и общие приметы, они как позывные наступившего всеобщего разъединения: сны, «беспокойные, наполненные кошмарами», «липкая, разъедающая душу неприязнь к самодовольным людям», «пустота в душе и в окружающем пространстве», желание «уничтожить то, что оставалось еще от светлого ясного мира», и «отомстить всем людям за то, что осталась одна, за то, что сидит с ненавистным ей человеком...».

Татьяне «доставляло удовольствие изучать лица людей, замечать на них боль и страдание», чтобы разделить с ними хотя бы «пополам свою печаль...».

Становится даже страшно оттого, что в современном обществе у нас «ни в чем почти нет нравственного соглашения; все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на единицы...».

Душевное исцеление неожиданно пришло к ней после встречи со старушкой-нищенкой.

– А ты-то, бабушка, тоже одна?

– Одна, милая, одна. Никого нет. Старик давно помер, а детей нет. Я, как собака, осталась...

Татьяну поразило, с каким спокойствием старушка сказала о своем одиночестве. Неужели это «норма для жизни?».

Но старушка, словно угадав ее мысли, сказала:

«Нельзя все в горе ходить, ты побольше с людьми будь, они не подведут, когда нужно будет – выручат...».

Спасти от одиночества может только добрая и светлая душа, горем и страданиями очищенная и возвышенная. Вот и Татьяна после встречи со старушкой вдруг почувствовала в себе желание «не просто двигаться, как заведенный механизм, а что-то делать, изменять в своей жизни... Татьяна поняла, что вдруг произошло: не было отчуждения между ней и старухой, которое она испытывала час назад между собой и окружающим ее миром...».

Как, оказывается, мало надо человеку для счастья – «знать, что есть место в городе, куда бы можно прийти в любое время и где тебе всегда будут рады...».

Они существуют рядом – два космоса: вселенский и человеческий, как две великие тайны и бездны, завораживающие свой глубиной и непостижимостью.

Нужно лишь облегчить душу, освободить ее от излишней тяжести, и тогда, просветленная, соединит она в себе земные чувства с перво-

родными и по воле человека доставит его в любую точку вселенского космоса, и не будет реального с нереальным, а будет один мир...».

«В вышине все смешалось в необъятном водовороте времени. Земля виднелась оттуда маленькой искоркой, которая составляла часть огромного, вечного движения. Там царил первозданный хаос. Там рождались и умирали целые миры. Там все измерялось вечностью...»

А на Земле в это самое время в городской квартире возвращалась к жизни затерявшаяся в холодном мирском хаосе одинокая душа, откликнувшаяся на живительный свет другой одинокой души, родственной по судьбе и по духу.

Теперь они были вместе, и сразу им стало легче, надежнее и веселее.

Двадцатидвухлетний Сергей Новосадов («Разлад») «не страдал бессоницей», но «смутное беспокойство ... все чаще и чаще заставляло просыпаться рано по утрам...».

Вчера он набрался смелости и в лицо мастеру высказал, что Шаров – жулик и берет взятки... Новосадов по-прежнему чувствовал странную раздвоенность. Он понимал, что и «жить честно – не просто, как не просто и тихо жить, никого не трогая...». Еще вчера тревога жила только внутри Новосадова, но сейчас эта тревога исходила и из окружающего мира...

Он слышит плач ребенка и видит молодую женщину со старой разболтанной коляской. Видит, как «у полуразрушенной церкви в деревянном магазинчике» дают вино и толпятся мужики. Слышит, как «какой-то мужик, прижимая к груди, словно охапку поленьев, бутылки, кричит:

– Давай сюда! Видишь, угощенье какое...».

Мужик кричал не ему, а женщине с ребенком. И «женщина, не привыкшая, чтобы ее звали дважды, скоро развернула коляску и, громяхая по выбоинам мостовой, заторопилась к зовущему...».

Он проходил мимо церкви и надеялся, что, «как и многие лета назад, вот-вот распахнутся широкие решетчатые двери, и выйдет толпа умиротворенных от только что сотворенной молитвы людей... но нет – ничего не случилось, никто не вышел из них...».

Сергей почувствовал вину перед незнакомой ему женщиной и перед всем честным народом. Чисто русская черта, как и боль в сердце чисто русская, когда чувствуешь и понимаешь, что вот так «иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, – и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, взросшие в скверне отцов своих и матерей?...».

На глазах героев Виктора Плотникова в жизни «происходил девятый вал кровосмешения». Сколько их в городе, маргинальных типов, родных по судьбе, но уже давно чужих по духу. Из их глаз «сочится холодновато-презрительное равнодушие к окружающим их людям. Девушки для них всего лишь самки, которых нужно было оплодотворить, чтобы на свет появились им подобные, которые в свою очередь оставят свое порченное потомство, и так до тех пор, пока все не подравняется под них...».

Вечером в заводском общежитии Сергей пытается внушить пьяному соседу по комнате:

– Жить нужно как следует, тогда и интересно будет...

– Ты меня агитируешь пить бросить, а зачем? Смысл какой?

– Да такой, что, может, думать начнешь...

Сергей уже «написал заявление об уходе», собрал чемодан и дошел до автовокзала. Но перед самым автобусом вдруг передумал и «пошел обратно по дороге к общежитию...».

Он не хотел сдаваться, и это была уже победа над самим собой.

И в рассказе «Проводы» мы уже с самого начала узнаем, что у Федора «отца задавило» на лесозаготовках, где потом и сам он начинал трудовую жизнь.

На сорок седьмом году умерла Валя – единственная его любовь. Валя с матерью уехали в городе, замуж она так и не вышла, работала на заводе, но Федор не знал, кем и на каком месте. Не знал, потому что они даже не переписывались.

– Мы вот и письма не писали друг другу, а дом давно снится. Надо бы домой ехать помирать, но теперь – где Валюшка. За что ей напасть такая, Федя? Никому плохого она не делала, никаких врагов у нее не было, да за что же ей судьбинушка такая?..

Действительно, за что? И только ли ей такая по жизни выпала доля? Попробуй-ка, объясни себе и людям?

Неужели от роду она уже несчастливая? Нет, все люди рождаются счастливыми, а несчастными они становятся, потому что не угадывают свою судьбу и живут на земле чужой жизнью...

«Смешливая была. Ничего, что некрасивая, говорила, зато веселая, веселых люди любят...».

Любили ее люди или нет, Федор не знал. Над самим Федором люди все время смеялись – такой он был нескладный. Ему хотелось верить, что люди Валентину любили. Так же, как любил ее с детства он.

Федора поразило, что гроб с Валюшей не в могилу на полотенцах опустили, а сожгли. В крематории Федору стало не по себе. Он почувствовал, «как будто сейчас наступит конец всему сущему, и они все, кто здесь стоит, будут опускаться вниз с этим полом в преисподнюю и затрепчат в потоках пламени...».

«Он и на поминках чувствовал, что не нужен здесь. Его уход никто не заметил, или не захотел заметить...».

В мире никто никому не нужен. Даже в горе и то люди не хотят участия, потому что чувствуют неискренность его. В вагоне «Федор, уже никого не стесняясь, не сдерживая более себя, громко, прикашливая, плакал...».

В этой печальной истории, кажется, один только Федор беспредельно искренен и через боль очистительную в сострадании своем по-христиански счастлив. Ему веришь и веришь в него. Он живой и добрый. Его душа источает свет, и рядом с ним становится теплее на земле тем, кто еще способен откликаться на искреннее сердце и ценить его в жестком и бездушном мире.

Без таких вот Марф и Федоров – «маленьких», «простых», «незаметных» людей, твердо различающих добро и зло, мир давно бы перестал существовать. Но они стремительно покидают мир, а вместе с ними уходит из жизни то, без чего нам в ней становится холоднее.

В рассказе «Дом для сирот», провожая в последний путь Анну

Козыреву, одну из таких святых русских женщин, председатель Базлов всего-то и сказал:

– Всю жизнь ломила, дак хоть сейчас отдохни...

А накануне смерти подруга ее Матрена Рожина говорила Анне, помня, как она свою любимицу сиротинку Сашеньку «травяными отварами выхаживала»:

– Ничего, пообживутся люди, отстроятся, всех детей из детдомов заберут. И Сашенька выздоровеет. Тебя мамой звать будет, сейчас и то зовет...

Нет, что-то не забирают. И сегодня, спустя 65 лет после войны, открывают все новые и новые детские дома, а мест в них все не хватает и не хватает.

В детдомах не хватает мест, а сельские кладбища приходят постепенно в упадок. «Не каждый уехавший человек возвращался к могилам своих близких, и они постепенно зарастают кустами смородины и чертополоха...».

Тревожно становится за юного Женьку, которого дразнят безотцовщиной. Женька верит и обещает матери, что обязательно найдет отца и «они будут жить вместе», будут, потому что иначе быть не может, иначе – несправедливо получается. Соседка Таиса, успокаивая Женькину мать Клавдию, говорит ей:

– Не у всякого нынче душа к высокому тянется. Запрятали ее люди в темный угол. А у него душа живая, в мир просится...

## 2

Такая душа и у Михаила Белова, героя повести «Когда мы будем вместе». Он тоже из числа тех людей, кто мучительно размышляет о том, что нынче происходит с людьми и миром, и в чем оно, «особое предназначение» его, думающего и страдающего на земле человека?

Белов уже «прочувствовал целостность мира, ощутил себя частью бесконечности. Неясные ощущения принадлежности к чему-то целостному, не расколотому временем, прорывались из неведомого, бередили душу. Но дыхание всемогущей силы навсегда опалило душу, поселило в Михаиле неуверенность перед миром. Кто-то обещал миропорядок, но кто-то мог и разрушить...».

Он удивился, когда Федорыч, размышляя о нынешней жизни, однажды сказал ему:

– Нам повезло, мы жизнь на войне сделали, а вам за что зацепиться – не знаю. Думай, сам думай, иначе все рухнет...

Действительно, за что зацепиться, когда вокруг все рушится?

Михаил «не понимал людей и сторонился их. Приходилось искать душевного облегчения в природе, где Белов ощущал себя частью огромного мира, который не отторгал его, но и не принимал.

Он, этот мир, тоже чего-то ждал от него, но был милосерден и делился своим неземным счастьем, без ощущения которого Михаилу было бы тяжело жить, быть может, чем всем остальным...

– Кто-то так и не познает, зачем жил на этом свете, – часто думал Михаил, и от этой мысли ему становилось не по себе, – словно метеорит, скользнет человек по небосклону и погаснет, как и не было его...

– Зачем мы живем, зачем? – спрашивал он у Федорыча.

– Радуйся солнышку да детей рожай...

– Но этого же мало. Есть что-то неподвластное нам, оно все время ускользает. Как воспоминание... кажется, еще немного, и вспомнишь, а оно раз – и нет. У тебя так бывает?

– Вам, молодым, видней. Мне некогда было думать – война...».

Федорыч давно уже ни о чем не думает, и похож он на «опустившегося человека: без будущего, без семьи и мысли. Михаил видел, как что-то неуловимое разрушило целый мир, и это что-то подкрадывалось уже и к нему самому. Он чувствовал его дыхание...».

Михаил накапливал в себе созидательную энергию, но рядом с собой он чувствовал другую силу, настроенную на разрушение. Ее представлял Геннадий Малышев – член их бригады. Он методично спаивал Федорыча и других рабочих.

Малышеву хотелось... управлять чужими судьбами. Он был уверен в возможности этого и подолгу, оставаясь в одиночестве, прислушивался к внешнему миру, пытаясь проникнуть в глубину запредельного, туда, где в хаосе мироздания буйствовали неведомые силы, еще не обузданные, но ожидающие будущего хозяина...

Он не умел управлять этой мощью, но хорошо ее чувствовал. Она возбуждала, обещая в будущем силу и власть. Малышев знал, что он не одинок и таких людей с обостренным чувством много. Они рассеяны по миру, но в нужный час каждый будет там, где он должен быть...

Вот в таком бесформенном мире из разрозненных одиночеств черпают энергию разнонаправленные силы – созидательные и разрушительные. До поры до времени люди, представляющие их, рассеяны по миру, но рано или поздно они обязательно обретут друг друга, потому что мучительно друг друга ищут, чтобы быть вместе. Вопрос только в том, какая сила это сделает раньше.

Малышев с Беловым чувствовали друг друга и даже дружили. Во всяком случае, относились друг к другу с уважением.

Малышев уважал Белова за открытость, за бездонность. Любая бездна интересна непредсказуемостью, неизвестностью, какая таится в глубинах. Объять ее, подчинить, направить в нужном направлении – это ли не счастье?..

Но, чувствуя друг друга, они ведут друг с другом осторожную, но опасную игру, в заложниках которой находятся люди, знакомые и незнакомые им.

– Ты, Миша, другой, для таких, как ты, создан мир...

– А для остальных?

– Для кого? Для этих? – Малышев кивает на стропальщиков. – Я их всех люблю. Но они безразличны к миру, а мир безразличен к ним...

– Философ ты, Гена...

А Гена не просто философствовал, он «испытывал наслаждение: не применяя насилия, волей посеять безволие и получить ничтоже-ства в образе людей – вот оно, владычество над миром, пусть малым, ограниченным в пространстве, но – владычество...

Нужно, чтобы его любили. И тогда он обуздает это чувство, станет его властелином. Но вместе с радостью познания возникло и ощущение бездомного человека, которому суждено стать вечным



скитальцем, неспособным любить, и которого никто не полюбит. Он подчинит желающих наслаждений, но ему неподвластны те, у кого в сердце живет любовь. Это опечалило, но не испугало. Он знал, что нельзя завоевать, можно разрушить...

И Малышевы разрушили. Они лишили равновесия и опоры семейную жизнь Белова.

И вот внешне вроде бы счастливая семья на поверку оказалась хрупкой, уязвимой, и вмиг жизнь в ней разладилась из-за «обыкновенной сплетни», правда, сознательно брошенной. Не оказалось против нее в семье никаких противовесов, и не было в ней тех нравственных креп, которые бы уберегли семью от скверны и раздора, не дали бы злой воле погасить огонь в родном очаге и сохранили бы в доме вопреки всему согласие и любовь.

«...Странная, беспричинная ревность: из ничего вышла и в одночасье разрушила все крепки. Притолочилась – не отцепить, во все поры проникла. Отмерли чувства, сморозились, и любовь ушла, теснимая нездешним холодом...».

А вот так каждый из них, но уже по отдельности, переживал и омысливал время наступившего разлада и распада.

Михаил:

«Что-то ушло из мира, и в появившийся пробел плеснуло унынием. Но самое страшное было в другом: он сам исторгнул в мир этот яд, разъедающий душу и время...».

Татьяна:

«Обеднела расцветка мира, но не каждый это увидел. Стоном полыхнул мир, но не каждый это услышал. Содрогнулся мир видимый и невидимый, но не каждый это ощутил...».

А разве мало семей в одночасье распались на наших глазах и в реальной жизни по этой вот самой «гремучей» причине. И какой такой губительной воле подвластно наше массовое разъединение и безумство?

Малышев из тех современных людей, которые «привыкли творить свою жизнь – мыслью, волею и отчасти воображением, исключая из нее добрые побуждения сердца...».

Ему «недавно родное, знакомое казалось чужим и незнакомым. Сделалось жалко людей, не понимающих своей ущербности. Внешне привлекательные, по сути своей – инвалиды, ползущие без цели и направления...».

И он возненавидел людей. За то возненавидел, «что он – Генка Малышев – должен находиться в грязи и вони вместе с этими людскими, у которых желаний кот наплакал: выпить да детей нарожать. И это они своими пустыми коровьими глазами пялятся отовсюду, следят за его движениями, ни жить, ни дышать не дают!...».

Вот он бес в современном обличье – ядовитый в своей ненависти к людям и благовидный, даже обворожительный с виду. С виду он на удивление щедр и заботлив – нальет и похмелит. Даже денег не возьмет.

С некоторых пор у Михаила к Малышеву «появилось раздражение, хотя до недавнего времени жили душа в душу, а тут как пробило – не может на него смотреть, кипение внутри начинается, того и гляди, в злобу перерастет...».

И он не удержался, однажды бросил ему прямо в лицо:

– Ты же не человек, не человек!

– Кто же я?

– Мутант ты, Гена! Обыкновенный мутант...

Думая о Малышеве и о его истовом желании встать над людьми, Михаил скорее жалел его, как ущербного человека, чем раздражался на него, но когда в городе он увидел «множество «малышевых», объединенных стремлением владеть всем», то в душе его зародился страх, и ужас охватил ее.

Ведь «мечтали они не просто о власти, а о чем-то большем. Они мечтали об управлении не только земным, но и небесным...».

– Я не хочу быть выше Бога, но и ниже быть не желаю...

Это их философия, не новая, замечу, философия сверхчеловека, но мы уже по истории знаем, к чему на практике она приводила и какими жертвами была оплачена.

Вспомним: «За идеалистами – «реалисты». За «реалистами» – «критически мыслящие личности» – «народники» тож. За народниками – марксисты – это лишь основной ряд братоубийственных могил...» (Г. П. Федотов).

Мы уже не первое поколение, которое живет предощущением конца света. И сегодня, когда каждое утро, включая телевизор, мы слышим, что происходит на планете и какие катаклизмы – природные, социальные и техногенные! – обрушиваются на терпеливую Землю и на головы грешных и праведных ее обитателей, то, несомненно, в душе человека поселяются страх и неуверенность в будущем.

Еще в книге «Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого Афонского», жившего в XVII веке, говорится:

«...к середине 20 столетия народ того времени начнет становиться неузнаваемым. Когда время начнет приближаться к пришествию антихриста, разум людей помрачится от страстей плотских, и все более будет усиливаться нечестие и беззаконие. Мир тогда станет неузнаваемым, изменятся облики людей, и нельзя будет ясно различать мужчин от женщин, благодаря бесстыдству в одежде и форме волос головы. Эти люди одичают и будут жестокими, подобно зверям, из-за соблазнов антихриста. Не будет уважения к родителям и старшим, любовь исчезнет... Скромность и целомудрие исчезнут у людей, и будут царить блуд и распущенность. Ложь и сребролюбие достигнут высшего предела, и горе накапливающим сокровища. Блуд, прелюбодеяние, тайные дела, кражи и убийства станут господствовать в обществе...».

Какая, согласитесь, пророческая картина! Так похожа она на мир, в котором мы сегодня живем.

Вот и герой повести Виктора Плотникова, уйдя из семьи, «вдруг ощутил, что рухнула не только его личная жизнь, но трещина прошла и через этот город и куда-то еще дальше – через всю страну. Он вошел в новую жизнь, где никому не был нужен... Чужое заполнило все вокруг. Оно размыло некогда единое пространство, и все жило отдельно друг от друга. Отрезанным ломтем жил и Белов, да и все его новые товарищи... Извелся Михаил: внутри себя непорядок, и вокруг ржа изъедает. Истончился мир, того и гляди, прорехами покроется. Ни сна, ни покоя...».

Только наедине с природой он мог «почувствовать себя единым целым с прошлым и будущим. Мог пройти сквозь скрученное время, обрести кратковременную свободу и в вождельный миг счастья ощутить дыхание мудрости, забытой и тщательно от людей упрятанной. Он был свободен только в этом мире, как и его предки, не знавшие, но понимавшие законы потаенной и окружающей их вселенной...».

Но «прорвало однажды плотину, и чужое хлынуло, затопляя дальше и ближе, и не было спасения никому... Шла пучина, и никто не видел бездны. Заселялась душа мелочным бытом, старилась. Старился и мир, потому что сиюминутен...».

Михаил был свидетелем того, как на «хрупкий мир наступала нескрушимая сила...». Она только тенью коснулась страны, и пали семьи, и сошел ум с души, и безволие охватило многих....

Взрастет ли рожденное, изначально посеянное? Много охотников вытравить, в грязь втоптать и пороком украсить. Толпятся они – «невидимые» нам «благодетели», жадно отслеживают, чтобы вовремя живой росток мертвой водой напоить, родовую память отнять и своим толкованием наполнить...

– Но почему, – все чаще задавался вопросом Михаил Белов, – «малышевы» уверены, что не они под обломками будут? Почему мы погребаем сами себя и ведем схватку друг с другом? Или «малышевых» не видим?..

Михаил понял, что, «оставляя землю «малышевым», он предает мир...».

Люди все больше становились похожими на бездушные «механизмы». Они даже от воспоминаний детства отмахиваются, как от наваждений, «не давая проснуться в глубинах своей души родовой памяти...». На глазах мира в очередной раз уничтожается история, чтобы люди никогда не узнали о хранящейся в их душах мудрости допотопного (до потопа) человечества...

Еще вчера «душа Белова рвалась в космос, а сегодня ему хочется почувствовать под ногами землю, впитать в себя ее ушедшую историю, вдохнуть древний могучий дух предков...».

Но прежде, чем о разоренной России думать, которая тоже стоит у края духовной бездны, надо бы сначала «свою семью возродить...».

Ему было страшно представить, что однажды может наступить такое время, когда «одиноким герой проковывает перед восторженно ревушей толпой, осыпающей его цветами. И будет он для них виртуальной фигурой из комиксов...». Но так будет, если русский дух покинет русские города, а деревни и села превратятся в дачные застройки для отдыхающих...

Михаил уже начинал понимать, что и он лично отвечает за людей, с которыми жил и живет бок о бок. И «за тех, с кем работал на заводе и на стройке, и за тех, с кем ходил в школу. И еще за многих, живущих на земле, он был в ответе, и сердце его от этого разрывалось от боли...».

Обо всем этом, на душе наболевшем, напряженно думал не один Михаил. Думали многие равнодушные к судьбе Отечества люди, да и как было не думать, если вокруг «все распадалось на части: бронетранспортер, церковь, люди... Только что единое целое дробилось

и начинало существовать само по себе. Необузданная сила раздира-ла пространство, оставляя за собой безвременье: ни прошлого, ни будущего – одно настоящее...».

Он чувствовал родственную душу и в бригадире Ворскове, а в душе его ту силу, которую ощущал и в себе, но были эти силы, питаемые живым сердцем и разумом светлым просвещенные, пока еще безнадежно разъединены...

И Петр Григорьевич Ворсков тоже «давно искал встречи с тем, в ком жил дух прошлого...». В Белове он этот дух уловил сразу и успокоился – «не один он в этом мире, есть и другие...».

Петр Григорьевич многое знал и теперь ждал, когда и остальные обретут живительное знание, чтобы стать несокрушимыми для жижи...

«– Повсюдных мало, – наставлял он Белова. – А ты повсюден. Не забывай об этом...»

Они уже шли навстречу друг другу, и в этом движении угадывалось будущее единение людей, еще вчера обреченных в бездушном мире на бесплодное одиночество.

Ворсков говорил Михаилу:

– Ты мир умом чувствуешь, а это уже много, и дух в тебе бродит – вот-вот и мир в целостности охватишь. А пока кромсают нашу историю на кусочки, не дают ей срастаться. А мы живой водой окропим ее, духом предков укрепим и нашим, не заемным, мифом освятим. Нам, главное, путь увидеть. Будет путь, будет и дорога...

В разговоре с бригадиром Михаил прозревал, и весь мир начинал ему видеться совсем в ином свете.

– Меня как пса гоняют, из родных мест вытравливают. А я ку-саться буду, я драться буду...

– С кем?

– А кто о мою страну ноги вытирает, о неперспективных деревнях говорит, кто землей торговать собирается. Кто веру чужую несет, кто жизнь так планирует, что в ней дети перестают на свет появ-ляться...

– Наше, Михаил, начинается время. Пора вспоминать, кто мы есть и зачем на свет появились...

Сейчас чужих кругом много. Потеснили русский дух. А ты не бойся. Главное, умей различать. Как почуют, что их видим, – дымом зловонным изойдут. Мы не сможем сломать, наши дети подломают; дети не смогут, наши внуки душную заразу изведут. Не будет им покоя на русской земле. Но лучше детям работу не передавать...».

Если убрать из этих диалогов «революционный» пафос, который явно переклещивает через край и выражает, в первую очередь, ми-ровоззрение самого автора, то, безусловно, с диагнозом болезни, поставленным современному российскому обществу, можно вполне согласиться.

В конце повести состоится и горькое возвращение блудного сына в оставленную им семью. И повторит жена Татьяна слова, однажды уже ему сказанные:

– Наконец-то ожил, я уже испугалась: пришел сам не свой, и в глазах пропасть. Уйдет взгляд, что делать будешь? Вся любовь во взгляде, а взгляд с душою связан, а душа с Божьим миром.

– Откуда знаешь?

– Знаю...

Первый и, может быть, самый важный шаг Михаил сделал – он вернулся в семью. И теперь «желал быть неразрывной частью окружающего мира. Он был готов объединить расколотый мир, но пока не знал, как это сделать...».

Для Виктора Плотникова человек есть лишь часть космической жизни, и в будущем он должен слиться со своей божественной природой. Для его героя, Михаила Белова, наступает время трудного, но необходимого обретения потерянного лада в семье и утраченного единства с окружающим миром.

Сегодня он уже вместе с любимой женой и дочкой, рядом с ним бригадир Петр Григорьевич Ворсков и его единомышленники. Скоро они будут вместе и со многими другими соотечественниками, чьи души настроены на земное созидание и космическое творчество.

Михаил чувствует, как снова «радуется людям природа и как природе радуются люди», он понимает, что «они не могут жить друг без друга, потому что человек есть равная часть Вселенной».

Понимал Михаил и то, что «жизнь творить нужно здесь, где родился, – творить в настоящем времени...».

А со всеми проблемами настоящего помогут справиться людям, укоренившимся в родной почве, три великие силы нашего будущего – «сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль...».

Да будет так!





«А мера всему – душа...»

---

## Александр ЦЫГАНОВ

### 1

Прав писатель Сергей Есин, написав в предисловии к книге Александра Цыганова «Ясны очи», что все его повести и рассказы написаны «про себя». Конечно, «про себя», а про кого же еще!

«Разве Будденброки», «Вертер», «Записки охотника», «Севастопольские рассказы», разве эти прекрасные книги не «про себя»? Вот и в книге Цыганова, – отмечал Сергей Есин, – многое о юности, детстве и зрелости молодого писателя».

Книга «Ясны очи» вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1991 году. Через 17 лет у Александра Цыганова уже вышла книга избранной прозы. Теперь о нем можно говорить как о состоявшем писателе, который много чего успел за эти годы рассказать «через себя» и о времени, выпавшем на его долю, и о своем поколении, уехавшем из русских деревень в поисках трудного счастья.

Его, как и многих из нас, рожденных в пятидесятые, в путь-дорогу благословляла мать. Александр Цыганов вспоминает:

«С совестью не разминуться, – наставляла мать. – А добрая совесть – глаз божий. Ясны очи. Ведь чужая-то душа – темный лес, но душа душу везде ищет, и сердце сердцу весть подает. А разве душа и совесть не родные сестры? – вопрошала мать. – Разве не совесть питает душу, и разве есть между ними распри?.. Да ни в жизнь, – и такой-то чести доведу стоять...».

Еще Гоголь утверждал, «что родство по душе выше всякого кровного родства». Но душа не только душу родственную ищет, но и саму себя тоже мучится понять – «такую странную в этой вечной родимой жизни».

Все мы родом из детства, и чем старше становимся, тем чаще припадаем к его светлому истоку. У каждого из нас есть родина, куда все мы время от времени наведываемся, чтобы исповедаться перед ней и сил набраться.

И сколько бы лет ни прошло, и он, Александр Цыганов, «всегда помнит, и будет хранить в сердце своем то далекое-далекое, мальчишеское, потому что видится оно светло и ясно».

Сколько раз повторял он, словно исповедуясь перед ней: «Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи. Как же верно сказано: родина лечит! Душу твою, думы твои успокаивает, чтоб потом они, обновленные, стали чище и выше!..».

Сколько пронзительных строк, сердечным чувством окрашенных, написал о родимых местах Александр Цыганов: «Не позабыть, не разлюбить время, здесь прожитое. Все детство как у Христа за пазухой: в яви видится. Травяное детство мое! Во веки веков будешь ты жить в моем сердце человеческом, потому что великой памятью первой любви дало мне – милосердно и бескорыстно – удивительные силы жить и помогать другим...».

И какое это счастье для человека, особенно для пишущего, какая это для него «надежная и спасительная» сила, если он сумел сохранить в себе редкостное умение «всю свою жизнь в этом мире видеть глазами ребенка».

«Сейчас я лежу в постели, а бабушка такая добрая, хоть рану лечи, задабривает спичечный огонек трубочатой берестой и негромко бормочет:

– Гори, родимая, гори. Загорайся, что ты...».

Цыганов именно из этих счастливых людей. Неслучайно Вера из повести «Всякое дыхание» не без удивления и радости задается вопросом: «Не понимаю, что ты за человек? Уж никому ни в чем не откажешь, такого, говорят, и не бывает. Ну-ко, признавайся: может, ты к нам из другой жизни явился, а?...».

А ведь он действительно из другой жизни, из той, в которой еще все было «сколочено-сделано на славу, надежно и ладно, ни щелочки лишней, ни гвоздя ненужного». Он из того времени, когда люди жили и «все делали «за милую душу». Жили «благословесь» и знали, что, случись беда, «хватись, и свои помогут». Обязательно помогут – с горем один на один не оставят. Жили, желая понять, и понимали главное: «не только все, творимое нашими руками и воображением, а и всякое дыхание земное денно и ночью зрится нетленно из дивного Храма Творца...».

Отсюда и «душевность, и это доброе свойство автора в рассмотрении даже самых жестоких и отчаянных сторон жизни». Отсюда и «взгляд его сострадательный – христианский». Отсюда и «картины детства – прекрасные, чистые, взволнованные, праведные, как и люди, сделавшиеся персонажами» его повестей и рассказов.

Отсюда и такое светлое, «может быть, последнее этнографически точное описание вологодской деревни и беззлобных ее нравов», и взгляд на нее «бесхитростного и откровенного деревенского сердца». Отсюда и верность русской литературной традиции «сосредотачиваться на духовном мире, на внутренних приключениях, на возвышении человека» (Есин).

Но изменилась жизнь. Добро бы к лучшему. Так нет же. Куда ни посмотришь – «кругом мусорно и грязно».

Вот и мать, переживая за детей, глядит на нынешнюю жизнь и печалится:

«Да за всех кряду сердце-то тоскует, гли-ко, чего на свете творится: уж кровь пути кажет...»

Жизнь вроде кипит и по-своему вершится, но как «внутри троллейбуса – железа движущегося». В ней, как раньше, на помощь не придут, «благословесь», добрым словом не ободрят, всем миром на защиту не поднимутся.

Страшную, но типичную для смутного времени сцену нарисовал

писатель в рассказе «1993 год». На остановке троллейбуса «бедная женщина... ползла и ползла в разъяренную толпу, избивающую ее мужа, а люди, разинув рты, стояли, ни в коем случае не помышляя вмешиваться в чужие дела».

Люди не помышляли, очерстевшие душой, а «равнодушная природа», видя эту озверелость, не удержалась и разразилась над их безумными головами гневной грозой: «Землю всколыхнуло, и тотчас гигантский огненный палец, прочертив от горизонта до горизонта красный бесшумный знак, мгновенно осветил все своим калено-белым и ярким, неземным светом. Но никому из увлеченных бесплатным захватывающим зрелищем, конечно, не пришло в голову оглянуться – никто не мог увидеть этот загадочный и таинственный знак...».

Писатель увидел и не только этот, но еще и много других «огненных пальцев», упреждающих человека о страшной опасности, нависшей над ним и над средой его обитания.

Видя, что происходит в жизни и с людьми, Игорь Цыплаков (герой повести «Всякое дыхание») молитвенно обращается к Богу: «Господи, сделай так, чтобы все живущие на свете были в любви, сострадании и милосердии друг к другу. Помогите, Господи!..»

Бог поможет, если сам человек душу попытается от грехов очистить и вспомнит, наконец, о том, что сердце чистое – это сердце «кроткое и смиренное, нелукавое и простое, доверчивое и нелживое, неподозрительное и незлобивое, доброе и некорыстное, независтливое и непрелюбодейное» (Иоанн Кронштадский).

## 2

...Это случилось в годы очередной российской смуты. И был это не только порыв очарованной души, а было воистину знамение судьбы, когда Игорь Цыплаков бросился в горящий клуб. Ему даже показалось, что его в это мгновенье «будто кто-то окликнул», и он, «подвывая и прикрикивая от страха, кинулся к библиотеке», подвергая себя смертельной опасности. Он будто видел «сквозь шелк пламени забываемый взгляд, оставшийся в памяти вопрошающим о главном: о чем-то родном и давно забытом!».

Он уже не мог в огне ничего спасти, даже книги, «огонь всю гудел и шарил по книжным стеллажам, весело и мощно пожирая все на своем пути». В этом огненном аду Игорь «сгреб в охапку, беремем, бюст Достоевского и, задыхаясь, теряя последние силы, с готовой, казалось, вот-вот лопнуть от невозможного, звенящего напряжения головой кинулся обратно».

...С тех пор в его общежитской комнате стоял «бюст Достоевского – на тумбочке под белой накидкой – таинственен и загадочен». Как раз на ней он и «уместился, словно для этого места специально и предназначенный...».

Может, за бюстом какого другого писателя он и не кинулся бы в огонь, а вот за бюстом Достоевского бросился не раздумывая. Именно он, незабвенный Федор Михайлович, и мог только однажды стать для него «молчаливым собеседником», и только с ним он мог бесе-



довать о самых болевых вопросах жизни, а точнее – о душе человеческой.

Без веры в бессмертие ее, по словам Достоевского, «бытие человека неестественно, немислимо и невыносимо. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, и именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают...».

Виктор Плотников в предисловии к повести «Всякое дыхание», анализируя характер главного героя, отмечает разные «периоды становления его души». Наверно, периоды эти она действительно проходит. Может быть, после ухода из института и впрямь «душа его уже стала неподвластна силам зла, пробудилась к вере и осознанно готова была принять ее». Может быть, подтверждение тому и его «уход в Курдюк, к осужденным, где он может отдать частицу тепла души, облегчить страдания людские, чтобы на земле стало чуточку теплее». По-христиански!

Может быть, там-то «в осиянные секунды любви ко всему сущему, родилось и стало сутью его жизни Сострадание, возбуждение которого, по определению Достоевского, является истинной тайной творчества». Там же он, наблюдая за жизнью осужденных, смог убедиться и в том, насколько бывает целительно для живой души «самоочищение страданием». Страдание освобождает душу от тесноты и возвращает ей утраченное ощущение простора и воздуха.

Там же он понял и самое для себя главное: если найдешь «ключ к своей собственной душе, тогда этим же самым ключом отпнешь души всех» (Гоголь).

Не зря же Игорь Цыплаков говорит, что «человек-то жалью живет. А что ни человек, то и я...». А Игорь «в одном лице воспитатель и советник, отец, старший брат и вершитель судеб», потому как он – начальник отряда осужденных в колонии строгого режима.

И это тоже выстраданные им слова: «Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не унывать и не упасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это...».

### 3

Александр Цыганов, взявшись за перо и положив перед собой чистый лист бумаги, уже ответственно понимал, что «без глубинного осознания и чувства жизни, ее болевых, самых отдаленных и ранимых точек, без активного сострадания и величайшего милосердия невозможно честно жить и, соответственно, – писать».

Ему веришь, потому что философия эта не кабинетная, она – от жизни, от знания и тех ее таинственных и даже мистических сторон, которые для многих из нас чаще всего так и остаются неведомыми, но от этого они не становятся менее притягательными и не перестают до озноба волновать и завораживать наше воображение.

Потому и суть произведений Цыганова, особенно его поздних рассказов, на мой взгляд, кроется в глубинных и непредсказуемых

движениях души человека, поставленного писателем в разные жизненные ситуации и обстоятельства. Именно, по его же собственному признанию, «душе своей не перестает он удивляться: откуда, из какого мироздания она, таинственная и неведомая, дающая удивительные силы жить и помогать другим?..».

Осмелюсь предположить, что все произведения Александра Цыганова – это не столько повествование «про себя», сколько, выражаясь словами Гоголя (тоже, кстати, близкого ему по духу писателя), «история его собственной души», постоянно находящейся в мучительных «поисках своей правды».

Я попытаюсь приоткрыть всего одну ее страницу – самую, может быть, дорогую и чудодейственную для писателя.

Для Цыганова человеческая жизнь – это бесконечная эстафета. Эстафета и «всего нашего милосердия и сострадания, нашей вечной надежды и веры на лучшее, и постоянного обновления человеческой души в мире проходящем и вечном».

Мало кто из нас не испытал однажды в жизни мистический ужас перед тайным и неведомым в ней. Ужас, который был и остается «самой огромной силой над душой человеческой» (Достоевский).

Потому, познавший еще в детстве эту силу, Александр Цыганов мучил и будет «мучить свою душу до бесконечности, будет вновь и вновь метаться в таинстве изначальном, ибо каждому понятно – не то мудрено, что переговорено, а то, что никогда не может быть договорено». Вот это «недоговоренное», но слышимое, скрытое, но обнаруживающее себя, тайное, но становящееся явным и стало в итоге предметом художественного исследования писателя и его творческим методом познания действительности – видимой и невидимой.

Неслучайно свои последние книги (даже избранное) автор составлял из тех произведений, в которых «существующий мир так сливается с игрой воображения автора, что бывает трудно различить, где сама реальность, а где писательская мистификация. Но мистицизм прозы писателя – не мистицизм вовсе, просто автор, погружаясь в глубины реальной действительности, творчески познает ее».

Он и сам часто «погружался в состояние, ведомое только ему, – видел и слышал со стороны – сам, в свою очередь, находясь как бы за незримым тонкостеклянным колпаком», и не раз он «оказывался вне собственного тела, в незнакомом месте, в другом времени. Как не живой: промеж жизни и смерти».

Может, у него и впрямь особое внутреннее зрение, которое дано каждому, но не у каждого оно имеет такую мистическую остроту, когда он может сказать, что «ему вживе невидимое видится».

Не раз и не два он погружался в такое отстраненное состояние вселенского одиночества, что как будто наяву чувствовал, как его «забирало бездонное тайное пространство куда-то далеко-далеко – в свою Вселенную, и он, безропотно кувыркаясь вверх тормашками, улетал в неизвестность...» .

Он, конечно же, тотчас возвращался на землю и опять жил среди реальных людей, отдаваясь жизни искренне и радостно, терпя, как и все, ее невзгоды и неудобства и постоянно надеясь в ней «на лучшее».

Но потом неумолимо наступал час, когда он, чувствуя себя на грани тьмы и света, мог с растерянностью признаться, что «опять что-то

сдвинулось во мне, потому что откуда-то из вселенной вернулась, казалось бы, давно уже забытая боль...».

И вот уже снова он, как и герой рассказа «Помяни мое слово», приближается к дому, откликнувшись на вечный предсмертный материнский зов, только ему одному и только его сердцем слышимый.

В который раз он застыл «на развилке двух дорог...и, услышав, наконец, одному ему ведомое, уже без раздумья, чуть не вприпрыжку... скорее и скорее, пока налетевшие порывы вселенского ветра, казалось, внезапно не подхватили его и, завертев в своем гибельном вихре, скрыли из вида...

...Одному лишь ему известно, как преодолевались два десятка километров за время, равное человеческому вздоху, только в деревню на горушке он подоспел к сроку, стоя у нужного дома уже из последних сил...

– А ведь и смертушка моя рядом была, – вздохнула мать, прислоняясь к спинке кровати. – Вот помяни мое слово, скоро и сам, рожное сердце, ступит на родное-то крылечко...».

Вот оно – материнское сердце-вещун, и вот она, сыновья, любовью открытая, душа!..

Так бывает всегда, когда душа не на месте и когда она, обжигая тебя неземной тоской, торопит в дорогу. И ты, не в силах противиться ей, тут же бросаешь все свои дела и собираешься в путь – к порогу родительского дома, к светлым родникам золотоносного детства.

#### 4

Писатель «всегда слышит в себе какую-то тайную поддерживающую силу, в великую помощь которой и уверовал как-то тихонько, точно в спасенье». Перед событиями, выбивающимися из общего ряда, как правило, «его не покидало ощущение надвигающейся опасности – просто дух перехватывало». Бывали у него, и нередко, такие дни, когда он, «словно не просыпаясь, опрокидывался из одного жуткого сна в другой и не в силах был что-либо изменить, лишь бессильно осознавая, что земной быт – всему конец».

Как-то он (рассказ «Садовник») увидел «согнутого от стужи старичка в высоких рыжих валенках» и вдруг «почувствовал, что может свободно угадывать его мысли», как та женщина, продавщица из киоска, которая непонятно откуда «знала не только то, что он не пьет, но и то, что недавно получил долгожданную получку за дежурство».

Эта способность предсказывать и предугадывать события делала его жизнь порой невыносимо тяжелой и даже страшной.

Вот и опять «давануло – с висков голову склезило, и в эту секундную потерю памяти привиделось ему, что он прожил века!.. И уже перед глазами – сила такая! – вместо мужика в броднях и шляпе, исчезнувшего золотисто-неслышно, – вырос в осиянном свете струящийся столп, и чей-то голос сказал – за него выдавил:

– Вот так бывает: сегодня жив человек, а завтра не стало...

А на другой день, в самый разгар сборов домой, ворвался насмерть перепуганный воспитанник:

– Смотрите: там убитый на берегу, смотрите!..».

Однажды, спасая школьницу, он попал под машину, и ему было дано «увидеть и услышать, как все кругом вдруг взревело и завертелось, как чей-то голос – жалостливый и одинокий – говорил:

– Я смотрю, а он ни с того ни с сего под машину как бросится...».

Он и сам «видел свое тело, завалившееся набок, с разбросанными руками... А следом нечто светлое подняло его уже неосязаемую светящуюся оболочку высоко-высоко, но как будто все его светлое не отставало кричать и кричать, невесомо уходя в свои запредельные дали...».

Да, жизнь бывает и такой (рассказ «Такая жизнь»). И разве усомишься хоть на миг в том, слушая бесхитростный и светлый рассказ православной матери-старушки, что она говорит неправду:

«– А девочка снизу головку подняла на меня и отвечает: «Я бог Наташа».

– Так ты откуда, бог Наташа?

– С того света, – говорит...

...Берет меня под ручку, мы с ей к воронке этой, где подпол, подходим, опять как снова завертело, волчком нас закрутило, как и под полом очутились, не углядела...

...Вот и не знаю сейчас: то ли я опять сплю, или снова живу?..

Беда с этой жизнью-то...».

Игорь Цыплаков, как никто другой, был уверен в том, что «на сем свете мы только в гостях гостим», но никому не дано «в этой жизни высшей воли переволить». Без нее – «и на небо не влезти, и в землю не уйти».

Наверно, жить в таком режиме непросто, но, должно быть, необычайно интересно быть избранным посредником между этим миром и тем, между живыми и мертвыми.

Целый день однажды герой рассказа «Три свечи» общался с девушкой Верой, своей первой любовью. Вечером он пришел по ее приглашению в родительский дом и узнал, что «Веры давно уже нет в живых». Тогда-то он и вспомнил, как в ресторане при трех зажженных свечах, «выйдя из-за стола, она остановилась напротив Сереги, и тот заморгал: на миг чем-то неиспытанным омыл в молодом сердце ее любящий и точно не по своей воле растающийся неизменно-таинственный взгляд».

В такую же ситуацию попал однажды и таксист Егор (рассказ «Посланник»), подвозя до дому поздней порой девушку в черном. Он еще по дороге «почувствовал что-то неладное: в зеркале было пусто, словно никто и не сидел за спиной... Он еще раз поправил зеркало, но все напрасно: позади была пустота!.. И понял Егор, что тут, видно, дело темное: ведь не может быть так, чтобы зеркало не отражало того, на что оно направлено».

Он остановился у дома на окраине города. Свет в его окнах «от синих занавесок казался неживым, мертвенным». Девушка ушла за деньгами, но так и не вернулась. Егор постучал в калитку, чтобы поторопить ее, и от родителей узнал, что «доченька, кровинушка их, померла, и сегодня как раз сороковой день».

В эту минуту, когда все уже было позади, у Егора «так ломануло в голове немилосердно, что ошатило. Будто кто невидимый в саму душу заглянул, даже нутро занялось...».

А вот еще одна мистическая история, положенная в основу рассказа «Ночной работник».

У Сергея умер брат Алексей, и спустя время в деревне «стали примечать, что приходит брат сюда по выходным – когда бани топятся».

Однажды, выходя из клюквенного болота почти с пустой корзинкой, Мышатый увидел на краю поля странного мужика: «Лицо и руки его, грудь с серебристым крестиком под распахнутым воротом оказались все в синяках и темных подтеках, на голове ничего не было, лишь белые волосы ветерком трепало, охватывало».

Каково же было его удивление, когда двери дома, в который он постучался на краю деревни, открыл ему «тот самый мужик». Он не мог не узнать его. На поверку же все оказалось совсем не так. Сергей, хозяин дома, рассказал ему, что это умерший брат его Леха появляется с того света «по выходным, когда бани топятся».

И в деревне уже давно прозвали его «ночным работником», уверовав в то, что он помогает всем, «будто живой», – у Лидии Митинской «картошку за ночь всю собрал да прямо у колодца и сложил, чтоб домой носить удобнее было; у Тувая, пока он к сыну в город ездил, крышу наразу починил». Деревенские настолько привыкли к этому, что ни робости, ни страху уже перед ним не испытывали. По их разумению, в нынешнее время «больше живых приходится бояться, чем мертвых». И потому давно «наладились: у кого что-нибудь сделанным окажется – так не только баню истопят, даже еды в предбанник положат».

Не остался без внимания и сам Мышатый. Утром, взяв припрятанное в траве ведерко, он с удивлением обнаружил, что оно «полно клюквы, а сверху еще аккуратно газеткой закрыто и подоткнуто по уголкам заботливо». Ночной работник даже «заплатку маленькую круглую» ему на сапоге поставил – была на носке маленькая дырка.

## 5

Читаешь рассказы Александра Цыганова и невольно ловишь себя на мысли, что в них порой и верно «существующий мир так сливается с игрой воображения автора, что бывает трудно различить, где сама реальность, а где писательская мистификация».

Своя правда у писателя. Свой закон и у правды отцовской. Сын, когда гармонная фабрика горела, своими глазами видел, а вот отец не мог поверить в то, «что столько лет стоявшая на полке гармонь взяла и сама свалилась», да так «с полки кувыркнулась, даже какая-то светлая планка поотлетела и в стороне валялась». По отцовской правде сын в очередной раз схлопотал «выдернутым из штанов крепким кожаным ремнем, чтоб вперед не крутил да людей не мутил».

Но сын глазам и сердцу своему верит и сегодня, а уж «крутит ли, мутит он людей» своими фантазиями, судить самим читателям. У читателей тоже своя правда.

Я, например, верю, что героиня рассказа «Про Марью» не придумывает, когда говорит, что в лесу «из-за кустов к ней мужик вышел». В нем она, приглядевшись, узнала умершего лесника.

«Мужик шубу-то с себя скинул: в шерсти весь оказался, и еще приметил, – с копытами.... И всякий раз видела она, как деревенские

ходили ее искать, да только голоса не могла подать – не дано ей это было. Так и жила она в доме лесниковом две недели целых...».

Как бы там ни было, но именно после того, как Марья из леса вышла, «с того самого времени и перестали на нее собаки в округе лаять. Как увидят старуху – хвост сходу подожмут, шерсть у них на загривке дыбом встанет, – и в сторону бегут. Боятся чего-то...».

Хотите верьте, хотите нет, но «в последнее время» героиня рассказа «Баст» «жила какой-то особенной жизнью. И еще не знала, как ей привыкнуть к такому состоянию... она просто не могла, сколько бы ни прилагала сил, объяснить, что с ней случилось, что произошло...

...А когда к ее избушке, стоявшей на краю леса у оврага в бурьяне с человеческий рост и овечьей недоброй славой, подступили люди и, вполголоса посоветовавшись, вошли, согнувшись, внутрь, – то, что они увидели, наверное, состарило всех на несколько лет жизни...

Точно у египетской богини веселья и радости Баст, как будто тайно посетившей эту землю, голова у девушки была кошачья...».

Я в это верю. Верю, потому что в нашем мире сегодня объявляется столько всего неожиданного и удивительного (и в человеческом мире тоже), что мы уже начинаем привыкать и ко всему потустороннему...

У кого из нас не было в родном краю таких мест, которые и взрослые-то старались в темное время стороной обходить, боясь столкнуться лицом к лицу с обитателями невидимого дня мира.

У Александра Цыганова тоже были свои «Новинки, где вечно всем блазило, водило да пугало».

Вот и герой повести Игорь Цыплаков с холодком в сердце вспоминает: «Пронесся через Новинки, как кто-то меня остановил – нидохнуть, ни глотнуть. Глянул мельком на место страшное, силы и вообще оставили. Выше темного леса – выше всех деревьев! – медленным кругом двигались люди странные с уходящими в поднебесье палкообразными ногами; одетые в бледные больничные шапочки и такие же халаты пятнисто-розоватого цвета, ходили они друг за другом, вековечно молчаливые, думая о своем, – ни слуху, ни помину.

Не однажды приходили они потом во снах... да явственно голоса чудились – роптание глухое о некоем грозном испытании, меня ожидавшем...».

## 6

Для Цыганова полнокровная жизнь души начинается на «пороге как бы двойного бытия» (Тютчев). Он в своем роде «символист», который «за видимой действительностью видит еще действительность духовную». Для него «символ есть связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире» (Бердяев).

У кого из нас не было видений, или кто из нас не пытался их вызвать, казалось бы, из небытия, чтобы, вызвав, искренне в них и поверить. Может, видения эти всего лишь форма материализации наших воспоминаний, особенно тех, которые нам очень дороги.

У Александра Цыганова есть очень характерный для его творческой манеры рассказ под названием «Туман», а в нем два добрых и желанных видения.

Видение первое: «снизу внезапно появилось нечто, странным об-

разом напоминающее отображение человека, одетого в форму солдата давних дней с шинелью-скаткой через плечо и держащего за собой тяжелую винтовку-трехлинейку, до половины скрываемую колыхающимся туманом...».

Видение второе: «...вздувающиеся сизые клубы тем временем стали то и дело выявлять одно другого страннее и необъяснимее: волшебным образом открылась нижняя часть деревни с крепкими даже не домами – домищами. Мимо них, вдоль забора, как в немом кино, прошагала толпа веселых парней и девушек – парни все в картузах и косоворотках, девушки в длинных платьях и сапожках на пуговках...

...Дома, полные жизни, с устрашающей последовательностью сменялись пустотой и разрухой – все вмещалось и чудодейственно управлялось туманным грозным нашествием...».

Все эти ирреальные вроде бы образы и действия напоминали собой безмолвную смену эпох, драматических и роковых для нашего поколения.

Автор не раз был свидетелем подобных видений, и всякий раз, когда они исчезали и растворялись, он «с предельным напряжением сердца вслушивался в то, что происходило внутри него».

От рассказа к рассказу Александр Цыганов «с долгой мучительностью ищет ответ, с непостижимой ясностью ощущая, как поднимается в нем чувство чего-то неизведанно-нового, чистого, доброго – и близости со всеми, живущими вместе с ним...».

Вот и опять его, идущего по родной земле, «точно властно и внятно позвал невидимый и всесильный голос! Оттуда, со стороны тальника, где таинственно и глухо шумел вешний ручей, из мутной туманной мглы двигалась фигура человека во всем длинном и белом, с низко склоненной светлой головой...».

Кто он, откуда и куда? Неведомо, но кто-то наверняка из сельчан. Может, даже кто-то из его многочисленной родни, похороненной в разные годы на тихом и светлом сельском погосте.

Трудные девяностые – это были и годы исхода русского духа и людей.

В рассказах Александра Цыганова нередко местом действия становится кладбище, потому что именно здесь человек не только острее всего чувствует связь с миром предков, но и пытается еще нащупать или обнаружить эту мистическую связь через какие-то земные знаки и небесные знамения.

Вот как размышляет у могилы своего отца герой рассказа «Во святой час»: «Отец теперь в могиле, и он, Волнухин, навсегда уже связан через отца с нею, с этой могилой, деревней, отсюда и начинается его жизнь и родина – вот отчего его так неумолимо-незаметно влечет сюда, на эту отпетую, на эту оплаканную землю».

И матери его тоже кажется, что муж родной постоянно напоминает ей о себе. Она так и сказала старушкам, «что сам, видно, обижен на нее, потому что снится по ночам».

«Ведь наши предки – это же часть нас самих! – размышляет Игорь Цыплаков, узнав от матери, что он некрещеный. – А значит, и провел меня, некрестя, через все лавы и ямы, мосты и мостики мирские, гибельные – не амулет жуткий – зуб трехосный и сухой, неизвестно кем и зачем мне переданный, а – в образе голубя белого – Светлый Дух

моего деда-священника. И, значит, уже никто и ничто не способно более бросать меня из света во мрак и обратно, из жизни в небытие...».

Белый голубь как Ангел-Хранитель, как оберег от искушений и соблазнов расхристанного века появляется в повести всякий раз, когда герою предстоит сделать нелегкий выбор между добром и злом.

Он освобождает его – «необъяснимо и волшебно – от бремени страшного». Вот и опять на помощь ему «откуда-то сверху опустился голубь... весь на удивление белый. Быстро-быстро глянул ему прямо в глаза, голубь легко снялся с места, прошел над ним, отчего беспрестанно оравшее воронье посчитало нужным скоро освободить дорогу, – и исчез, словно взаправду приснился...».

К главе № 13, которая в повести «Всякое дыхание» называется «Видение», Цыганов даже предпослал эпитафию из «Мертвых душ» Гоголя: «Все похоже на правду, все может статься с человеком».

Вот и в произведениях Александра Цыганова все увиденное им, пережитое и рассказанное «похоже на правду», потому что «душа, по словам писателя, где бы суть человеческая ни пребывала, – здесь или где-то там (название его книги избранного – *В.К.*) – всюду всему мера...».

...А в доме его родительском, как в сказочном сне, опять «в передней от тепла лениво шевелятся занавески, и равномерно-тихо шумит на разрисованном алыми розами подносе медный самовар; в доме покой и некое общее блаженство. Хорошо...».

Вот всегда бы так!..





*Поэты моего поколения*

---

*Михаил КАРАЧЁВ*

*Владислав КОКОРИН*

*Юрий МАКСИН*

*Василий МИШЕНЁВ*

*Александр ПОШЕХОНОВ*

*Наталья СИДОРОВА*

*Василий СИТНИКОВ*

*Лидия ТЕПЛОВА*

*Инга ЧУРБАНОВА*



## Он крался к окну и молчал в темноту...

---

### Михаил КАРАЧЁВ

В поэтическом пространстве Михаила Карачева властвуют стихии «полуночного ветра» и «ветровой тьмы».

Ветер для него – это вечное движение. Ветер «летит, воеет и ревет, гонит и гонит, играет с тобой, расшатывает стены, осыпает с тополиных крон светлый сон вороний, свистит за стеной...».

Ветер – это сила («Белый домик раскачивает ветром...») и память («Ветром веет ваша вера, ваша воля...»), это состояние природы («разгулялась метельная ночка») и настроение человека («мрачные ели в ответ зашумели»).

Душу поэта завораживают «живая тайна» бытия и «тайная воля» мироздания. А еще «рвет его одинокую душу на куски» «вечный и бессмысленный хаос» (тютчевский – В.К.).

Для поэта весь мир – живой и мертвый, земной и вселенский – это великая тайна. Он видит ее во всем, но открывать тайну не спешит, потому что «только тайна любви и прощенья сберегает дыхание в груди». Все таит в себе божественный смысл: «смертный удел» и «незримый предел», «безвольный полет» и «непроглядная мгла», потому что даже

Все, что умерло, – рядом таится.  
Все имеет и душу, и свет  
И ночными глазами глядится,  
Излучая незримый привет...

И у «русской печали» тоже есть своя сокровенная тайна, из которой однажды, когда настанет «духовная пустыня», родится «Сын», чтобы в очередной раз спасти мир от гибели и вывести его к Свету.

В сердце поэта рано поселилась «смутная тоска», но это не та избыточная тоска с осенним привкусом – не в привычном ее смысле. Его «тоска» – это неодолимое и постоянное желание и ожидание открытий, зашифрованных в таинственных явлениях и знаках жизни. Ему с его «тоской невесомой легче дышится» даже на краю обрыва и бездны.

Свою Судьбу, как и все мы, Михаил Карачев угадал не вдруг и не сразу. Он долго прислушивался к ней и ждал незримого голоса Свыше. Он понимал, что «судьбы не минуешь», но врвался в большую жизнь и открывал мир за манящим в «молитвенную даль» горизон-

том, еще «не зная судьбы». Он острее чувствовал ее, когда в природе начиналось пробуждение и «соки земли оживляли зеленые знания его одинокой зеленой судьбы, шелестящей в глуби мироздания».

Это потом, осознав себя в трагическом пространстве русской жизни, он, привыкший в нем ко всему, уже услышит и без удивления спросит:

Кого там судьба рассекла  
Оконным осколком стекла?..

В центре его судьбы стоит «родимый дом в лесной деревушке». От его порога берет начало тропинка в непредсказуемое будущее. По этим тропинкам все мы однажды «выходили пешими из незаметных мест по дороге черную через лес», когда нам казалось, что дорогу эту чаща дремучая и впрямь, как в «чудодейной сказке», «качает на корнях».

Дорога всех нас выводила на Путь, предназначенный Богом и Судьбой. Выводила и его – Михаила Карачева.

Отсюда, где, «доброе дело свершив, отдыхала земля», и начинала она свое «темное тяжелое движенье на кругах мирового пути», чтобы потом, измученной и сбитой с толку, время от времени возвращать поэта по той же самой дороге, но уже «Богом позабытой», к «пустой деревушке», а не в людную округу, где летом у заросшей травой развилки только «ужас ночной окликает», а поздней осенью заветные «тропинки замечает метелица».

Возвращался он на «тихую родину» и в «бревенчатый дом», где в детстве на стуле у окна «долго слушал осеннюю тьму».

Здесь, за деревенской околицей, через «бабушку Татьяну и деда Кузьму», которых «обняла отчая земля», и через многих «русских сынов, придавленных смертной ношей», обрел Михаил Карачев пронзительное чувство «старинной стези в край деда и бабки», где он не раз потом «полил покаянной слезою их могильные грядки»:

На отчем погосте, где сгорбились елки,  
Где крестная сила  
Всю кровную память для нас втихомолку  
Навек сохранила...

Здесь навсегда вошли в его сердце «родимое крылечко» у «родимого дома», «родимые родники» в «родимых кущах». Здесь его и «огоньки родимые», и «родимое эхо».

Михаил Карачев, «затянув на себе всю русскую боль вековой судьбы», хотел обрести «наперед» великую веру в то, что «мы пройдем эту жизнь без заминки».

Не получилось.

Да и возможно ли было «пройти без заминки» по земле, над которой «взошла непроглядная мгла и полмира собой обняла», и не в «избе родимой», а «в полутемной квартире ночами пол скрипит и скрипит о распиленном мире, и нету покоя в дому».

С Михаилом Карачевым мы ездили в свое время от вологодской земли на VIII Всесоюзное совещание молодых писателей. Тогда ли-

тературный критик Вадим Кожин заметил его и написал предисловие к его московской книге «Птицы издалека». В нем он отметил особенности творческого почерка поэта: «Тонкость и даже мягкость словесного рисунка неожиданно сочетаются с энергичной широтой и масштабностью восприятия мира».

В лунный вечер за тихим окном  
Осыпаются белые маки.  
Словно бабочки гибнут во мраке  
И, прощаясь, трепещут крылом.

Мира нежного тайна живая!  
Днем, склонившись над шумом травы, –  
Что поют лепестки, опадая,  
У зеленой узнаю молвы...

У него «и мертвая жизнь оживает», когда «в деревушке лесной, окруженной лесами и тьмой», он посвящает «космический гимн» жизни.

У нее, жизни, свет и цвет, конечно, зеленый.

Помните, «зеленые знанья зеленой судьбы»? Вот уже и ночь «силится закрыть его зеленые глаза». Вот уже и листва под ногами не жухлая, а в сети «косяк зеленых рыб». Он уже не просто верит, а видит и чувствует, как «из-за темных туч летит к нему зеленый лунный луч», и он, «томимый радостью», сидит у окошка, но смотрит «не в темноту», а на веселый «зеленый мир». И даже когда он хочет

...И в той судьбе,  
Что мимо пронеслась,  
Прожить лишь миг,  
Сжигающий и милый,  
И сердцу возвратить  
Ликующую власть...

Он «в дождливом городе ловит зеленое такси...».

Михаил Карачев очень дорожит мнением Вадима Кожина, выдающегося русского литературоведа, открывшего России и миру поэзию Николая Рубцова, Николая Тряпкина, Виктора Лапшина и многих других поэтов земли русской.

А если снова вернуться к его беспросветной «мгле и тьме», которой так много в его стихах, то и она мне, как русскому человеку, по своему близка и понятна.

Давно уж это было, а поэт помнит тот «ветер полуночи и шум листвяной», помнит и себя, «стриженого мальчика», который не ради праздного любопытства, а в поисках какого-то сокровенного в ночи смысла «крался к окну и молчал в темноту».

Если «изо всей шелестящей округи веет воздух болотной тоской, а тихие звуки – одиночеством», если «в темноте за ивами гаснет желтое окно», под которым «осыпаются белые маки», то это совсем не значит, что на земле уже никогда не наступит утро и не взойдет над ней долгожданное солнце. Оно обязательно взойдет, потому что солнце вечное, даже если «твой дом ночами огорожен дождями».

Если «округу заволакивают темные тучи», если «ни огня окрест» и слышен только «лай собачий возле дома», и лай этот «из мрака единственный голос живой», то в такие минуты ты испытываешь не только оцепенение от ужаса, «вставшего вдруг перед тобой». Нет, в такие минуты ты ощущаешь себя еще и человеком, которому выпало счастье быть не только свидетелем, но и участником «сотворения света и рождения нового мира», таинственного, но такого желанного, в мученьях выстраданного.

Нет, «в ночь мечтанья и покоя», когда «темень ветровая, бесконечным шумом размывает мысли», не зря горит «лампа на столе» в избе, «окруженной лесами и тьмой». В ней, «деревушке лесной», поет и сам поэт, и слушает он, как кто-то «поет и во мраке мирозданья».

На рубеже тысячелетий, так и не дождавшись обещанного светлого будущего, Родина-Русь неслучайно, наверно, погрузилась «во тьму и во мглу». И не от нее ли тень накрыла и судьбу поэта, после чего уже и его беспокойная душа «тоскливой мглой обнимала мир»?

На первый взгляд, «тьма и мгла» совсем не к лицу светлому образу самого поэта. Но это только на первый взгляд «елки все сумрачней, темень все гуще, где потянулись родимые пущи». Не от какого-нибудь сумасбродства, а от жажды первозданного света поэт «сходит в неоглядную мглу», обожженный «блеснувшим в ночи огонечком», чтобы у кромки несжатого поля «слушать долго осеннюю тьму», сквозь которую мучительно, как и в душе самого поэта, в который раз пробивается спасительный свет грядущего дня.

Поэт верит: что бы с ним ни случилось, рано или поздно «наша родина нас повторит», и потому, обращаясь к ней, поэт, благодарный судьбе за «светлую тьму» прозрения и обретения сути бытия, пишет:

О, родина, прости  
За наши безмятежные  
Жестокие пути...





*Он грозную слагает  
быль о жизни...*

---

## Владислав КОКОРИН

Владислав Кокорин, будучи по природе своей «северным фруктом», часто «зарастал неприглядной бородою» и называл себя «стихоловом». Он иронически относится не только к самому себе, но и ко многим явлениям современной жизни: «Заморских жвачек не жую./ И пойла ихнего не пью.../ Люблю продукцию родную,/ Посконную и кондовую».

В предисловии к книге «Три заклатья» Александр Романов написал: «Вологда знавала и знает много хороших поэтов, но вот в такого ироничного, как Владислав Кокорин, вглядывается впервые».

По словам Александра Александровича, «стихи Владислава Кокорина – явление не рядовое».

Стихи перед тем, как предстать перед нами, «вынашивались им долго и сокровенно, когда каждое слово множество раз поворачивалось и опробывалось в душе поэта, чтобы, наконец-то, вскипеть в горячую новизну строки».

И только после этого мы погружались в его «беспощадную правду жизни, ставшей самобытной поэзией».

Перелистываю его книгу «За долг и честь», изданную в серии «Вологда – XX век», и читаю:

Нелегка ты, родная стезя,  
Коли пепел летит на шеломы.  
Коли кинули грады князья,  
И холопы оставили дома.

Куликово ли поле в пыли?  
То ли глазыньки застит от горечи?  
Коли во поле том полегли  
Все Добрыни, Ильи и Поповичи.

Коли вновь нам погибель пророча,  
Черный воздух крылами пластая,  
Поднимается стая за стаей  
Воронья по славянские очи.

В год его пятидесятилетия с благодарностью ему написал:  
«Спасибо тебе, что ты напоминаешь нам о прошлом, думая о на-

стоящем и с тревогой размышляя о будущем – и самого себя, и своих детей, и родной тебе земли, на которой родился и вырос.

Читаю и думаю, что в стихах твоих и моя позиция выражена тоже – жизненная и творческая – и как поэта, и как гражданина, готового постоять за свое Отечество в самые трудные для него дни и годы.

А наше с тобой главное оружие – это искреннее и честное слово. Слово о времени. Слово о себе и о современниках, ныне живущих...».

И не всегда, замечу, слово его душу радует и согревает, чаще – наоборот. Чаще слово, выстраданное им и точно найденное, душу до боли обжигает. И в нашем времени, как всегда, – светлом на Руси и трагическом, – слово наше или обретет свою истинную цену (если, конечно, оно сказано от души и сердцем выстрадано), или канет в Лету и в душах современников ничем и никак не отзовется.

Потому так и дороги мне вот эти его строки:

Он говорил: вопрос совсем не в том,  
Что мы уйдем из жизни быстротечной...  
Но что-то в ней останется навечно.  
Вот для того, наверно, и живем...

Согласен. Все, что мы делаем и пишем, – это кому-то нужно. По крайней мере, нашим современникам.

Я в этом убеждаюсь всякий раз, когда встречаюсь с нашими земляками, пусть нынче и редко, в самых разных уголках вологодской земли.

И не только...

Владислав Кокорин, ироничный и порой насмешливый, сразу становится серьезным, если речь заходит о русской истории и об Отечестве.

Я стою над сгоревшей страной.  
Сон ли это, родная держава?  
Тишина. Только дым предо мной.

Ему, как и многим из нас, «рожденному без веры и креста», пришлось заново обретать православную веру и возвращаться к ней, как и всем нам, долго и мучительно.

Возвращаться, видя, как на фоне «жизни быстротечной» твердо и непоколебимо – «сам себе могила» – стоит храм, «сам себе – опора и оплот». Он остро чувствовал, как «с годами нежаркая наша земля» становится все «больней и ранимей». И за нее, многострадальную русскую землю, ему тоже еще предстоит постоять, потому что «долг и честь» легендарных предков и «в наш порочный век к достойным вопиют призывно и могуче».

«За долг и честь» – так поэт назвал и одну из своих книг.

Владислав Кокорин не только понимает, что все мы давно уже всего лишь осколки былой эпохи, но и осознает, что «за любым из осколков – бялая твердыня!».

И сам он был и остается «осколком» не самых слабых застав Отечества. Он знает, что посты свои на этих русских рубежах мы еще долго не оставим, поскольку Отечеству, которое на грани выживания, любой из нас всегда «будет нужен» и всегда пригодится...

Поэт в жизни нашей защищает то, что из нее стремительно уходит, но без чего завтра на русской земле жить будет совсем невыносимо – жить без совести и чести, без света в душе и без памяти в сердце.

Защищает он святые для нашего поколения ценности – и веру православную, и искренность в человеческих отношениях. Он выражает свои чувства точным и емким поэтическим словом, иной раз – едким и резким, а через него – он оберегает и поколения, идущие вослед нам, и предостерегает их и даже защищает самим собой – таким ранимым и, кстати, совсем беззащитным.

Не побоюсь сказать, что защищает свою родную землю и – свою Судьбою, поскольку понимает, что «патриотов нынче мало, / вот холуев не сосчитать!..», и потому-то с болью пишет, что если уж «назвался народом? Живи... до упаду / и вместе с народом рыдай...».

Он любит свой народ и страдает вместе с ним. Не первый и не последний российский поэт.

Он знает, что «войне он завтра будет нужен». И случись что, он к ней готов и знает, что именно на войне придется ему «защищать». Потому ему

...все явственнее, явственней помнится.  
Время давнее ближе и ближе.  
Вот я вижу Мамаеву конницу,  
И сермяжное воинство вижу...

Он понимает, что «покоя в этом мире не отыскать», и все же радуется тому, что «жизнь неистощима на любовь».

Ему еще в детстве «предсказали золотую судьбу», но, не поверив в нее, поэт обратился к «силе природы», чтобы она «даровала ему судьбу наудачу», потому что только с такой судьбой и можно «о жизни сложить славную и грозную быль». И вот он, благословленный на борьбу за правду и честь, понял, как «нелегка она, родная стезя» и как русичи «все теснее смыкаются плечами в поредевших уже рядах».

И как поэт он остается еще и гражданином и как гражданин с болью и надеждой обращается к своим современникам:

Так будь же гордым, русский человек!  
Тебе дано вселенское призванье:  
Родное слово сохранить навек  
И защитить его от поруганья!..







*Тепло души он отдает  
в земной круговорот...*

---

## Юрий МАКСИН

В 1993 году, предворяя книгу стихов «Журавли», Вячеслав Белков написал к ней «напутственное слово»: «Мне нравится сдержанность поэта, его внимательное отношение к слову, когда он не утверждает, а размышляет, переживает...».

Удивительно, но Вячеслав Белков так именно и назвал свое слово – «напутственным»: «Думаю, и к будущим своим стихам поэт Юрий Максин будет относиться достаточно требовательно. Он гордится своей родиной, своими близкими. И он убежден, что писать об этом надо красивыми и высокими словами...».

Мне кажется, поэт прислушался к словам критика и до сих пор не забывает об этом напутствии. С годами связала его с Вячеславом Белковым и личная дружба. Для человека, живущего в Устюжне, вдали от губернской столицы, такая дружба, поверьте, дорогого стоит. Потому Юрий Максин и дорожил ею. В трудные для Вячеслава Белкова минуты он, как мог, старался его поддержать и порой был даже ближе к нему, чем коллеги, живущие в Вологде.

В книге «Разорванный свет» (1997-й год) уже он, поэт, обратился к критику со своим поэтическим словом. Оно было добрым – его слово, но при этом тревожным и предостерегающим, а в итоге оказалось еще и «пророческим».

Через это стихотворение Максин предстает перед нами и как тонкий лирик, бережно относящийся к слову, и как верный в дружбе человек.

Замело все пути, все дороженьки,  
Повалило родимую ель.  
Путник мой, береги свои ноженьки,  
По России гуляет метель.

По России давно уже рыскают  
Злые стаи людей и зверей.  
Помоги тебе Господи выстоять,  
Добрести до заветных людей.

Чтоб встречали теплом, а не холодом  
И никто не смотрел на часы,  
Чтобы честь, бережennую смолоду,  
Не унизили взглядом косым...

По весне  
Плакать бедному скворушке,  
Заметает родимую ель.  
Ангел мой,  
Береги свои перышки –  
И тебе добираться в метель...

Через десять лет Вячеслава Белкова не стало.

Вспоминая свои встречи с ним, критик Виктор Бараков в статье, опубликованной в еженедельнике «Литературная Россия» (02.11.2007), написал: «Вячеслав Белков более всего переживал не за себя, даже не за свое дело, а за Россию».

«За нее душа болит», – признался он ему по дороге в Белозерск на вечер памяти рано погибшего поэта Алексея Шадринова.

Юрий Максин, зная о трагических судьбах российских поэтов («не живучий поэты народ»), уверяет себя и других, что «мы не уйдем, и не умрем до срока», и пройдем до конца свой «крестный путь».

Ему, знаю, не меньше других его собратьев по перу «жаль родину и жаль себя» на ней, потому что и перед ним тоже «мир предстает в грязи и сраме», но, тем не менее, и этот мир «плещет жизнью через край». И плачет поэт только в одном случае, когда «смотрит фильмы о войне», плачет, а почему – объяснять тут ничего не надо, потому что и «на поле Сталинграда, и на дуге огненной – отцова кровь».

Его тоже «беспричинная мает тоска на просторах российской равнины». Он тоже задается проклятым вопросом: «Что же мы так недобро живем?». Его тоже «обида жжет, но жить-то надо».

В предисловие к книге «Разорванный свет» другой вологодский критик Андрей Смолин пишет: «Возрождение души – это и есть один из главных мотивов «Разорванного света». Душа не может томиться на перепутье лихолетья. «Разорванность» бытия болезненна и плохо преодолима, если смириться с ней...».

По словам Смолина, «Юрий Максин дает несколько векторов духовного прозрения, обращаясь то к воспоминаниям о вскормившей его, но покинутой деревне, то к людям родным и близким, то черпая силы в любви к женщине и Родине. В каждом таком движении он находит конечные пункты, укрепляя себя и нас своими открытиями...».

Но я возвращаюсь  
к родимым местам-оберегам,  
в заветное царство  
знакомых людей и зверей,  
где крупные блестящие  
никем не измятого снега  
хранят чистоту  
и спокойствие зимних полей...

Ему тоже приходится «обретать Русь не только в прошлом, но и в настоящем».

А в провинции, по точному замечанию Андрея Смолина, «избегая соблазнов на поэтическую моду, на пресловутый московский «авангард», можно более зримо перелить в поэтические строки мгновения

настоящего, четче улавливать любые токи духовного прозрения...». Неслучайно и сам поэт пишет: «Грустят по милой Устюжне Москва и Петербург».

В эти смутные годы у многих поэтов моего поколения в стихах явно проступает мотив магического заклинания: «Шумите, березы, ласкайте, березы, славянский разорванный свет». «О, люди, птицы и зверь! Земля на всех одна». «О, люди! Мы давно уж не в себе». «Помоги мне до смертного дня /жить, за грешную родину мучась...».

Но главное, самое главное – «Храни тебя, Господь, деревня Плосково».

Это родная деревня поэта. Она для него «в море жизни остается островом, куда все время хочется приплыть» и, причалив, надолго отпустить пароход, где «на узорах морозной парчи тает свет заходящего солнца». По таким вот «весьям потаенным» и хранила себя не «чужая как будто» нам Россия, а та – святая Русь, которая была и остается «нашей» и где русский человек только и чувствует себя как дома.

Любому гостю буду рад.  
Зайдешь – налью стакан вина,  
Всем, что имею, угощу.  
Уйдешь без слова – не взыщу...

На этой земле поэт и себе и людям однажды «словом заветным поклялся от адовой смеси безлюбья спасти изможденную Русь». Он как человек, у которого «открыта совесть» и которому «все боли близки», видит, что «люди давно уже не в себе». И чтобы самому на родине, «где легко и безмятежно жил» когда-то, «не стать зверем», он время от времени «дышит на стекла дней, чтоб не замерзла русская сказка» на родной земле, и возвращает к жизни «чудеса», которые когда-то «тихо жили в снесенных овинах».

Уже немалая, надо думать, «часть его тепла вошла в земной круговорот». Потому, веря в себя и черпая для борьбы силы от матушки-земли, поэт пишет:

Припаду ли в лесу к роднику,  
погляжу ли на блеск увяданья,  
сознаю на коротком веку –  
нету лучших основ мирозданья!..

Юрий Максин уже решил «написать письмо самой судьбе», а в нем рассказать о том, что «время веры ушло безвозвратно, бьются души, как рыбы об лед», что «редок стал некрасовский Мазай, и мало доброты на русских лицах», что давно уже «Русь не хранит себя, а хоронит» и «чем дальше, тем горестней становится жить» на ней. «Осталось лишь русское Слово, и лишь оно еще не охвачено сном».

Поэт верит и в то, что «скоро взойдет на Руси Солнце», потому что «Земля наша крутится вокруг Солнца». Он верит, что «мы.. победим!» И за эту Победу – победу прежде всего над самим собой и над своими грехами, – он, поэт российский, выпьет сам и нальет нам «воды ключевой», чтобы мы все вместе выпили «за Россию, за веру, за нас».

И я не думаю, что Юрий Максин будет «последним, кто, кручинясь, обоймет Россию», но уверен, что Юрий Максин как «поэт сквозь время воплотится порядком слов» в наших жаждущих спасения душах. Для него и до сих пор «спит дитя-звезда в берестяной зыбке, подвешенной на Млечном Пути».

Это с нее, родной земли, поэт «устремляет к светлому Богу молитву смятенной души», веря в то, что она обязательно до Бога дойдет:

Не спеши, я молю, не спеши  
сокращать мне земную дорогу.  
Мне б увидеть рассвет золотой  
И красивые русские лица,  
Чтобы знать за последней чертой,  
Что Россия моя возродится.  
Не минуй мя чаша сия –  
Всех равняет смертельная участь.  
Помоги мне до смертного дня  
Жить, за грешную родину мучась....





*Он с теплом  
отправляется к людям...*

---

## Василий МИШЕНЁВ

Василий Мишенев живет в Никольске. Считаю, живет безвыездно. И «оттого, что жизни срок краток, безудержно любит ее» и, не жалуясь на судьбу, а доверяясь ей, всю жизнь «бережет березовый берег». И все его «богатство, как у погорельца: любовь к земле да память сердца».

О творчестве Василия Мишенева уже спорят писатели и критики.

Василий Белов заявляет, что «никольская земля снова вскормила и выпестовала большого серьезного поэта... общероссийского масштаба». Ему вторил и Виктор Астафьев, приславший поэту из Сибири напутственное письмо, в котором искренне пожелал Василию Мишеневу «новых стихов, радостей новых и творческого страдания».

Юрий Леднев уверенно утверждал, что «сейчас люди, интересующиеся поэзией, наверное, уже не могут представить вологодскую литературную ниву без мишеневского поля...».

А вот критик Виктор Бараков никак не может согласиться с «положительными и даже восхищенными отзывами Василия Белова и Виктора Астафьева» о стихах Мишенева, не может, несмотря на весь авторитет больших русских писателей. Не может, потому что «не позволяют факты». Он считает, что Василий Мишенев «несамостоятелен, вторичен, подражателен и зависим от поэтического мира Николая Рубцова, от его образного ряда и языка».

Наверно, рубцовские интонации и мотивы присутствуют в некоторых стихах поэта (мало кто из нас избежал влияния Рубцова), но не думаю, что в такой степени, как это пытается представить Виктор Бараков. Я мог бы на него и не ссылаться, если бы статья эта не была напечатана в его монографии «Отчизна и воля» (книге о поэзии Николая Рубцова).

В моем личном архиве есть, кстати, такого же рода статья и о творчестве Сергея Чухина, но ее в печати я пока, слава Богу, не видел.

Для меня Василий Мишенев был и остается прекрасным русским поэтом моего поколения.

Потому я согласен с теми моими коллегами, кто всерьез принимает его самобытное творчество.

По словам Александра Романова, «Василий Мишенев обрел мужество смотреть глубоко в самого себя. И находить для самовыражения честные, прямые, а если надо, и жесткие слова Правды»:

Не за себя испытываю страх.  
И не пугаю, грозно сдвинув брови.  
Но топоры уже стоят у плах,  
И слышен страшный запах крови!..

А вот что написал о нем Вячеслав Белков: «Его творчество питается соками родной земли. Прочитав его стихи, сразу понимаешь и видишь, где он живет, чем живет, видишь окружающую его природу, начинаешь как бы дышать его воздухом».

В предисловие к книге «Свет берез» Сергей Тихомиров пишет: «Слово – это его жизнь. Он относится к нему с уважением и наполняет неким потаенным философским смыслом. И в одной-двух итоговых строчках вдруг ощущаешь необычайную гармонию, проникающую в самое сердце».

Своим другом и учителем в литературе Василий Мишенев искренне считал рано погибшего поэта Сергея Чухина. Вспоминая встречи с ним и долгие ночные беседы, Василий Мишенев в статье о поэте вспоминал его творческие уроки:

«Пиши, мой друг, как будто слово  
Тебе  
Последнее  
Дано...»

Так однажды заявил поэт, и я думаю, что именно от ощущения последнего слова, данного ему, так беспощадно откровенна поэзия Сергея Чухина и столько в ней доброго, трепетного отношения к окружающему миру, и, прежде всего, к людям...».

Урокам и советам Сергея Чухина Василий Мишенев следует и сегодня.

Это уже о его слове поэтическом пишет литературовед Александр Романов (младший): «Когда «ни звука, ни ветра» и «деревья отбросили тени», душа, «прорвав паутину сомнений», находит себе место и совершается чудо: «Из чувства рождается слово!» Не «Слово», бывшее «в Начале» (Ев. от Ин.), не «Мысль» как источник всего (Гете, «Фауст»), но человеческое чувство – источник поэзии, предначало грусти...

Горечь понимания, что вот уже несколько поколений молодых людей живет без «корней», став маргиналами на родной земле, лишь усиливает грустное звучание стихотворений В. Мишенева».

Василий Мишенев не стремился «в дальние дали, чтоб вернуться на белом коне». И «в разоренной стране» он тоже «живет, как на тонущей льдине». «По родимой земле он тоже хотел бы идти без печали». Ему тоже «больно смотреть на распятую старую Русь». Он пытается «докричаться до живущих», но ему порой «нет даже эха в ответ», и «стоит он среди поля один» с тяжелыми думами и безутешно спрашивает у самого себя и у бездомного ветра:

Что ж так, Россия, под небом твоим одиноко?  
Что ж так, родная, мне грустно средь милых полей?

И опять нет ответа, и опять он «у костра набирается тепла, чтобы утром отправиться к людям», обогреть их и «спеть им о России песню тревожных лет». Хочет он, когда «душа прорастает стихами», когда рядом с ним «его поднебесные птицы и гривастые кони», «достучаться чутким сердцем своим не только до людей, но и до цветущей родимой земли».

Да, на земле нашей «слишком трудно жить достойно и на колени не упасть», но он живет с достоинством, так «живет на белом свете, будто есть в нем вина» перед ним.

Одного он не знает, а знать хотел бы очень, «как долго ему на родине осталось бродить среди берез, среди осин?». Живет с ощущением, «будто жил он когда-то на земле», и с чувством, что «все звуки до единого верны, когда ты не поешь, а плачешь». Вот так с надрывом, как в этом стихотворении:

Мне такая вновь выпала доля –  
В захолустье родной стороны  
Намолчаться средь тихого поля  
До звучания каждой струны!

Надышаться березовой грустью,  
Одиночеством переболеть,  
Нагордиться священной Русью,  
За которую б мог умереть!

Где ж детей перекрестные крики?  
Одинокий в надежде своей,  
На Руси деревенской великой  
Я хочу докричаться людей!..





*«Обещала родина  
нимб золотой...»*

---

## Александр ПОШЕХОНОВ

Александр Пошехонов, оглядываясь на пройденный путь, не без усталости вздыхает у окошка городской квартиры – «Судьба моя крученная, верченная, печеная, судьба моя, ученая тоской да сединой».

Александру Пошехонову однажды «обещала Родина нимб золотой, а вручила терновый венец». Он поверил в себя как поэта, когда почувствовал, как «за спиною у него два крыла загадкою незримой вырастают», и когда услышал, как ему «с небес доносится благая весть» и через него, избранника Божьего, она «обретает плоть строки крылатой».

Он вдруг стал понимать, как «вызревает суть добра и зла» и как «вызревает истина простая». Он понял, что «все сущее имеет свой язык», который стал ему, в отличие от других, доступен.

В предисловие к «Избранному» философ Валерий Анохин утверждает: все, что пишет А. Пошехонов, является «гениально поэтическим» и потому стихи его «трудно понимаемы для простого смертного».

Философ глубокомысленно вчитывается в стихи и через строки, написанные поэтом, пытается понять тайну его Божественной судьбы.

«Я обнажил в себе пророка! – недвусмысленно пишет поэт, – ...и смысл Молитвенный узрел!»

По мнению философа, на поэта «сошла Божественная Благодать». Да и сам поэт вдруг «услышал, как Вечный Гений ключи к духовности кует!».

Каждому бы из нас такого щедрого и глубокого интерпретатора, как философ Валерий Анохин! Тогда бы о ком-то из нас он мог сказать так же, как об Александре Пошехонове: «Вечный гений проговорился в Александре или вызрел (в нем – В.К.) прозорливом. Сказал земным словом неземное. Божественный талант соединился с земным талантом – появилась величественная симфония неба и земли. Это высший миг просветленной поэзии!..».

Я и не знал, да и подумать не мог, что, по мнению великодушного философа, «найти и принять свою лодку, реку, теремок уже есть подвиг. Добровольное заточение, следовательно, есть подвижничество просветленного Духа. Только просветленному Духу ведомы:

Тишина моих полей.  
Глубина моей печали...».



Я очень люблю стихи Александра Пошехонова, но не могу его «обожествлять» рядом с поэтами, которые мне дороги не меньше, чем он. Может, я и не прав, относясь к его стихам с чувством доброй иронии, надеясь, что мой старый друг, и сам относясь ко многому, написанному им, иронично и с улыбкой, поймет меня правильно и не обидится за столь не возвышенные слова, посвященные его творчеству. Может, философам Череповца и понятнее «суть поэтических откровений», когда они в одной строке «мне не будет покоя», введенной, разумеется, в контекст всего творчества, видят уже ни много ни мало – «пророчество Александра Пошехонова».

Читаю его стихи в книгах, подаренных мне. Читаю, радуясь и удивляясь, поражаясь и недоумевая. Мне они особенно интересны, поскольку мы с ним вместе начинали входить в вологодскую поэзию.

Он шел от «покаяния и искупления к просветлению» и, обретая внутреннее состояние «очарованного странника», стал строить себе «духовный скит, покрасив его в белый цвет». Он уже, чувствую, и сам понимал, что «для того на земле и живет, чтобы молвить (вернее, вымолвить) Божью весть о духовном ските».

Боже ты мой, как легко, наловчившись, можно развернуть простую, порой даже случайную строку не самого проникновенного и программного стихотворения. Развернуть и создать, опираясь на него, чуть ли не целое философское обоснование «судьбы гениального поэта», которому как «дружку с печальными глазами» сам признанный народом Николай Рубцов «что-то силится сказать, но глаза у поэта бессильны». С точки зрения философа, в этих словах А. Пошехонова проявилось «отношение к русской (вологодской) поэзии». Вот так вот!

И все же я рад, что у Александра Пошехонова есть такой философский комментатор. Каждому бы из нас на пути своем такого проникновенного и до сути дотошного критика и ценителя!

Конечно, в контексте философских размышлений Валерия Анохина, «обладая душою стозвонной», поэту Александру Пошехонову сразу же «надоело быть серой вороной». Потому и закричал он «на все четыре стороны света: «Чуда-звона хочю. Звона, звона!..».

Ведь он уже «не червь земляной, он земной звездочет одинокий», и даже не идет он, а летит «вне времени во времени» (!) и уже не рифмует пустяшные строки, а «философствует с прицелом на века». Он «идет по белому свету как очарованный странник» и как хочет, так и «жонглирует словами», но на всякий случай оговаривается, что «между строк нет ни подвоха, ни подтекста», поскольку «все смешалось в его голове».

Было бы странно, если бы с ним, как с пророком, явленным миру, «вдруг не заговорила сама Мать-Природа». Теперь «лишь она говорила с его душой о вечном». Теперь, оставшись «с самим собой наедине, он искал в строке свою Жар-птицу, свою мелодию в струне». Теперь он, будучи «пророком синеглазым», мог без труда «заглянуть за облака, чтоб увидеть все сразу – и мгновенья, и века». Теперь и «горизонта полоса» для него уже не была «пределом земной свободы», и потому он-то видит, как «стремятся в небеса наши судьбы, наши годы».

Поэт «помолодел и постарел», когда «обнаружил в себе пророка» и почувствовал себя «неистовым гением». Ему сразу «открылись

миры, и улыбнулось пространство», и «как будто силой небесной раскрылся в нем тайный зрак», и «зрак его третий» помогал ему, «юродивому, любоваться тайными мирами».

И вот уже к нему «стихи и мелодии сходят на бумагу с небес». Поэт уже «чувствует сладкую тяжесть Глагола среди леса и поля, среди вольного дола», и уже неудержимо

Слова, точно почки, в душе созревают.  
Трещат, разрываются их оболочки...  
Толчок – и на свет появляются строчки...

А «рождение строчек – не блажь, не причуда, а тайна великая, чистое чудо». С тех пор он «держит под рукой отшлифованный временем посох». Он, «озаренный истинной любовью, и скит духовный окрасил в белый свет», и, «судьбу держа в руке», он давно уже пьет не водку, а «пьет сумерки вечерние», а «ночами скуповатыми глотками пьет сладкую память». «Пьет, и веруя, и плача, пьет, и каясь, и молясь, свет предвестный и миг удачи».

«Священный голос Рока» «шел за ним тенью». Теперь поэт знает точно, что голос тот «шел всю жизнь след в след за ним, храня его и понуждая, и его присутствие земное в земных пределах утверждая». И не этот ли голос ему «диктовал строки благородства на несгораемый пергамент»?

Поэт давно живет в мире, им самим сотворенном, и с неведомых нам высот созерцает с иронией нашу грешную земную жизнь. Он, по его собственному признанию, и «чист, как лист, омытый ливнем, и ада исчадь – тоже он». И потому он, наверно, прав и даже искренен, когда пишет:

Не ищите меня.  
Я и сам потерял себя где-то,  
Где-то там, в безмятежном,  
Высоком тумане веков...





*День для нее порой  
длиннее года...*

---

## Наталья СИДОРОВА

Судьбы у поэтов моего поколения разные.

У Наташи Сидоровой судьба, может быть, самая пронзительная и светлая на родной нам вологодской земле.

В послесловие к ее первой книге «Слышу ветер» (издательство «Молодая гвардия», 1982 г.) журналистка Нина Веселова написала правду о судьбе Наташи Сидоровой: «Детский паралич на долгие годы обрек Наташу на полную неподвижность. Деревня Бушуиха с непроезжими дорогами стала ей постоянным пристанищем. Мир для нее сузился до оконного проема, и в него Наташа смотрела и год, и три, и десять...».

Ее спасли стихи. Поверить в их живительную силу помогли ей еще в юные годы поэт Сергей Чухин и журналистка Нина Веселова.

С тех пор у нее появилась мечта:

...Пройти бы разок босиком  
По мокрым некошеным травам.  
Мне б синего неба платок  
Набросить на плечи осинок.  
Но вижу один потолок –  
И падают руки бессильно...

С тех пор «в больницах и санаториях», где она видела много людей «с изломанными судьбами», мечта стала для нее чуть ли не главной спутницей жизни.

Она понимала, что в жизни из-за тяжелой болезни у нее никогда не могло состояться все так, как у здоровых ее сверстников. Как понимала и то, что «можно расслабиться и сникнуть, а можно бороться и доказать, что ты способен на большее, чем кажется окружающим. Доказать им и себе...».

И она это доказала.

Давно чужая вольному веселью,  
Я полюбила эту тишину,  
И комнату, похожую на келью,  
И сумерки, приникшие к окну...

Читатели писали ей из разных уголков России: «Стихи твои точно из чистейшего родника. Читаешь и словно по весне набредешь на

освещенную солнцем полянку ландышей. И сердце навстречу летит, отвечая знакомым образам».

Думаю, что мало кто из нас получал от читателей такой проникновенности письменные признания. Она получала их вчера и получает сегодня! Она того заслужила.

Это какую надо было иметь силу духа, чтобы «все видеть, понимать и не сторгать на адовом огне противоречий».

Итак, о мечтах.

Они, «юные мечты, увядали» у нее, когда «жизнь вдруг на миг становилась пуста», и они «оживали вновь», чтобы «согреть ее живой красотой» и чтобы «о прошлом ей было вспоминать не больно».

Она не могла «укрываться в прошлом», «сжигала мосты», потому как «не в силах была оторваться от зыбкой манящей мечты». Она жила и боялась, а вдруг, когда «доцветут последние цветы» на фоне «догорающих пунцовых рябин», «замолчат и ее веселые мечты, будто в чем нечаянно повинные» перед нею.

«Мечты», которые она мучительно любила, «благоухали для нее каждым листочком». И «любовь, храня свои наивные секреты», тоже жила «мечтой». И не просто мечтой, а такой, в которой жило «безумие вольной мечты с печалью о неясной утрате».

Она и среди «разлада» слышала, как «с непостижимой высоты» доносился до слуха ее чуткой души «властный зов мечты, как обещание награды».

Время от времени «наперекор всем здравым смыслам взлетала и дерзкая ее мечта»:

Мечта о том, что утро будет,  
Вновь для нее сверкнет роса,  
И солнце радостно разбудит  
Цветов прекрасные глаза.

Над полем, лесом, над болотом  
Она, красива и горда,  
В восторге вольного полета  
Беду забудет навсегда!

Такая сила в ней! – Откуда?  
Быть может, тем жива она,  
Что верит в солнечное чудо  
Распахнутого в мир окна?

Для сердца поэтессы «не было большей награды, чем вдохновенная мечта – гармоний вечных красота». Ради нее она, когда «надежд зеленых больше нет», готова была, «видя все зло и все несовершенство мира», и сама, «плененная смертельною мечтою, шагнуть в пучину». Да, в мире, где «все знакомо, все любимое», она могла и «в пучину шагнуть», если бы пришедший день вдруг оказался «без солнца и без чуда», не способный «осветить ее душу».

Может быть, потому и не могла ее обмануть судьба, так как Наталья Сидорова всю жизнь «верила и верит в чудеса». И для нее, как ни для кого-то другого, «порой бывают дни, которые значат больше года...».

Ей, опять же как никому другому, всегда было близко и понятно чувство, что «судьба ее, как ночь, слепа и бесприютна» и в ней «кажется невысказанной борьба, а радость кажется минутной». Но только ей, прикованной к инвалидной коляске, понятно и другое, а именно, как можно «спокойно думать, что на свете, кроме жизни, ничего не надо».

Ведь ей-то особенно важно понять и постичь, «зачем на солнечной земле ей суждено было родиться». И как здорово, что поэтесса чувствует себя счастливой, когда, «просыпаясь поутру, слышит голоса земные», когда она похожа на «капельку, в которой целый мир умеет отразиться».

И каждое утро Наталья Сидорова «как струну, настраивает душу на любовь, на песню, на печаль».

Она не жалуется на судьбу и «не сетует» на нее, потому что «ей еще далеко до конца».

Она еще может, в мечтах «поскитавшись по свету, отдохнуть у родного крыльца» и «терпеть заложницей все дороги земные», как прежде, «веря в чудеса...».





## *С новым миром один на один...*

---

### Василий СИТНИКОВ

В предисловии к первой книге Василия Ситникова «Побережья» (Великий Устюг, 1994) Станислав Куняев и Борис Шустров написали:

«Поэтические судьбы, как известно, различны. Одни поэты врываются в мир, словно молнии. Другие неустанно и строго формируют свое дарование, добываясь или не добываясь известных успехов. Третьи долгое время находятся в тени, но внутренний свет их, известный пока что одному самому творцу, ширится, накапливает сияние и, наконец, вырвавшись из оболочки, начинает разгораться, набирать силу и, как правило, долго не меркнет. Не хотелось бы пророчествовать, потому что пророчество всегда опасно, но именно такой, светлой и немеркнувшей, хотелось бы видеть поэтическую судьбу Василия Ситникова...».

С той поры прошло семнадцать лет.

Думаю, что «свет его поэтической судьбы еще не вырвался из оболочки» и продолжает «набирать силу».

Поэт и сегодня остается верен самому себе и своему таланту. Ему и сегодня «веришь, о чем бы он ни говорил в своих стихах». И сегодня «слова, облеченные в стихотворную форму, не придумываются автором, а выпеваются сами по себе, легко и свободно».

Василий Ситников и в новом тысячелетии заявляет о себе как о «поэте русском, плоть от плоти великой России». О судьбе родного Отечества он и сегодня «искренне болеет и переживает». Теперь уж он точно знает, что «даже под старой колодиной./ Укачанный от вина, / Я буду шептать, что Родина / У русских людей одна...». Хоть и ныне, по признанию поэта, «в стороне моей бесхозной сыро, слякотно, навозно...».

Потому, может быть, в стихах его так медленно и прибывает свет (такая была жизнь), но зато в них через край порой плещется вино, чаще – «поминальное» («Только плещется в стакане поминальное вино...»).

Я забыл все песни  
Привальные.  
Только пью вино  
Поминальное...

Утрат у каждого из нас на рубеже столетий было много. Непростительно много. И выдержать их было не просто. Многие и не выдержали, сломались, ушли в небытие. И у самого поэта тоже по жизни было много потерь.

В ивняковых густых зарослях  
 Другана моего, пьяного,  
 Откопали его, лешего,  
 Мужики из села ближнего...

«Бесшабашное пьянство» и сегодня продолжает «косить судьбы» русских людей. И что самое страшное, наступило, кажется, время, когда уже нередко «на взрытых могилах отцов пьяные дети пляшут» и что самим нам, к сожалению, давно уже «ничуть не жаль своих жизней...».

Неслучайно в стихах его зазвучали, как заклинание, строки, обращенные и к женщине, и к жизни. «Ты прости, прошу тебя, прости». «Ой, гони меня ты, гони. Не о том я все, не о том». «Гляди на огонь, гляди». «Плачь, сердце, плачь». «Ты не стой, не стой поперек пути...».

Поэт не выдерживает и уже не говорит, а с болью во весь голос бросает: «Любить такой народ нельзя, в нем вытравлено благородство». Но тут же, правда, спасительно для себя и с виной перед земляками оговаривается, что «все ж, в стихии мутных вод, – ты – мой народ, ты – мой народ!». Хотя он давно уже понял и знает, что «прощенья ему не будет, потому что вина не в вине». Вернее, не только в вине, она – во всей русской жизни двадцатого столетия. А в чем именно, он и сам до конца понять не может:

Эх, погуляно было,  
 Попито.  
 Пропадай, неладная,  
 Пропадом...

«С голытьбой в гудьбе больше месяца хлещешь водку ты да ругаешься». «Все заматано – пей проклятую, да пока не закрыты глаза». «Эх, без троицы дом не строится, наливай-ка, братишка, вина». «Сжался, Боже, и лишней чаркой на пиру хмельном обнеси...».

Да, тринадцать лет отделяет первую книгу поэта Василия Ситникова «Побережья» от последнего сборника, который он, судя по всему, совсем не случайно так и назвал – «Поминальное вино».

А я помню, очень хорошо помню, как мы с ним первый раз встретились на областном совещании молодых литераторов в конце 70-х. Тогда еще были живы все, кто вел наш поэтический семинар, – Александр Романов, Виктор Коротаев, Сергей Чухин, Леонид Беляев. Тогда еще рукописи прозаиков разбирал сам Виктор Петрович Астафьев.

Вот тогда я и услышал, как выразительно и по-хулигански с вызовом Василий Ситников читал свое знаменитое стихотворение, переходящее потом из сборника в сборник, – «Где мои семнадцать лет, красная рубаха!».

Уже тогда проявлялся в нем характер человека, который однажды должен был обязательно рвануть эту рубаху на своей груди. И, знаю, что за жизнь свою он порвал на себе не одну рубаху, вступаясь за свою честь, за честь девичью и за честь своей древней земли.

«Мокрым снегом ветер застлал стекло, и тогда рванул я красную рубаху...». Ему и «кони махали красными гривами». Красный цвет – цвет не только праздника, но и тревоги, потому что ни один большой

праздник на Руси не обходился без драки. Хорошо, если только до первой крови...

С детства полюбил он северную Русь, а с юности:

Я себя приковал  
К этим далям бескрайним,  
К этим избам и лодкам  
На зыбкой косе...

Василий Ситников, родившийся на слиянии рек Юга и Сухоны, нес в себе и черты необузданной северной вольности, и неукротимую силу «девятого вала» на Белом море.

Ведь от его деревни Морозовица берет, считай, начало Северная Двина, а по ней устюжские первопроходцы уходили на поиски новых земель и добирались до берегов Аляски. Кстати, и его предки тоже по этим рекам ходили и озоровали.

Рдяной ярью небосвод  
Волны красит,  
Васька Ситников идет  
На баркасе...

Василий Ситников «входил в мир доверчиво и просто», входил «с неутолимой надеждою на жизнь». Он был уверен в своих силах и потому смело обращался к друзьям-современникам: «Зажги, друг, молнией мне душу, отвечу громом». Да, он таким именно и был! В его глазах отражались «ели да сосны и вся его необъятная Русь». Жадно «вобрав в себя всю красоту» родимого края, его вековую боль и грусть, он уж точно «никому ее не отдаст», а если придется, то и постоит за нее.

Кто не принял этой светлой грусти,  
Селами оплаканной навзрыд,  
Тот не нашей крови,  
Тот не русский,  
Хоть и русским именем прикрыт...

Не он один, но все мы даже и «не заметили, когда стали взрослыми». И это правда – не заметили! Слишком увлечены были работой, и так много чего доброго и важного для Отечества хотелось каждому из нас сделать за отпущенное судьбой время.

Он и не заметил, как в «его родниковом краю» на смену вдохновенной радости открытия мира пришла к нему, бросая в озноб, «завьюженная тоска». Одна эпоха сменила другую, и в конце двадцатого века уже все мы начали привыкать жить наособицу, «оставаясь один на один с новым миром» и с самими собой, когда становилось все труднее и труднее «найти границу между правдой и между ложью». Когда уже каждый из нас чувствовал и видел:

Долго мы жили,  
Да что же мы нажили?  
Разве разор да позор...



Тогда не он один отрезвлялся горьким прозрением, что и в начале нового тысячелетия живет «в нас все та же острожная Русь, бесшабашная и ранимая». Но только он, Василий Ситников, сказал вслух, почему же «мы у себя на родине» живем, словно стесняясь ее, и почему-то даже друг с другом «говорим вполголоса», как не у себя дома. Может потому, что:

Здесь все в былом,  
И этот зерноток,  
И вбитый в стену  
Заржавевший шкворень.  
Хватаешь жадно  
Воздуха глоток  
И свой последний  
Обрубаешь корень...

Неслучайно в своих стихах Василий Ситников так часто сопрягает прошлое и настоящее: «Сколько, сколько с той поры лет-то минуло?..», «Но чудится, сомкнется вдруг связь в цепи времен, и над рекой прольется прозрачный, чистый звон», «Так было много лет, так есть, так дальше будет...».

И у самого поэта чувство времени обострено до предела: «Эх, вы годы мои, пролетели стремглав, проскочили на всех парусах». Мы уже не раз успели за эти годы «потерять себя» и не раз заново «учились любить». Не сразу, но понял он, каким «долгим-долгим был Путь до Бога» и каким «длинным-длинным – до истины». И пусть «торопливо – с колес», но «в жизни многое все же сбылось». На земле, на которой он обрел веру и понял, что:

Это моя дорога.  
Я не сверну, не думай.  
Здесь под звездой высокой  
Правда моя и крест...





*«Была я зернышком,  
а стала травкою...»*

---

## Лидия ТЕПЛОВА

Ольга Фокина о стихах Лидии Тепловой писала так: «...для меня ее стихи – уголок живого северного леса, живой северной деревни, живой, страдающей, отзывчивой на чужие беды души...».

А вот как Лидия Теплова писала о себе сама: «Я не ручей, не птица, не река – я просто баба». И далее: «я вышла из леса, я вышла из поля, я вышла из света, попала в неволю», и до сих пор «по рукам ее, как сок морошки, течет, ласкаясь, северное солнце».

Да, она северная женщина. С виду сдержанная, а внутри у нее кипит и рвется наружу «неукротимая стихия» жизни, которая проявляется во всем – в жизни, в работе и в любви! И, конечно, в стихах. Стихи для нее как громоотвод. Не было бы их – не состоялась бы и судьба.

Я, как и Ольга Александровна Фокина, «не теоретик поэтического дела», и вряд ли мне, как и ей, «удастся сформулировать и зафиксировать сущность ее таланта». Да этого от нас никто не требует и не ждет.

Да, Лидия Теплова, «слита воедино с «низшей» природой», она во всем, она и «зябнущая травинка, и рухнувший под выстрелом лось, и поющий под прицелом глухарь, и усталая лошадь, и умирающие от людского варварства дерева и реки...».

Я люблю ее стихи.

Позволю себе вслед за Ольгой Александровной обратиться к стихотворению Лидии Тепловой «Копны вожу»:

Копны вожу,  
За небом слежу.  
Жара да комар,  
Лошадь, как самовар,  
Горяча до копыт,  
Вот-вот закипит.  
Завершим стог,  
Отдохнем чуток.  
Лошадь на поводу  
В кусты сведу,  
Где тень от листа,  
Где трава густа.

Гриву с глаз уберу,  
Пот с боков оботру,  
Обниму за шею –  
За все пожалею...

В предисловие к книге «Крик в ночи» Ольга Александровна написала, что в этом стихотворении есть все: «жизнь и живопись, труд и поэзия, Время и Мгновение, малое и великое, одним словом, гармония, то желанное качество, без которого таланту не состояться, будь он трижды умен и образован».

В стихах Лидии Тепловой есть классическая ясность и настоящего русского простота: «Я встану на колени у дороги и Родине тихонько поклонюсь». А «Родина ее – святая Русь», та самая Русь, о которой плачут и за которую, не жалея сил и не щадя жизни, страдают и борются все подлинные российские поэты.

Так вот у Лидии Тепловой эта самая Русь веками уже бредет по дороге с «рваными колеями», и у нее, Руси, по-прежнему «в лаптях худые ноги».

А на ней-то, земле родной, она, как и все мы в детстве, до поры до времени «жила спокойно и счастливо», не так, как нынче, когда повзрослела «в тепле, но живет уже давно без любви и без тепла».

Живет и не может понять, «почему же до крышки сосновой неуютно и грустно живет на земле человек». А с другой стороны, она уже давно поняла главное, в чем многие из нас еще стесняются себе признаться, что «дерево без родины да без корней – колодина; а человек, от родины оторванный, – уродина». Она так чувствует и так думает. Она так и пишет – честно и навзрыд.

Она воистину русская женщина. Русская и по рождению, и по судьбе. Для нее «вся наша жизнь до малости стоит на любви да жалости, добросердечье – не увечье, зато злоба – худа хвороба». Это она, именно она, как и тысячи русских женщин, была для своего избранника единственной и неповторимой:

Была я зернышком,  
А стала травкою...  
Я на твоём пути  
Такая теплая,  
Такая мягкая...

Это в характере той женщины, мною любимой, которую искал я сам и хотел бы именно такую невестку видеть рядом со своим сыном.

Таковыми именно женщинами мы хотели всегда видеть и наших дочерей, благословляя их на жизнь со своими сужеными.

Они такие, какими мы их знаем и любим. Они счастливы, когда «в травах дождик, в небе солнце, радость – в дочкиных глазах», когда «сын под левою рукой, дочь под правую рукой, а сама она – звоночек под дугой».

Она была счастливой всегда, даже тогда, когда «земля уходила из-под ног». Она была счастлива потому, что, не сдерживая слез, «могла нагнуться к цветку и, не сорвав его, поклониться ему, как жизни».

Она, даже оставленная любимым, искренне утешалась, поплакав

«над судьбой влюбленного глухаря». Утешалась она, посвященная с детства в тайны сокровенной для нее природы, где чувствовала себя, как «тонкий ствол с белесою корою, с листьями глаз и веточками рук», где ей

...мрачный ельник – дом родной,  
Кукушкин лен – перины пышной мягче.  
Придет беда, со мной березы плачут,  
Светло смеются в радости со мной...

Она живет, как бы ей ни было трудно и порой одиноко, живет и в жизни «не приемлет грусти», потому что «живет каждой клеточкой» и так будет жить до конца, «пока сердце открыто» и пока она чувствует и слышит, что в сердце это «целится» жадный на добычу охотник.

От него она всю свою жизнь и бережет «влюбленную глухарку», сердце которой находится под прицелом «духовных убийц-браконьеров». Она никогда не позволит «неродившимся детям своим перед ними, этими убийцами, унизиться».

Сама же она в лес ходит пусть и «охотницей бывалой», но входит в него осторожно и радостно, и «не убивать, а любить», зная по себе, открытой миру, как лес «беспомощно доверчив» и как легко в нем нарушить не только земное, но и вселенское равновесие.

А для нее важно, очень важно, чтобы елка, доверяя ей, «дарила с короны свою золотую шишку». Ей важно, чтобы она видела, как «мама ее вся запуталась в облаках, точно радуга». Не видя этого и не чувствуя, она не могла вот так пронзительно однажды написать:

...через год, как лучшую из тайн,  
Я вспомню эту ягоду на кочке  
И буду думать, что с ней рядом дочки,  
И в каждой снова горсточка семян...

Вот и счастье Лидии Тепловой в том, наверно, и заключается, чтобы «стоять босой на земле и дерева рукой касаться», чтобы стоял «на родине ее дом», а «в окне за рекой открывался простор». Это ее родина «у широкой реки, где она «хорошо жила». Это помнится и никогда не забывается. На этой земле «у широкой реки» она, укрываясь от ветра на пологом берегу, искренне желает добрым русским людям: «Счастья вам, земляки!».

Для меня она такая – Лидия Теплова, которая, смирившись с потерями и утратами, не теряет еще надежду с «котомкой на плече в родную деревеньку на Печоре вернуться, не жалея ни о чем...».





*«И слышно, как ветер  
и время, сливаясь, поют...»*

---

## Инга ЧУРБАНОВА

Инга Никитина (Чурбанова) представляет молодое поколение вологодских поэтов. Может, и поэтому она отличается от всех нас и уже в полной мере не вписывается в традицию, в которой работали и продолжают работать «поэты моего поколения».

Хотя, предворяя свои стихи, Инга пишет, что «ежелетне – с кошками, кошкимиными плошками и игрушками – ехали в Архангельскую глушь, ходить по земле. Там была вся жизнь, в городе – все о жизни. Получалось, что два месяца из двенадцати жила, десять – училась жить...». То есть и саму ее укрепляла, и стихи ее питала та же животворящая «почва», которая роднит и держит в напряжение поэтов, вышедших из деревень. Потому я лично считаю ее поэтессой, близкой мне по духу – с открытой душой и добрым сердцем.

Дорога ведет к деревне,  
Куда я пришла лишь взрослой, –  
Там прадед мой, – очень древний! –  
Закладывал – первым – дом свой...

Она права: «без молодого следа», оставленного ею на земле предков, «недолго и тропинке виться» от избы к избе и от деревни к деревне. Она хочет, чтобы «дорога эта и детям приснилась» и чтобы они тоже постоянно поддерживали ее и оставили на ней свои следы. Правда, здесь, на родной земле, ей, чтобы нажиться на ней в радость, «нужен не месяц, а нужен минимум год». На ее глазах тоже много опустело родовых гнезд и много потухло очагов. Для нее по судьбе «настало время», когда уже ей самой довелось «вешать в пустом доме веселую занавеску», чтобы вдохнуть в него жизнь и уберечь от разрушения и полного забвения.

Сколько их, пустых домов с заколоченными окнами, стоят ныне и в окрестностях ее, пока еще жилой, деревни. Так что говорить об Инге как о чисто городской поэтессе было бы не совсем по отношению к ней справедливо. Земля для нее была и остается местом душевного труда и отдыха, а также источником истинного вдохновения.

Всю долгую зиму прилежно учиться  
Крутить в мясорубке тягучее время...  
А летом оно, окаянное, мчится  
Короткими строчками стихотворенья...

У нее, безусловно, свой голос, и «как поэт она состоялась, живет в мире поэзии» (С. Ю. Баранов). Еще в ранних стихах она для себя твердо решила, что «пойдет неведомой дорогой» и «стихи будет писать хорошие». Она верила, что «рука ее сумеет великолепно окрепнуть».

Да, у нее есть характер: она «с норовом». Инга противится «благодарности» и не хочет «выплачивать ему дань». Она готова «на бегу вспрыгнуть в поезд» и крикнуть: «Благодарности, попробуй-ка, достань». Поэтесса не любит «правильную весну», ей по душе – весенняя непредвиденность и непредсказуемость погоды, ей надоело «безропотно стоять в честной очереди», потому что «для нее, очереди, и целая жизнь коротка». Ей по нраву все то, что выбивается из общего ряда и нарушает принятый порядок. Ей интереснее и ближе те, «кто не стандартен иль не моден». Ей привычнее среди «обиженных и убогих». Она живет и «не скрывает, чего хочет, не вынося зависимость любую, не мстя врагу».

Кому-то судьбой определено «долгое тленье», а ей, «вспыхнув, остыть». Она честно признается:

Мой крест – подавать надежды,  
Которые не оправдать.  
Я – мост, я все время между:  
Так между и пропадать...

Анализируя эти строки, литературовед Сергей Юрьевич Баранов в послесловии к первой книге Инги «Блесны» делает такой вывод:

«Мост «все время – между», он выбирает не левый или правый берега, векторы движения к покою, а точку, через которую движение в любом направлении вершится...».

А вот что касается «креста», то спустя годы, почувствовав горький вкус несбывшихся надежд, и тех, которые подавала сама, но не оправдала, и тех, которые порой опрометчиво давала людям и тоже не всегда оправдывала их ожидания, Инга не без горечи и сожаления признается: «Волоку свой крест своей дорогой... Дай вам Боже легко креста!..».

На дорогах, которые Инга прошла, она слышала, как «ветер и время, сливаясь, поют».

В стихах Инги ветер «есть образ времени, текущего сквозь поэта. Поэта, который живет «между» тем, что только что стало прошлым, и тем, что вот-вот станет настоящим, но пока еще – будущее».

И жаль, что мир бесповоротен,  
Что мы уже почти стары,  
Что память детских подворотен  
Снесли, как старые дворы...

О старости ей, может, и рановато говорить (всего-то «сорок с хвостом»), но вот ощущение времени у Инги обострено. Причем обострено до такой степени, что она уже всерьез задумывается о смерти: «когда-нибудь я умру...».

И, жадная, успеваю  
 Насытиться на скаку:  
 Вдыхаю, пока живая,  
 Глотаю, пока могу...

Инга не только думает о тайне смерти, но и вслух говорит о ней, утверждая, что «когда я тебе говорила о смерти, я правду тебе говорила», что «были дни, где меня еще нет, и – будут дни, где не будет меня».

Она не без удивления для себя обнаруживает, что время идет так быстро, что вот уже становится и «образ жизни ее непоэтичным». Она, «материализуясь, обрастает подробностями, материя, ткот и белит будней материю». Материализуясь, она «обрастает моллюсками примитивных обстоятельств, примитивных обязательств...».

Только памятью сердце кормится:  
 Память кончится – остановится...

В «почужевшем этом мире ей бездумно и бездомно», и потому все чаще из этой жизни ей «хочется выйти на вольную волю, на ветер – как выписаться из больницы».

Не могу не согласиться с Сергеем Юрьевичем Барановым, что «образ времени самый значимый в стихах Инги Чурбановой».

В послесловии к первой книге Сергей Юрьевич убедительно раскрывает это, разбирая стихотворение «Зимний день»:

«Заметенный снегом, заброшенный дом, хранящий память о лете, зимние звезды над белой трубой и «очки с переломанной дужкой» – неожиданный, ни у кого не встреченный ранее образ необратимости времени, тщетности надежд на то, что прошлое вернется. Лето, конечно, наступит, но будет оно другим, непохожим на бывшее. А весь этот хлам, который остался на обочине после него, – детский сандалик, пучок зверобоя, блесны, крючки, бумажка от чая – мертв, как мертвы примерзшие к подоконнику и уже никому не нужные очки. Другое лето обзаведется своими атрибутами и так же свалит их, уходя, на обочине...».

Время «гулом секунд» проявляется во всем, что поэтессу окружает в мире и с чем она каждодневно сталкивается в природе и в семейной жизни, в педагогической работе и поэтическом творчестве.

Всматриваясь в себя, она отмечает, что годы берут свое и она уже «никогда не будет так молода и хороша», какой была вчера. Смотрит на старые фотографии в чужом доме и снова вздыхает:

Ай да старушка! Сколько ж ей лет?  
 ...Смотрит со стенки чей-то портрет, –  
 С желтой бумаги сквозь времена –  
 Юные двое... Он... и она...

«Никогда, как сейчас, ей не был так желанен и новый, еще не прожитый ею день».

Весь и день сегодня отжит,  
Весь и год – почти что тоже,  
И отхожена, похоже,  
Лучшая дороги треть...

Даже «дождь по крыше» стучит так, как будто с неба «время на землю идет». Поэтесса, не успевая за набирающим скорость временем, не выдерживает и восклицает: «Почему же так редко просим мы: «Время, времечко, постой!».

Поэтесса «устала с собой участвовать в войне». Она уже не видит «ничего рокового в своем увяданье». Она чувствует, как «ускоряются дни и раскрываются тайны». Она уже не вольная, а «домашняя птица» и со страхом ждет, когда «ее выводок научится ею тяготиться». А такое «время придет. К сожалению, время придет». Она уже мало чему удивляется («все забито, зарыто, забыто») и ко всему относится философски («все прошло, как падение Рима»).

Она искренне признается и в том, что «в новый день перейти не умею, и обратно вернуться не смогу». Это тоже строки о драматическом существовании ее во времени и в пространстве. Сергей Юрьевич Баранов даже усматривает в них «формулировку ее жизненного и творческого принципа». Может быть, так оно и есть.

Одно бесспорно: Инга Никитина находится в жизни на каком-то очень важном для себя творческом рубеже. Она живет «в ожидании новой веры и наступления нашей эры». Какой именно – покажет опять же время и расшифрует ее новые стихи. Надеюсь, что «Бог не оставит ее» и вознаградит за терпение и за верность однажды избранному пути...

Порукой тому и эти строки:

Ночь глуха, и до утра нескоро,  
Дождь собирается, печка  
Истоплена, ветер.  
Вдруг – стук под окном:  
-Кто там? Кто там?  
-Любовь...





## Содержание

Василий Елесин	
КЛАДОВЫЕ СЕРДЦА .....	3
<i>Правдолюбец. Александр Яшин</i> .....	5
<i>Я на земле живу...Сергей Викулов</i> .....	9
<i>Нет, не был гостем я... Александр Романов</i> .....	16
<i>Эхо России. Владимир Шириков</i> .....	22
<i>Трагедия прозаика. Владимир Степанов</i> .....	27
<i>Звезда его жизни. Николай Фокин</i> .....	31
<i>У золотого крыльца. Александр Швецов</i> .....	34
<i>Каемка времени. Николай Дружининский</i> .....	39
<i>Гонимый ветром и судьбою... Сергей Чухин</i> .....	42
<i>Тропы поэта. Николай Рубцов</i> .....	47
<i>О Родине душа моя болит. Василий Белов</i> .....	67
Владимир Кудрявцев	
КОЛОКОЛА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗВОННИЦЫ .....	99
Слово о современниках.....	100
«Простые звуки Родины моей...». <i>Ольга Фокина</i> .....	101
«Я так писала, как душа велела...». <i>Нина Груздева</i> .....	111
«Я вас давно люблю, Россия...». <i>Виктор Кортаев</i> .....	118
«Живу в морозной ясной стороне...». <i>Юрий Леднев</i> .....	128
<i>Поэзия и драма «обычных дней». Роберт Балакишин</i> .....	137
<i>Когда мы будем вместе. Виктор Плотников</i> .....	151
«А мера всему – душа...». <i>Александр Цыганов</i> .....	164
Поэты моего поколения.....	175
<i>Он крался к окну и молчал в темноту... Михаил Карачёв</i> .....	176
<i>Он грозную слазает быль о жизни... Владислав Кокорин</i> .....	180
<i>Тепло души он отдаёт в земной круговорот... Юрий Максин</i> .....	183
<i>Он с теплом отправляется к людям... Василий Мишенёв</i> .....	187
«Обещала родина нимб золотой...». <i>Александр Пошехонов</i> ... ..	190
<i>День для нее порой длиннее года... Наталья Сидорова</i> .....	193
<i>С новым миром один на один... Василий Ситников</i> .....	196
«Была я зернышком, а стала травкою...». <i>Лидия Теплова</i> .....	200
«И слышно, как ветер и время, сливаясь, поют...».	
<i>Инга Чурбанова</i> .....	203

Правление Вологодского регионального отделения  
«Союза писателей России» благодарит  
за помощь в издании книги  
Губернатора Вологодской области В. Е. Позгалева  
и Департамент культуры и охраны объектов  
культурного наследия Вологодской области,  
БУК ВО «Вологодская областная юношеская  
библиотека им. В. Ф. Тендрякова»

**Василий Дмитриевич Елесин,  
Владимир Валентинович Кудрявцев  
КЛАДОВЫЕ СЕРДЦА**

Очерки о писателях-вологжанях

Составитель **А. А. Цыганов**  
Редактор **Т. Ю. Прилежаева**  
Художник **Э. В. Фролов**  
Корректоры **Н. В. Жукова, В. Я. Токаревских**  
Верстка: **О. В. Малютина**  
Ответственный за выпуск **Т. Ю. Прилежаева**

Формат 60х90/16. Печать офсетная. 13 п. л.  
Подписано в печать 20.07.2011.  
Тираж 1000 экз. Заказ 81.

Издатель И НП «ФЕСТ».  
160009, г. Вологда, ул. Мальцева, 52.

Отпечатано: ООО ПФ «Полиграф-Книга».  
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

